

НОВЫЙ Журнал

103

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1971
Quarterly, No. 103
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Вячеслав Иванов</i> — Стих о земном Рае	5
<i>Ирина Одоевцева</i> — На берегах Сены	6
<i>Олег Ильинский</i> — Стихи	20
<i>В. Шаламов</i> — Две встречи. Безымянная кошка	21
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	31
<i>Н. Ильинская</i> — Птица голубая	33
<i>Ольга Анстей</i> — Стихи	55
<i>В. Вейдле</i> — О поэтической речи	57
<i>Даниил Хармс</i> — Падение вод	74
<i>Георгий Адамович</i> — Оправдание черновиков	76
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	90
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	91
<i>Глеб Струве</i> — Кто был пушкинский «полонофил»?	92
<i>Игорь Чиннов</i> — Стихи	107
<i>Юрий Иваск</i> — Христианская поэзия Мандельштама	109
<i>Глеб Глинка</i> — Стихи	124

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>К. Бугаева</i> — Андрей Белый на Кавказе	125
<i>Н. Рахманинова</i> — С. В. Рахманинов	137
<i>В. Поздняков</i> — М. А. Зыков	153
<i>И. Ильин</i> — На службе в сов. разведке в тылу у японцев	169
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	187

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Вл. Ильин</i> — Эпоха низости	201
<i>А. Авторханов</i> — Ленин и ЦК	214
<i>Н. Градобоев</i> — КПСС после съезда	224
<i>А. Иванов</i> — Раздумья над новой пятилеткой	242
<i>Ю. Марголин</i> — Письмо к молодым друзьям	254
<i>Н. Туров</i> — Мои встречи с Н. В. Крыленко	264

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Неизданное письмо Ленина</i>	276
<i>И. М. Бергер</i> — Е. Д. Стасова	280
<i>Собрание сочинений Вяч. Иванова</i>	288

БИБЛИОГРАФИЯ: *Т. Сорокина* — Записки Р. А. Г. в США, т. 4.

<i>О. Ильинский</i> — Д. Кленовский. Почерком поэта. <i>Е. Климов</i>	
— Г. Вагнер. Скульптура в Древней Руси. <i>Игум. Геннадий</i>	
— <i>Bolesław Gawecki. Filozofia rozwoju. Книги для отзыва</i>	289

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011



— «Уж ты, Раю мой, Раю пресветлый,
Ты почт́о еси мне заповедан?
И куда ж от меня затворился,
Невидимою схимой покрылся?
Али мною ты, Раю, погублен?
Али в гóрняя, Раю, восхищен
И цветешь в небеси на возд́усех,
А сыру́ землю сиру покинул?» —

То не крины душистые па́хнут,
То не воды журча́т живые, —
Говорит Адамовым чадам
Посхи́менный Рай, затворе́нный:
— «Вы не плачьтесь, Адамовы чада:
Я не взят от земли на не́бо,
Не восхи́щен к престолу Господню
И родной земли не покинул.
А цвету я от вас недалече,
За лазоревой тонкой завéсой:
Ту завéсу лазореву знает,
Кто насытил сердце слезами.

«Где проходит Божия Матерь
По земле святыми стопами,
Там окрест и я простираю
Добровонные сени древесны;
Там бегут мои чистые воды,
Там поют мои райские птицы;
Посреди же меня Древо Жизни,
Древо Жизни — Пречистая Дева.»

Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов написал «Стих о земном Рае» 1 янв. 1939 г. в Споторно, на берегу Средиземного моря. «Стих» этот, включенный в «Повесть о Светомире-царевиче», по-русски никогда опубликован не был. Мы получили его от Д. В. Иванова и О. Дешарт из архива поэта, за что приносим им благодарность. РЕД.

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

О БУНИНЕ

Весна 48 года. «Русский дом» в Жуан-лэ-Пэн. Мы с Георгием Ивановым собираемся итти в Антибы. Мне, как всегда, пришлось долго его уговаривать, доказывать, что гулять необходимо для здоровья. Он очень ленив и предпочитает лежать на кровати с детективным романом. Но раз согласившись, он даже рад предстоящей прогулке и торопится.

Дверь открывается, и входит Вера Николаевна, тоже готовая к выходу, в синем спортивном пальто и в синей, очень идущей к ней, маленькой шляпе. Пребывание в Жуан-лэ-Пэн ей чрезвычайно пошло на пользу — она не так бледна и даже почти не трясет головой.

Взглянув на нас, она растерянно спрашивает:

— Вы выходите? Оба?

Георгий Иванов насмешливо отвечает:

— Идем пешеходствовать. Моцион необходим для здоровья. Известно — *in corpore sano*...

— А я как раз хотела вас обоих попросить посидеть с Яном, пока я схожу за покупками, — говорит она разочарованно. — Ян только что вернулся с прогулки и, представьте себе, в отличном настроении. Но я боюсь, что, оставшись один, он снова начнет вспоминать все неприятности и затоскует, как всегда. Ужасно досадно. Вы не могли бы?

— К сожалению, никак не можем. При всем желании. Что решено, то решено.

Георгий Иванов берет шляпу. Но я снимаю пальто и вешаю его в шкаф.

— Нет, я останусь и пойду к Ивану Алексеевичу. А ты иди один и по дороге сочини стихи.

Из готовящейся книги.

— А еще лучше, — подхватывает обрадованная Вера Николаевна, — пойдем вместе. Вы мне этим большое удовольствие доставите. Я обижусь, если вы откажетесь, Георгий Владимирович. Очень обижусь.

Георгий Иванов церемонно кланяется.

— Раз вы так ставите вопрос, Вера Николаевна, я, конечно, весь к вашим услугам.

Вера Николаевна улыбается сразу ему и мне.

— Спасибо. Спасибо. Ян должно быть уже успел переоблачиться в халат. Все же, подождите еще минут пять перед тем, как идти к нему.

— Увидите, мы с вами отлично пройдемся. — И они уходят вместе.

Ровно через пять минут я иду к Бунину. Его комната напротив нашей, только корридор пересечь. Но я не успеваю дойти до нее, как дверь широко раскрывается.

Бунин, но совсем не тот Бунин, которого я привыкла видеть дома — в халате, ночных туфлях, с нелепой шляпой на голове, а элегантный, подтянутый, в костюме, «при галстукке и манишке», чисто выбритый и гладко причесанный, порывисто берет меня за руку. Я просто не узнаю его.

— Входите, входите скорее. — Он вводит меня в свою комнату, торопливо закрывает за мной дверь. Ключ щелкает в замке. Зачем он запер дверь?

— Господи, как я волновался! Как я вас ждал!

Я не понимаю, что все это значит. Я сбита с толку, огорошена. А он продолжает взволнованно:

— Я всю ночь не мог уснуть. С утра места себе не нахожу. Все боялся, что что-нибудь помешает вам придти, что ваш муж, ваш сын... Но вы здесь, у меня. Какое счастье! Я еще не верю. Это — как сон.

Я растерянно мигаю. О чем это он?

— Вы замерзли. Совсем ледяные ручки, — продолжает он. — Снимите скорее шубку. Бросьте муфту сюда. Дайте, я сниму с вас ботики. — Он делает движение, будто хочет стать на колени.

И вдруг я понимаю. Он, не предупредив меня, разыгры-

вает со мной сцену первого свидания. И, наверно, про себя потешается над моей растерянностью.

Я сразу вхожу в роль. Я останавливаю его.

— Нет, я не надела ботики. Ведь мороз и снег сухой. Но если бы вы знали, как мне трудно было выбраться из дома! Муж, слава Богу, уехал в министерство. Но Дима простудился, лежит в кровати, плачет: Мама, не уходи! Мама, посиди около меня! Я послала Глашу за извозчиком и вся трясусь — а вдруг она спросит, куда его рядить, барыня? Я ехала к вам ни жива, ни мертва! Мне казалось, что все прохожие знают, куда я еду. Я закрывала лицо муфтой. На Арбате мимо меня Вера Зайцева проехала. Кажется, не узнала. Но у меня просто сердце остановилось.

Моя неожиданная длинная реплика, конечно, не может не удивить его. Ведь он не этого ждал. Но он и вида не показывает и продолжает смотреть на меня с восторгом.

— Вы еще прелестнее, чем всегда. От вас пахнет фиалками и морозным воздухом. Я теряю голову от этого пьянящего запаха. У вас снежинки на ресницах. Вот сейчас они растают и потекут как слезы по вашим нежным щекам.

— Как слезы счастья, — говорю я, стараясь попасть ему в тон.

— Да, как слезы счастья, — подхватывает он. — Мне и самому хочется заплакать от счастья. Вы здесь. Выг у меня и, значит, любите меня. Скажите, скажите — я люблю вас, — умоляюще произносит он.

Мне уже давно хочется рассмеяться, но я креплюсь.

— Я бы не приехала к вам, если бы... — начинаю я голосом, вздрагивающим от сдерживаемого смеха. — Я бы не... — но тут, не в силах совладеть с собой, я начинаю хохотать. И Бунин вторит мне таким же безудержным хохотом.

Глядя друг на друга, мы долго хохочем.

Наконец, он вынимает платок из кармана и вытирает глаза.

— До слез. Действительно, до слез. И вы тоже. У вас слезы по щекам текут.

— Счастливые слезы, — захлебываясь от смеха, говорю я.

— А ведь правда — я отличный влюбленный? — само-довольно спрашивает он.

— Еще бы! И какой актер! — искренне восторгаюсь я. Он кивает.

— Да. Актерская жилка во мне всегда была. Но и вы меня удивили. Как вы сразу ловко развернулись, сообразили, в чем дело. Я ждал, что вы испугаетесь, решите, что я спятил. А вы, как заправская актриса, сразу вошли в роль. И даже Веру Зайцеву на Арбате встретили, и сына Диму родили, и горничную Глашу завели. И даже снежинки в слезы счастья превратили. Молодец! Вам наверно часто приходилось играть на сцене?

Я качаю головой.

— Нет, никогда. Даже в любительских спектаклях не участвовала. Только в 21 году в «Доме поэтов» мы с Гумилевым разыгрывали всякие мимодрамы. Очень весело и забавно.

— Ну, вряд ли забавнее, чем сейчас. Сознаться, ваш Гумилев так импровизировать не умел.

Мне очень хочется рассказать ему, как чудесно Гумилев импровизировал и до чего мы веселились, разыгрывая тут же сочиненные им мимодрамы, и как нам аплодировали зрители. Но я знаю, что это несколько не интересует Бунина.

— Из меня вышел бы великолепный актер, — само-довольно заявляет он. — Недаром сам Станиславский упрашивал меня сыграть Гамлета. Приставал просто с ножом к горлу, хотя и знал, что я театр терпеть не могу и презираю. Очень его огорчил мой отказ, — он снова смеется. — А ведь я очень хорошо и правдоподобно представляю кого угодно. Я вам как-нибудь прочту «Записки сумасшедшего». Лучшего, чем я, Поприщина и вообразить нельзя.

— Но почему вам вздумалось, Иван Алексеевич, сегодня разыграть такую сцену? — спрашиваю я.

— А потому, что я сегодня вдруг, ни с того ни с сего, захотел позабавиться. Пришел в хорошее настроение и сам с собой держал пари, что выдумаю что-нибудь смешное. И выдумал. Вышло даже лучше, чем я предполагал. И, знаете, представляя влюбленного, я, действительно, на минуту почувство-

вал себя молодым, теряющим голову от счастья. Главное — молодым, полным, как когда-то, всё подчиняющей себе силы.

Я смотрю на него. Он и сейчас кажется мне молодым, полным победоносной силы. Но какое у него странное выражение лица — веселое и в то же время дерзкое, злое, жестокое.

Он садится в кресло.

— Я даже для этого случая и в халат не переоделся. Дайте-ка мне с комода мою каракулеву шапку. К пиджаку шляпа не идет. А голова стынет — ведь она у меня старая.

Я подаю ему его каракулеву шапку. Он надвигает ее на лоб и вдруг громко и как-то заливисто зевает.

— Устал. Вот до чего дошел. Всё меня утомляет. Даже смех. Никуда не гожусь.

— Может быть, мне лучше уйти? Ложитесь, Иван Алексеевич. Отдохните до обеда, — советую я.

— Вздор. Сейчас пройдет, — говорит он. — Что все лежать да лежать? В могиле належусь. Вот ведь странно. Смерти боюсь до ужаса и всегда, с детства боялся. А к кладбищам меня всю жизнь тянуло. Сколько я их перевидал во всех странах света! Лучше всего итальянские. Статуи на могилах, как в музее. И это под чудесным итальянским небом, среди восхитительных цветов и деревьев! Но и парижские кладбища, хороши. Я даже писал об одном из них. У меня даже рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри, богине разума. Вы его, конечно, не читали?

— Ошибаетесь, Иван Алексеевич. Не только читала, но даже ходила на Монмартрское кладбище и отыскивала ее могилу.

Он удивленно поднимает брови.

— Ой ли? Впрочем, если даже и врётё, чтоб порадовать меня, то и на том спасибо. Но меня теперь почти ничто не радует. Вот мы с вами только что смеялись до упаду, а сейчас мне снова, хоть вешайся, — до чего скучно и тошно!

Я молчу. Что уж тут скажешь? Да он и не ждет от меня утешения. Он, как актер в старинных пьесах, «выражает мысли вслух» и жалуется самому себе:

— Плохо, очень плохо, — отрывисто и сердито произно-

сит он каким-то не свойственным ему лающим голосом. — Скверно! Совсем скверно, совсем дрянь! Сдохнуть бы скорее!

Я смотрю на него с испугом. Лицо его, освещенное пламенеющим закатом за окном и ярко горящими дровами, уже не кажется ни молодым, ни жестоким, а старым, жалким. И несчастным.

Он умолкает на минуту. Ему самому, должно быть, надоело жаловаться. Обернувшись ко мне, он говорит совсем по-другому, деловито и спокойно:

— Страсть к кладбищам, как известно, — очень русская черта. В праздничные дни в провинциальных городах — ведь вы, и как это жаль, совсем не знаете русской провинции. Великодержавный Санкт-Петербург — как будто все в нем одном. На праздниках на кладбище фабричные всей семьей отправлялись, пикником, с самоваром, пирогами, закусками, ну и, конечно, с водочкой, поздравить и помянуть дорогого покойничка, вместе с ним провести светлый праздник. Все начиналось чинно и степенно, ну, а потом — ведь веселие Руси — пити, все напивались, плясали, горланили песни. Иной раз и до драки и поножовщины доходило, до того даже, что кладбище неожиданно обогащалось преждевременной могилой в результате такого визита к дорогому покойнику.

Он озабоченно смотрит на часы. — Скоро обедать пора. Что это Вера Николаевна не идет? Вам, небось, давно бежать хочется? Надоело со мной сидеть.

— Что вы, Иван Алексеевич, я так люблю...

— Скучать с вами, — заканчивает он. — Знаю, знаю. Не сомневаюсь ничуть. Интересно и поучительно. И всякому лестно — с самим Буниным.

Он иронически прищуривается, встает и, сгорбившись, старческой шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

— Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

— Я ведь бродник. Что, никогда не слышали такого слова?

Это такие казаки — бродники бывали. Не могли усидеть на месте. Всё их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где я только не был? — Он вздыхает и закрывает глаза. — А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал. — Он вздыхает. Да. У него очень усталый вид. Теперь он, отвернувшись от меня, рассеянно смотрит в окно — и на оливковые деревья и на козу, щиплящую серую траву. Помолчав, он говорит:

— Сколько времени я уже не пишу — и подумать страшно. Дни проходят быстро и бестолково. А их ведь совсем мало осталось. Я сегодня ночью проснулся и спрашиваю себя: неужели уже ничего больше никогда не напишу? И такая меня тоска взяла. Ведь я, особенно в Грассе, иногда почти без перерыва, запоем целые недели работал. Неужели уже никогда в жизни? Никогда больше?...

Он молчит. И я тоже молчу. Голова его медленно опускается на грудь. Он, должно быть, задремал. Я встаю и, стараясь не шуметь, на носках пробираюсь к двери. Но он резко откидывает голову на спинку кресла и смотрит на меня холодными и зоркими, внимательными глазами. Смотрит, злорадствуя и торжествуя, будто поймал меня на месте преступления.

— Что? Бежать?... Думаете, заснул старикан. Как бы не так! — Но видя мое смущение, объясняет дружелюбно: — Я все утро вспоминаю всевозможные рассказы — те рассказы, которые я хотел написать и не написал. И вот сейчас вспомнил одну удивительную историю. Кладбищенскую, как раз продолжение нашего разговора. — И уже почти весело, тонком, не терпящим возражений, — «Садитесь! Расскажу. А вам спешить, слава Богу, некуда. Да и чтобы меня послушать, можно и важное дело отложить. Не так ли?

— Не только можно, но нельзя не отложить, — говорю я, снова усаживаясь напротив него.

Он оживленно начинает рассказывать. А я вся превращаюсь в слух.

— Было это с одним моим приятелем, довольно красивым,

стройным и статным парнем. Таким же бродником, как и я. Приехал он в какой-то украинский город просто так, без всякого дела, взглянуть на него — и дальше, как и я в молодости часто делал. Днем все, что полагается, осмотрел, хотя, в сущности, и осматривать было нечего. Поужинал в трактире. И стало ему скучно и тоскливо. Не стоило приезжать сюда, зря только последние деньги истратил. Ведь у него, как и у меня, деньги всегда были последние. Вышел он из трактира, а ночь такая лунная, таинственная, по Гоголю: «Знаете ли вы украинскую ночь? — Нет, вы не знаете украинской ночи». К тому же — весна, в садах вишни в цвету, среди них белые дома. Всё, как снег, сверкает. В огромном пустом небе высокая одинокая луна катится. Такая тишина. Такое одиночество. Будто он один в этом чужом, спящем городе.

А в небе облака, похожие на снежные сугробы. Высокая, круглая голубая луна то проваливается в них, то снова выплывает на бескрайнюю синюю гладь. Ночь такая прекрасная, пустая, одинокая и грустная — подстать ему. И всё кругом так странно в своем ночном совершенстве, бесцельно-сияющее, полное ожидания. Улицы пустые. И такая тишина. Такое одиночество. На душе у него тревожно, будто он ждет чего-то, сам не зная, чего.

И вдруг совсем близко виолончелью запела калитка. Из душистого белого сада на улицу вышла молодая женщина. От луны ли и неожиданности, или действительно она была так уж хороша, но его сразу неудержимо потянуло к ней.

Она остановилась у калитки и вскинула на него сияющую черноту своих глаз, неопределенно улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Под ловким, туго перехваченным в талии черным платьем угадывалась ее молодое, легкое, гибкое тело. Кружевная косынка обрисовывала маленькие, круглые груди.

Он тоже остановился, а она подняла руку и поманила его — догоняй мол меня. Пошла вперед, тонкая, стройная, перебирая на ходу крутыми бедрами, вихляя юбкой, все ускоряя шаг. Он за ней. Вот она обернулась, убедилась, что он идет за ней, и снова улыбнулась, уже по-новому — радостно.

Он нагнал ее. Снял шляпу и поклонился ей, не зная, что

сказать от смущения. Она тоже смутилась, видно, еще не привыкла к ночным приключениям. — Вы приезжий? — спрашивает. Он ей объяснил, что он здесь проездом, уезжает завтра утром и очень хотел бы с ней провести этот вечер, если можно. — Вот это хорошо, — обрадованно сказала она и взяла его под руку. — Можно. Даже очень можно.

Пошли вместе. Но разговор не клеится. Она отвечает односложно — «да» и «нет» и, хотя продолжает улыбаться, кажется озабоченной.

— Зайдемте ко мне в гостиницу, — осмелев, предлагает он, — выпьем вина, посидим в моем номере.

— Нет, в гостиницу мне идти не с руки, — отвечает она. — Меня тут каждая собака знает. Но, вот увидите — мы прекрасно и без гостиницы, без вашего номера обойдемся! — И она рассмеялась, как ему почудилось, щекочущим, русалочьим смехом. И стала еще прелестней.

Он порывисто обнял и поцеловал ее в горячую нежную шею, упоительно пахнущую чем-то женским. Она не оттолкнула его, но как-то деловито заторопилась. — Идем, идем! — и снова, взяв его властно под руку, зашагала еще быстрее, дробно стуча своими подкованными полусапожками.

— Куда вы меня ведете? — все же осведомился он, хотя ему было безразлично, куда она его ведет, лишь бы чувствовать ее горячую руку сквозь рукав пиджака, лишь бы шагать с ней в ногу и любоваться ее прелестным лицом, освещенным луной.

Они прошли молча несколько пустых улиц, завернули в какой-то переулок. Он вдруг увидел кладбище и испуганно попятился. — Здесь нам никто не помешает. Здесь нам будет хорошо, — горячо и страстно зашептала она, — увидишь, как будет хорошо!...

Ворота кладбища были открыты, и он, не рассуждая, чувствуя, что уже весь в ее власти, пошел с ней мимо могил. На узких аллеях пестрели пятна света и теней. Кресты и памятники сахарно белели между черными пирамидальными тополями, уходящими к звездам. Тишина кладбища странно мешалась с лунным светом, тоже заколдованным и неподвиж-

ным. Он шел рядом с ней, уже ничего не сознавая, кроме ее близости.

Она остановилась перед одной могилой. На ней туманно белел огромный венок с широкой красной лентой.

Он вдохнул запах свежей земли и отвратительно-сладкий, удушливый, тлетворный запах тубероз.

— Тут нам будет хорошо, — снова зашептала она, — увидите, как хорошо!

Она стала торопливо стаскивать тяжелый венок с могильного холма.

— Помогите же мне, — отрывисто произнесла она, — мне одной не под силу. Тащите его! Тащите!

Но у него так дрожали руки от страха и страсти, что он скорее мешал, чем помогал ей. Наконец, она справилась с венком и не то со вздохом, не то со стоном упала плашмя на могильный холм. Уже лежа, потянула его за руку. — Иди ко мне!

Он мельком увидел белизну ее колен и с помутившейся головой бросился на нее, ощупью нашел ее горячие губы и в смертельной истоме жадно припал к ним. Она иступленно обняла его.

Он чувствовал, что что-то страшное и дивное свершается в его жизни. Подобного счастья он еще никогда не испытывал. Ему казалось, что до этой минуты он не знал ни любви, ни страсти. Она была его первой женщиной. Та, с которой он навеки должен был соединиться в самой тайной, блаженной, смертельной близости. Эта близость ничем в мире уже расторгнута быть не могла. Они навеки неразрывно связаны. Сразу же в его отуманенной голове стал возникать план остаться в этом украинском городе навсегда. Или увезти ее с собой в Москву. Жениться на ней. И никогда, до самой смерти не расставаться с ней.

Она — он это чувствовал — делила его восторг, вся извивалась и дико и самозабвенно вскрикивала: — Ах, хорошо, хорошо! Еще! Еще!

Потом, после изнурительно-страстных объятий, они долго лежали, тесно обнявшись.

Кругом была заколдованно-светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями крестов и тополей. Они оба молчали, будто боясь нарушить лунное очарование безмолвия. Ведь и без слов все было раз и навсегда понятно теперь, когда они нашли друг друга и уже не смогут расстаться.

Он, чувствуя восторг и благодарность, осторожно целовал ее маленькие круглые груди с крохотными сосками. — Да ведь она еще совсем девочка, — с мучительной нежностью думал он.

Она была бледна какой-то серебристой, лунной бледностью. Чернота ее глаз и волос стала еще черней. Никогда ни на чьем лице он не видел такого выражения блаженства.

Она счастливо и устало вздыхала и вдруг вся вытянулась, выскользнула из его объятий, ловким, гибким движением вскочила на ноги и принялась стряхивать со своего измятого платья прилипшие к нему комья земли.

Он тоже поднялся и во все возрастающем порыве восторга и благодарности стал на колени, покрывая поцелуями ее маленькие тупоносые козловые полусапожки, остро пахнувшие свежей землей и ваксой.

— Ой, что вы делаете? — вскрикнула она. — Встаньте! Я тороплюсь. Не мешайте мне. Не ровен час, свекровь меня хватится.

Она торопливо застегнула пуговицы лифа на груди и, держа шпильки в белых зубах, высоко подняв тонкие руки, оплела голову своей великолепной разметающейся косой.

Он, сбитый с толку, молча стоял перед ней, следя за тем, как она поспешно приводила себя в порядок.

— Два года мечтала — вот сдохнешь, гад, а я на твоей могиле... И дождалась таки! — вдруг свистящим, яростным шопотом произнесла она.

Он так и оторопел.

— Чья это могила?

— Чья? — звонко переспросила она и залилась своим щекочащим русалочьим смехом. — Мужа моего, вестимо! А то чья же еще? Вчера только его, старого уroda, схоронили. Я уже давеча выходила, до самого рассвета гуляла. Да, обида

какая, никого подходящего не встретила, — охотно и радостно объяснила она. — А вас, голубчик, мне просто Бог послал. Молодой, пригожий, ласковый, да к тому же, не из наших мест. Ох, как мне хорошо теперь. Спать как я сегодня чудесно буду! — и она сладко и протяжно зевнула.

— Вы — спросил он, заикаясь, холодея от ужаса, — вы помогли ему умереть?

Углы ее улыбающегося рта дрогнули. Тень сожаления скользнула по ее сияющему счастьем лицу.

— Нет. Какое там! Сам сдох, шелудивый пес. Опился. На чердак полез и с лестницы кубарем. Спину сломал. А я все мечтала, как я его грибками угощу осенью. Ну, да и так хорошо. Жалеть не стоит. — Она снова засмеялась своим щекочущим русалочьим смехом. — Вы-то свое сполна получили, а обо мне и говорить нечего — я сейчас как в раю.

Он все еще стоял перед ней, бессмысленно глядя на нее. Она взяла его руку своей маленькой горячей рукой и крепко пожала:

— Спасибо, голубчик! До чего же вы мне угодили! Как по заказу! Ну, я пошла. Дорогу в гостиницу сами легко найдете — все прямо по этой аллее, а как выйдете за ворота, свернете налево, так сразу и наткнетесь на нее. Не сообразитесь.

Она акуратно оправила складки платья и вдруг, низко нагнувшись над могильным камнем, отчетливо, с каким-то яростным восторгом произнесла отборное национальное ругательство и звонко плюнула на могилу. — Получай, гад!

Потом сразу выпрямилась, закинула голову и залила его сиянием своих счастливых черных глаз.

— Ну, прощайте, голубчик! Не поминайте лихом, — и, кивнув ему, быстро пошла своей легкой походкой по узорчатой от игры света и теней аллее, то попадая в полосу света, то пропадая в тени.

Пройдя уже довольно далеко, она, не останавливаясь, обернулась и, приложив руки рупором к губам, крикнула:

— А звать-то вас как?

— Андрей! — голос его прозвучал так странно и хрипло, будто не он, а кто-то другой ответил за него.

— Даже имячко у вас красивое! Это я, чтобы за здоровье ваше подавать. Век буду молиться за вас, Андрюша! — донеслось до него. И все смолкло.

Он долго бессмысленно и бездумно стоял, глядя на опустевшую аллею. Потом, опомнившись, со всех ног бросился вон с кладбища. Уже почти добежав до своей гостиницы, он почувствовал ветер в волосах и смутно вспомнил, что его новая поярковая шляпа осталась там, на могиле. Она стоила очень дорого, но он даже не пожалел о ней.

— Вот вам рассказ моего приятеля, вот вам украинская ночь — не по Гоголю, — заканчивает Бунин, сдвигая свою каракулевую шапку на затылок и закуривая.

Я слушала молча, ни разу не перебивая. Как он рассказывает! Я никогда не думала, что можно так рассказывать — так живо, красочно, образно, заставляя слушателя все видеть.

— А он? Что с ним потом было? — спрашиваю я.

— Ну, он, конечно, потрясся до самого основания, долго не мог в себя прийти. Чуть не заболел нервным расстройством. Но, слава Богу, оправился. Но ее никогда забыть не мог.

— Скажите, Иван Алексеевич, а это, действительно, с вашим приятелем произошло, а не с вами? — спрашиваю я.

Он разводит руками.

— Ах вы, Фома неверный! Стал бы я выдумывать? Но клясться не намерен. — И, помолчав, продолжает: — Я хотел этот случай в «Темные аллеи» включить, да раздумал. Он бы детонировал. Слишком уж «макаберно», возмутил бы святош — осквернение могилы. Заклевали бы меня за него. — Бунин произносит «макаберно» так, будто ставит его в кавычки. Он умеет ставить слова в кавычки, произнося их особым образом.

— А, по-моему, вы непременно должны написать этот рассказ...

Шаги в коридоре. Дверь открывается. Вера Николаевна входит с немного виноватым видом. Она долго отсутствовала. Должно быть, ходила не только за покупками, но и к морю. И даже в каком-нибудь кафэ посидела с Георгием Ивановым.

— А ветчину не забыла купить? — накидывается на нее Бунин.

Она протягивает ему сверток, и он торопливо разворачивает его и шумно одобряет ветчину:

— Отличная! Сочная! Чуть с жирком, как я люблю. Молодец, Вера!

Она улыбается и за его спиной кивает мне заговорщически. Мы обе понимаем. Ветчина хороша оттого, что Бунин пришел в хорошее настроение. А мог бы и пробурчать: — «Дрянь. Покупать не умеешь. Зря деньги тратишь. Не стану есть!» Что, впрочем, не помешало бы ему съесть ее всю, до последнего кусочка.

С ветчиной у Бунина сложные отношения и счета. Еще до войны доктор однажды предписал ему есть ветчину за утренним завтраком. Прислугу Бунины никогда не держали, и Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с вечера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось с неделю. Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу. Но Бунин постоянно находил ее и съедал. Как-то ей все же удалось спрятать ее так, что он не мог ее найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина? Черт знает, что такое! Полтора часа ищу», — и Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и безропотно отдала ее Бунину.

А со следующего же утра стала вставать на полчаса раньше, чтобы успеть купить ветчину к пробуждению Бунина.

Ирина Одоевцева

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Какая чушь, что в камне — косность,
Здесь камень — зренья острей,
Приподняла скульптурный космос
В прохладных пальцах капитель.
Как нежен розоватый выступ
Холодной в оспинах доски,
Где раздраженных василисков
Закаменели позвонки.
Они ощерены, как вызов,
Как будто совесть их когтит,
А гулкий голубь на карнизах
Извечен, как латинский стих.
В доспехах каменная стража
Захоронилась у колонн,
И взрывом радужных витражей
Истертый камень воспален.
Средневековье на ладони
У старой, сморщенной скалы,
Средневековье молодое
В огне готической стрелы.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ТЕМА

Латерна Магика — о золотистый свет,
Карманный рай, танцующий миражик,
Из бархатного сумрака кассет
Рождающий веселых персонажей.
Сквозных теней китайская игра,
Италия на золотой ладони,
Венеции живые вечера,
Алмазные фантазии Гольдони.
Волшебника пьянил базарный гул,
Он засыпал на пристани туманной,
И ёжилась от сырости лагун
Мартышка на плече у шарлатана.

Олег Ильинский, 1971

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Первым моим бригадиром был Котур, серб, попавший на Колыму после разгрома интернационального клуба в Москве. Котур не относился к своим бригадирским обязанностям серьезно, понимая, то судьба его — как и всех нас, решается не в золотых забоях, а совсем в другом месте. Впрочем Котур ежедневно ставил нас на работу, замерял со зрителем результаты, укоризненно качал головой. Результаты были плачевны.

— Ну, вот ты — ты знаешь лагерь. Покажи, как надо махать лопатой, — попросил Котур.

Я взял лопату и, раскайливая легкий грунт, накатал тачку. Все засмеялись.

— Так работают только филоны.

— Поговорим об этом через двадцать лет.

Но нам не пришлось поговорить через двадцать лет. На прииск приехал новый начальник Леонид Михайлович Анисимов. При первом же обходе забоев он снял Котура с работы. И Котур исчез...

Наш бригадир сидел в тачке и не встал при приближении начальника. Тачка — слов нет — приспособлена для работы удачно. Но еще лучше тачки кузов ее приспособлен для отдыха. Трудно встать, подняться с глубокого, глубокого кресла — нужно усилие воли, нужна сила. Котур сидел в тачке и не встал, когда подошел новый начальник, не успел встать. Расстрел.

С приездом нового начальника — сначала он был заместителем начальника прииска. Каждый день, каждую ночь из барачков брали и увозили людей. Никто из них не возвращался на прииск. Александров, Кливанский — фамилии стерлись в памяти.

Новое пополнение и вовсе не имело имен. Зимой тридцать восьмого года начальство решило пешком отправлять этапы из Магадана на прииски севера. От колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать-сорок. Остальные оседали в пути — обмороженными, голодными, застреленными. По фамилиям никого из этих прибывших не знали — это были люди из чужих этапов, не отличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями отморожений на пальцах.

Бригады уменьшались в числе — по дороге на Серпантинку, на расстрельную командировку Северного управления, — день и ночь прохилиали машины, возвращавшиеся порожняком.

Бригады сливали — людей не хватало, а правительство обещало дать рабсилу, требуя план. Каждый начальник прииска знал, что за людей с него не спросят — еще бы это самое ценное! — люди, кадры. Это все любой начальник изучал в политкружках, а практическую иллюстрацию получал в золотых забоях своего прииска.

К этому времени начальником прииска «Партизан» Северного горного управления был Леонид Михайлович Анисимов — будущий большой начальник Колымы, посвятивший всю жизнь Дальстрою, — начальник Западного управления, начальник Чукотстроя. Но начинал лагерную карьеру Анисимов на прииске «Партизан», на моем прииске.

Именно при нем прииск был наводнен конвоем, выстроены зоны, управление аппарата «оперов» — начались расстрелы целыми бригадами и в одиночку. Начались чтения на поверках, разводах бесконечных приказов о расстрелах. Эти приказы были подписаны полковником Гараниным, но фамилии людей с прииска «Партизан» — а их было очень много, — были названы, выданы Гаранину Анисимовым. Прииск «Партизан» — маленький прииск. На нем всего в 1938 году было две тысячи человек списочного состава. Соседние прииски «В-атурях» и «Штурмовой» были по 12 тысяч населения каждый.

Анисимов был старательным начальником. Я очень хорошо

запомнил два личных разговора с гражданином Анисимовым. Первый в январе тридцать восьмого года, когда гражданин Анисимов пожаловал на развод по работам и стоял в стороне, глядя как его помощники под взглядом начальника вертятся быстрее, чем следовало. Но недостаточно быстро для Анисимова.

Выстраивалась наша бригада и прораб Сотников, показав на меня пальцем, извлек из рядов и поставил перед Анисимовым.

— Вот филон. Не хочет работать.

— Ты кто?

— Я журналист, писатель.

— Консервные банки ты здесь будешь подписывать. Я спрашиваю — ты кто?

— Забойщик бригады Фирсова, заключенный имя-рек, срок пять лет.

— Почему не работаешь, почему вредишь государству?

— Я болен, гражданин начальник.

— Чем ты болен, такой здоровый лоб?

— У меня сердце.

— Сердце. У тебя сердце. У меня самого сердце больное. Врачи запретили Дальний Север. Однако я здесь.

— Вы это другое дело, гражданин начальник.

— Смотри сколько слов в минуту! Ты должен молчать и работать. Подумай, пока не поздно. Расчет с вами будет.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Вторая беседа с Анисимовым была летом, во время дождя, на четвертом участке, где нас держали, промокших насквозь. Мы бурили шурфы. Бригада блатарей давно была отпущена в барак из-за ливня, но мы были пятьдесят восьмая, и мы от ливня под грибом.

В этот ливень, в этот дождь нас посетил Анисимов вместе с заведующим взрывными работами приисков. Начальник пришел проверить, хорошо ли мы мокнем, выполняется ли его приказ о пятьдесят восьмой статье, которая никаким «актировкам» не подлежит и которая должна готовиться в рай, в рай, в рай.

Анисимов был в длинном плаще с каким-то особенным капюшоном. Начальник шел, помахивая кожаными перчатками.

Я знал привычку Анисимова бить заключенных перчатками по лицу. Я знал эти перчатки, которые на зимний сезон сменялись меховыми «крагами» по локоть, знал привычку бить перчатками по лицу. Перчатки в действии я видел десятки раз. Об этой особенности Анисимова говорили на «Партизане» много в арестантских бараках. Я был свидетелем бурных дискуссий, чуть не кровавых споров в бараке — бьет ли начальник кулаком или перчатками, или палкой или тростью, или плёткой, или прикладывая «ручной револьвер». Человек — сложное существо. Споры эти заканчивались чуть не драками, а ведь участники этих споров — бывшие профессора, партийцы, колхозники, полководцы.

В общем все хвалили Анисимова, бьет, но кто не бьет? Зато не остается синяков от перчаток Анисимова, а если крагой кому-то он разбил нос в кровь, то и то из-за «патологических изменений самой кровеносной системы человека, в результате длительного заключения», — как разъяснял один врач, которого в анисимовские времена не допускали до врачебной работы, а заставляли трудиться наравне со всеми.

Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг. Все это было много позже, а тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым — я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.

Кожаные перчатки Анисимова приблизились и я приготовил кайло. Но Анисимов не ударил. Его красивые крупные темнокарие глаза встретились с моим взглядом и Анисимов отвел глаза в сторону.

— Вот все они какие, — сказал начальник прииска своему спутнику. — Все. Не будет толку.

В. Шаламов

БЕЗЫМЯННАЯ КОШКА

Кошка не успела выскочить на улицу, и шофер Миша поймал ее в сенях. Взяв старый забурник, — короткий стальной лом, Миша сломал кошке позвоночник и ребра. Ухватив кошку за хвост, шофер открыл ногой дверь и выбросил кошку на улицу в снег, в ночь, в пятидесятиградусный мороз. Кошка была Кругляка, секретаря партийной организации больницы. Кругляк занимал целую квартиру в двухэтажном доме на вольном поселке и в комнате, расположенной над Мишиной, держал поросенка. Штукатурка на Мишином потолке сырела, вспухала, темнела, а вчера обрушилась и навоз потек с потолка на голову шофера. Миша пошел объясняться к соседу, но Кругляк выгнал шофера. Миша был незлой человек, но обида была велика и когда кошка попалась Мише под руку...

Вверху в квартире Кругляка молчали — на визг, на стон, на крики кошки о помощи не вышел никто. Да и о помощи ли кричала кошка. Кошка не верила, что люди могут ей придти на помощь: — Кругляк ли, шофер ли — всё равно.

Очнувшись в снегу, кошка выползла из сугроба на ледяную, блестящую в лунном свете дорожку. Я проходил мимо и взял кошку с собой в больницу, в арестантскую больницу. Нам не разрешали держать кошек в палатке, хотя крыс была бездна и никакой стрихнин, никакой мышьяк не мог помочь, не говоря уже о крысоловках, о капканах. Мышьяк и стрихнин хранились за семью замками и предназначались не для крыс. Я умолил фельдшера нервно-психиатрического отделения взять эту кошку к психам. Там кошка ожила и окрепла. Отмороженный хвост отпал, осталась культя, лапка была сломана, ребра сломаны. Но сердце было цело, кости срослись. Через два месяца кошка уже сражалась с крысами и очистила от крыс нервно-психиатрическое отделение больницы.

Покровителем кошки стал Лёнечка — симулянт, которого и разоблачать-то было лень — ничтожество, которое спаса-

лось всю войну по непонятному капризу доктора — покровителя блатных, которого каждый рецидивист приводил в трепет, не в трепет страха, а в трепет восхищения, уважения, благоговения. «Большой вор», говорил почтенный доктор о своих пациентах — симулянтах явных. Не то, что у врача была «коммерческая» цель — взятки, поборы. Нет. Просто у доктора не хватало энергии на инициативу добра и потому им командовали воры. Истинные же больные не умели попасть в больницу, не умели даже попасться на глаза доктору. Кроме того — где грань между истинной и мнимой болезнью в лагере? Симулянт, аггравант, истинно страдающий больной мало отличаются друг от друга. Истинно больному надо быть симулянтом, чтобы попасть на больничную койку.

Но кошке каприз этих психов сохранил жизнь. Вскоре кошка загуляла, окотилась. Жизнь есть жизнь.

А потом в отделение пришли блатные, убили кошку и двух котят, сварили в котелке, и моему приятелю — дежурному фельдшеру, дали котелок мясного супу — за молчание и в знак дружбы. Фельдшер спас для меня котенка, третьего котенка, серенького такого, имени которого я не знаю: боялся назвать, окрестить, чтоб не накликал несчастья.

Я уезжал тогда на участок свой таежный и вез за пазухой котенка, дочь этой безымянной калек-кошки, съеденной блатными. В амбулатории своей я накормил кошку, сделал ей катушку-игрушку, поставил банку с водой. Беда была в том, что у меня разъездная работа.

Запирать кошку на несколько дней в амбулатории было нельзя. Кошку надо было отдать кому-то, чья лагерная должность позволяла кормить другого — человека или зверя — все равно. Десятник? Десятник ненавидел животных. Конвоиры? В помещении охраны держали только собак, овчарок и обрежь котенка на вечные мучения, на ежедневные издевательства, травлю, пинки...

Я отдал котенка лагерному повару Володе Буянову. Володя был раздатчиком пищи в больнице, где я работал раньше. В супе больных, в котле, в баке была Володей обнаружена мышь, разваренная мышь. Володя поднял шум и хотя шум был

невелик и напрасен, ибо ни один больной не отказался бы от лишней миски этого супа с мышью. Кончилась история тем, что Володю обвинили в том, что он с целью и так далее. Заведующая кухней была вольнонаемная, договорница, и Володю сняли с работы и послали в лес на заготовку дров. Там я и работал фельдшером. Месть заведующей кухней настигла Володю в лесу. Должность повара — завидная должность. На Володю писали, за ним следили добровольцы днем и ночью. Каждый знает, что не попадет он на эту должность и все же доносит, следит, разоблачает. В конце концов Володю сняли с работы и он принес котенка мне назад.

Я отдал кошку перевозчику.

Речка, или как говорят на Колыме «ключ» Дусканья, по берегам которого шли наши лесозаготовки, был как и все колымские реки, речки и ручьи ширины неопределенной, нестойкой, зависящей от воды, а вода зависела от дождей, от снега, от солнца. Как бы ключ не пересыхал летом, необходим был перевоз, лодка для переправы людей с берега на берег.

У ручья стояла избушка, в ней жил перевозчик, он же рыбак.

Больничные должности, достающиеся «по благу» не всегда легки. Обычно эти люди выполняли три работы, вместо одной. А для больных, числящихся на койке, «на истории болезни» — дело обстоит еще сложнее, еще тоньше.

Перевозчик выбран был такой, чтобы ловил рыбу начальству. Свежую рыбу к столу начальника больницы. В ключе «Дусканья» рыба есть, мало, но есть. Для начальника больницы лично ловил рыбу этот перевозчик весьма старательно. Ежедневно вечером больничный шофер дрововоз, брал у рыбака темный мокрый мешок, набитый рыбой и мокрой травой, закатывал мешок в кабину и машина уходила в больницу. Утром шофер привозил рыбаку пустой мешок.

Если рыбы было много, начальник, отобрав лучших себе, вызывал главврача, и других пониже рангом.

Рыбаку даже махорки начальство никогда не давало — считая, что должность рыбака должна цениться тем, кто на «истории», то-есть на истории болезни.

Доверенные люди — бригадиры, конторщики добровольно следили, чтобы рыбак не продал рыбу за спиной начальника. И опять все писали, разоблачали, доносили. Рыбак был старый лагерник, он хорошо понимал, что первая неудача — и он загудит на прииск. Но неудач не было.

Хариусы, ленки, омули ходили в тени под скалой вдоль светлого стрежня речки, вдоль потока, вдоль быстрого течения, забираясь в темноту, где поглубже, спокойней и безопасней. Но здесь же стоял челнок рыбака и удочки свисали с носу, дразня хариусов. И кошка сидела, каменная как рыбак, поглядывая за поплавками. И казалось, именно она раскинула над рекой эти удочки, эти приманки. Кошка привыкла к рыбаку быстро.

Сброшенная с лодки, кошка легко и неохотно приплывала к берегу к дому — учить ее плавать было не надо. Но кошка не выучилась сама приплывать к рыбаку, когда его лодка была поставлена на двух шестах поперек течения. Кошка терпеливо ждала возвращения хозяина на берегу.

Через речку, а то и вдоль берега в ямах, поперек котловин и промоин рыбак натягивал переметы — веревку с крюками с наживкой — малявками. Так ловилась рыба покрупнее. Позднее рыбак перегородил один из рукавов речки камнями, оставив четыре протока и загородил протоки вёршами, которые сам рыбак и сплел из тальника. Кошка внимательно смотрела на эту работу. Вёрши ставились загодя, чтобы когда начнется осенний ход рыбы — не упустить своего.

До осени было еще далеко, но рыбак понимал, что осенний ход рыбы — последняя его рыбацкая работа в больнице. Рыбака пошлют на прииск. Правда, некоторое время рыбак может собирать ягоды, грибы. Лишнюю неделю протянет и то хорошо. Кошка же собирать ягоды и грибы не умела.

Но осень придет еще не завтра и не послезавтра.

Пока кошка ловила рыбу — лапкой в мелководье, крепко упираясь в береговой гравий. Эта охота была мало удачной, зато рыбак отдавал кошке все остатки рыбы.

После каждого улова, каждого рыбацкого дня, рыбак разбирал добычу: что покрупнее — начальнику больницы, в осо-

бый тайник в тальнике, в воде. Рыбу среднего размера — для начальства поменьше, каждый хочет свежей рыбы. Еще мельче — для себя и кошки.

Бойцы нашей «командировки» переезжали на новое место и оставили у рыбака щенка месяцев трех с тем, чтобы взять его после. Бойцы хотели продать щенка кому-нибудь из начальства, но или на примете желающих не было или не сошлись в цене — только за щенком никто не приезжал до самой глубокой осени.

Щенок легко вошел в рыбацью семью, подружился с кошкой, которая была постарше — не годами, а житейской мудростью. Щенка кошка нисколько не боялась и первое шутливое нападение встретила когтями, безмолвно исцарапав морду щенка. Потом они помирились и подружились.

Кошка учила щенка охоте. К этому у нее были все основания. Месяца два назад, когда кошка жила еще у повара, убили медведя, содрали с него шкуру и кошка бросилась на медведя, торжествуя, вонзая когти в сырую красную медвежью тушу. Щенок же завизжал и спрятался под койку в бараке.

Эта кошка никогда не охотилась с матерью. Никто не учил ее мастерству. Я выпоил молоком котенка, уцелевшего после смерти матери. И вот — это была боевая кошка, знавшая всё, что полагается кошке знать.

Еще у повара, крошечный котенок, поймал мышь, первую мышь. Земляные мыши на Колыме крупные чуть мельче котенка. Котенок задушил врага. Кто учил его этой злобе, этой вражде? Сытый котенок, живущий на кухне.

Часами кошка сидела около норы земляной мыши и щенок замирал, как кошка, подражая ей в каждом движении ждал результатов охоты, прыжка..

Кошка делилась со щенком как с котенком, бросала ему пойманную мышь и щенок рычал, учился ловить мышей.

Сама кошка ничему не училась. Она все знала с рождения. Сколько раз я видел как являлось это охотничье чувство — не только чувство, но знание и мастерство.

Когда кошка подстерегала птиц щенок в крайнем волнении замирал, ожидая прыжка, удара.

Мышей и птиц было много. И кошка не ленилась.

Кошка очень сдружилась со щенком. Вместе они изобрели одну игру, о которой много говорил мне рыбак, но я и сам видел эту игру три или четыре раза.

Перед рыбацкой избушкой была большая поляна и в середине поляны толстый пенёк лиственницы метра три в высоту. Игра начиналась с того, что щенок и кошка носились по тайге и выгоняли на эту поляну полосатых бурундуков — земляных белок, маленьких крупноглазых зверьков — одного за другим. Щенок бегал кругами стараясь поймать бурундука и бурундук спасался, легко спасался, поднимался на пенёк и ждал пока зазевается щенок, чтоб прыгнуть и исчезнуть в тайге. Щенок бегал кругами, чтобы видеть поляну, видеть пенёк и бурундука на вершине пня.

По траве к пню подбегала кошка, поднималась за бурундуком. Бурундук прыгал и попадал в зубы щенка. Кршка спрыгивала с дерева и щенок выпускал добычу. Кошка осматривала мертвого зверька и лапой подвигала бурундука — щенку.

Я часто ездил тогда этой дорогой, кипятил в избе перевозчика «чифирь»; ел, спал перед дальней пешей таежной дорогой — двадцать километров надо было мне пройти, чтобы добраться до дома, до амбулатории.

Я смотрел на кошку, щенка, рыбака, на их веселую возню друг с другом и всякий раз думал о неумолимости осени, о непрочности этого малого счастья и о праве каждого на эту непрочность: зверя, человека, птицы. Осень их разлучит, думал. Но разлука пришла раньше осени. Рыбак ездил за продуктами в лагерь, а когда вернулся — кошки не было дома. Рыбак искал ее две ночи, поднимался высоко вверх по ручью, осмотрел все свои капканы, все ловушки, кричал, звал именем, которого кошка не имела, не знала.

Щенок был дома, но ничего не мог рассказать. Щенок выл, звал кошку.

Но кошка не пришла.

В. Шаламов

НЕДОУМЬ — СЛОВО — ЗАУМЬ

(Тристих)

Дыр-бул-шил

А. Крученых

Е равно эм-це-квадрат

А. Эйнштейн

Меня возьми и надоумь
Пичужка, как это ни странно,
Что горемычна — недоумь,
А заумь — гореотуманна.

Я с дыр-бул-шилом шел в руках,
Не то поэт, не то читатель,
Но все равно — шел в дураках,
Глядь —

По березе прыгал дятел,
Красной шапочкой качал,
Словно лодку конопатил,
Во все щелочки стучал.

Мы с ним спелись для дуэта:
Отбивал он *так* и *ток*,
Я проворно в схему эту
Подключал за слогом слог.

У него была сноровка
(Да и я ведь не простак!),
Выходило очень ловко,
Приблизительно вот так:

То *так*, то *ток*,
Таков мой *такт* —
Мастак, знаток
Таких *токкат*.

Вот теперь не бестолково
Получалось у него:
Недоумь рождала слово
Через наше озорство.

Вдруг фырх-порх — и горя мало!
Вот и кончился дуэт:
Птичка Божия не знала,
Что она полу-

ПОЭТ

Пока еще не пробил срок,
Оно весь мир в себе вмещало,
И Слово означало — Бог:
Всему причина и начало.

Но по законам естества
Тяжелой плотью стало Слово,
И ты явился в мир, чтоб снова
Перековать его в слова.

На человеческий язык
Речь духа переводит лира,
На недоумь — звериный рык,
На зауь —

СОТВОРЕНИЕ МИРА

В Начале было Слово там:
С Е З А М

Крутой замес бродил в сезаме,
Змеясь, жило в нем словопламя,
Формировался звукоряд
И проявлялись буквосвойства:

СЕЗАМ
АЗ ЕСМЬ
АЗ Е = МС²
Сезаумь, откройся!

Николай Моршен

ПТИЦА ГОЛУБАЯ

9

Лето пробегало так быстро. Она смутно понимала, что это лето — самое лучшее, что ей отпущено судьбой и, может быть, самое лучшее во всей ее жизни. Такого, единственного больше никогда не будет. Маша с сестрой и мальчиком жила на даче. Лев ездил к ним на воскресенья, возил продукты. Вся же неделя, по какому-то неписаному закону, принадлежала нераздельно им. Были их совместные странствия по Подмосковным. Дворцы и парки этим летом были их собственностью, вотчинами их летних дней. Они ездили утром и вечером, когда только было у него свободное время.

Были их двойные полузадушенные выдохи восторга на струящийся лиственный водопад хрустала останкинских люстр в розовом сиропе вечернего солнца и их трепетная «опрокинутость» в сияющих паркетах. Были скольжения как бы одной мыслью, одним общим душевным изгибом по строгой изумрудности золотозеленых екатерининских тарелок и блюд в Кускове. Было растворение в завихренной немыслимости губер-роберовских романтических руин и огромных арок, окутанных гигантскими дымно-голубыми деревьями на золотом небе между высоких окон Архангельского. Были легкие и веселые их шагания по белым террасам и строгой геометричности дорожек, оживленных в своей однообразной плоской зелени встающими то там, то тут белыми фигурами. Фигуры были с ними в заговоре. Они улыбались им, прикладывали пальцы к губам, протягивали им каменные цветы, рыб, или колчаны со стрелами. Некоторые играли на дудочках и приплясывали, другие указывали им на что-то вдаль и звали их туда. И все они были с ними заодно. Даже львы у подъема

на терассу подмигивали им своими получеловеческими нелепыми мордами. А они замирали перед легкой воздушностью прелестного фонарика над крышей дворца, или приникали к какой-нибудь решётке и, скользя жадными глазами по гнучному чугуну, выбивали из этой чугунной графики новый фонтан наслаждения.

Потом, на траве, под темными деревьями они читали друг другу вслух французские стилизованные рассказы про золотые кареты, голубые локоны париков, узкие бархатные маски и поблескивающие луидоры. Ели привезенные с собой ягоды, глядели на небо и целовались. Жизнь, обычная реальная жизнь, была им совершенно не нужна. Она нисколько их не касалась. В набитых и грязных вагонах подмосковных железнодорожных линий, стоя у окна Ксения вывешивалась за него и ее темные густые волосы разлетались по ветру. У нее захватывало дух от движения, ветра, красоты только что виденного и от своего счастья. Высовываясь из окна с другого бока, смеясь и наслаждаясь ее солнечным лицом и порывом, перекрикивая шум разболтанных шпал, колес и тараторенья баб-молочниц он читал ей стихи:

...В этой теме, и личной, и мелкой,
Перепетой не раз и не пять,
Я кружил поэтической белкой,
И хочу кружиться опять...

Поезд ухарски загибал на повороте и они видели теперь весь его змеевидный состав.

...Эта тема пришла, остальное оттерла
И одна безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу...
Молотобоец! От сердца к вискам...

В окно через гарь паровоза и раскаленного железа большими свободными кусками залетал запах сена.

Он много говорил ей в те дни о том, как она стала особенно красива, как раскрылась и углубилась в ней ее женская сущность. Она знала это. Часто ловила на себе ошеломленные

взгляды мужчин. Ей это было противно. Она сердилась. Они не смели. Это все было не для них. Они своими взглядами хватали себе чужое, принадлежащее другому.

Раз, весной еще, они съездили вдвоем к Андрею. Охота вышла неважная — тока, на который они рассчитывали, не получилось. Но: дымная дышащая ночь в весеннем лесу; ниоткуда, как бы мистически родившееся пощелкивание бекасов в темноте и внезапно фырчаще-шуршащий ниспадающий шум их крыльев; восход солнца, птичий гомон на восходе; роскошные лимонно-фруктовые запахи молодых, еще не раскрутившихся желтоватых листиков и весенняя душистость разогревающегося на солнце болота — все это было прекрасно. Андрей тоже ходил с ними. Был, как всегда, тих, серьезен, деловит. Трогательно заботился о Ксении, помогал ей у разведенного им быстро и ловко костерка просушить на рогатке мокрый носок и промокший сапог (в темноте она неосторожно провалилась в небольшое «оконце»). Было хорошо ни о чем не думать и даже не очень хотелось охотничьей удачи. Они совсем не стеснялись Андрея, он им ничем не мешал. И они любили его за это. Дома он варил для них картошку, ставил самовар и вообще всячески заботился. Ксения была ему за все очень благодарна. И не смеялась над ним больше. Они остались очень довольны поездкой.

Дядя Миша заезжал к Насте, подолгу сидел, басил, пил чай. Но к ней заходил теперь редко. Он как будто боялся ее, ее расцветшей брызжущей красоты, золотого от воздуха и солнца загара, бархатистой оранжеватости ее румянца, тонких, ставших более четкими черт, горящих темных глаз под изогнутыми бровями, свежего красного рта. Она поправилась, стала статнее, выше. Ее красота явно его пугала. Он опасливо озирался на нее, как на что-то новое, чужое, качал головой прибарматывая:

«Ах ты, Птица моя Голубая...»

Обо всем этом она старалась не думать. Она не занималась собой, в зеркало глядела лишь мимоходом. Но тогда сама поражалась своему виду. Сергей с новым интересом посматривал на «сестренку» (как он обычно называл ее) и дольше обычного

шутил с ней в передней или на кухне. Она же ни на кого не обращала внимания и жила в своем особом, замкнутом, насыщенном и от всех отгороженном мире.

10

Началась зима. Все изменилось. Дни теперь разбивались так: были опорные незыблемые точки — его приходы; до этого — дни нагнетающегося ожидания и предвкушения; а после — всем этим можно было еще жить очень интенсивно день-два, пока фактическая пустота не заливала чем-то серым, липким, нудным ее дни. Все остальное — служба (в карто-точном отделе одного медицинского института, куда ее устроил Сергей) и домашние нехитрые заботы делались механически, только руками и краешком мысли. Все настоящие мысли, всё раскрытие до дна — было с ним и для него. Его дела и мысли были той средой, где она двигалась с радостью, с вдохновением. Она иногда удивлялась: какая сверхъестественная сила так прикрепила ее к нему? Без оглядки, без всякой возможности выбора, без критики. Как сильным магнитом, без участия ее воли. Это что там в книгах пишут! Надо вот так гром-мадно, так всесокрушающе, физически и безнадежно перечув-ствовать всё самой. Как колдовство. Что может разрубить, эту магнитную тягу? Она еще ничего не знала о действии времени, кроме опыта первой большой любви, другого у нее не было.

Однако приходы Льва теперь часто окрашивались какой-то его внутренней растерзанностью. Тугой давящий жгут, в который жизнь закручивала его, не сразу удавалось ей рас-крутить. Учащались моменты его отсутствующего сидения с неподвижным взглядом, устремленным на портрет Прокофье-ва, который когда-то был свидетелем их бездумных радостных встреч, который весь сиял и светился тогда, отражая в себе их солнечное лето. Глядя его руки, тихо сидя около него, она часто теперь внутренне боролась с его напряжением. Она ни о чем не спрашивала. Когда он «раскручивался», наконец, и начинал рассказывать (обычно об институте и работе), она

была рада, что он вообще заговорил. Она была счастлива, что может подать ему обед или чай, позаботиться о нем, как жена, которой она не была и никогда не будет. И это древнее первобытное чувство начинало, к ее ужасу, рождать в ней желания, которые она старалась круто обрывать в себе. Забота о нем — это то, на что она не имела права. Она понимала, что только давить, ломать надо было это неумное, древнее, почти что инстинктивное, но лезущее неотступно наружу чувство. Ее «лето» прошло. Это не для нее. А для нее — крохи, оборыши. И всё. Но чем дальше шли их отношения, тем сильнее, темней и примитивней становились ее желания. А его, его растерзывала жизнь...

Заболел ребенок. По ночам он сменял жену, дежуря у его кровати (у мальчика был ложный крупп, по ночам он задыхался, надо было давать капли и поднимать его). Это же время он использовал для окончания своей работы — сроки подпирали. Это все он объяснял ей, ранее обычного хватая свой пиджак со спинки стула и быстро прощаясь с ней. Придя же к ней, иногда прямо засыпал сидя на диване, и она, вернувшись из кухни с тарелкой горячего супа, уносила ее обратно, боясь разбудить его. Он теперь всегда хотел спать. Подходили сроки сдачи всей работы, а он всё еще переделывал уже сданные, но возвращенные ему по приказу свыше куски и все не кончал ее. Работал много, но зачеркивал еще больше.

Она же по-глупому, по-бабьи (как она презирала себя за это!) завидовала его жене, к которой он (хотя и насытившись ее любовью, ласками, беспамятной отдачей) все же старался вó-время вернуться и сменить ее у кровати сына. Она сама понимала, что безумеет от всего этого, и что-то даже стало путаться в ней. Иногда ей казалось, что малыш — ее сын, она тосковала и по нему. Когда он долго не шел — дни были длинны, серы, страшны. Она изводилась. Уносила на себе озабоченные и огорченные взгляды сестры. Но это было все. Настя молчала. Хотя бы сказала что-нибудь, ну хоть изругала бы ее! Сергей, раздиравшийся между больницами, институтом и письменным столом, отделялся шутками в коридоре или передней.

Один из приходов Льва к ней с большим опозданием напугал ее. Он долго не шел и пустое ожидание стало хватать ее за горло. Ксения не знала куда себя деть от смутного беспокойства: брала книгу — бросала ее, пробовала пришить оторвавшуюся пуговицу — запутывала нитки, обрывала, бросала. Не знала, как отвлечь и занять себя, а откуда-то снизу подступало жгучее беспокойство, выедало, выжигало всё самообладание, всю возможность жить и терпеть... Что-то случилось, что-то случилось... На настин вопрос — придет ли сегодня, глядя куда-то вбок, только головой кивнула. Сидела в углу дивана не в силах делать что-либо разумное.

Когда она, стремительно открыв дверь на звонок, увидела его, она мгновенно ощутила его явную надломленность. Не снимая пальто с завернувшимся воротником и непрерывно куря, он стал шагать по комнате, глядя куда-то в пустоту. От него сильно пахло водкой. Наконец заговорил. Вызывали в деканат. Там была вся партийная верхушка, «прорабатывали» его. Лекции его, видите ли, слишком пахивают (так сволочи и сказали) идеализмом. Расхождение с марксистской теорией. Недостаточное подчеркивание социально-экономического фактора, недостаточный нажим на учительную роль русской литературы. Обвинили в пристрастии к символизму, футуризму, формализму и не знаю еще к чему. И даже (подумать только!) поставили на вид слишком большое увлечение Маяковским! Уж о Блоке он и сам только мельком упоминает, да и то больше о «Двенадцати». А им и Маяковский уже вреден, кретины! Он не говорил ей, что сумели как-то пролезть и в его семейную ситуацию и уже, убийственные по фальши и угрозе, слова «моральное разложение» неслись за ним по-пятам.

Она пыталась (не особенно убедительно) сказать ему, что все это так примитивно и глупо, что не стоит обращать внимания.

Он вспыхнул: «Да не в этом дело! Это пахнет кое-чем похуже!»

Вздрогнула. Чем? Грозно-леденящее поползло ощутимо внутри. Он молчал и продолжал ходить по комнате все еще в

пальто с завернувшимся воротником. Потом извинился, сбросил пальто, пиджак, лег на диван и сейчас же заснул.

Ксения так и осталась стоять у рояля. Ясно видела — за ним несутся какие-то черные тучи, какие-то темные силы, пытаясь утащить в какую-то яму. Она стискивала руки на том месте, куда заползло это леденящее «что-то». Где-то глубоко и не совсем еще ясно шевелились какие-то предчувствия. Наконец сформировалось отвратительное, торжественное и злое слово «возмездие». Но, Боже мой, за что? Ведь, и он, и она просто любят друг друга, не могут не любить. Это, конечно, трагично. Все трое страдают. В чем же преступление? Кто виноват? Вихри мыслей неслись в мозгу, как в просторной зале и ни одна из них не хотела определиться во что-то положительное, крепкое, ясное. Наоборот: все сметено, заверчено, неясно, нехорошо. И не у кого спросить — что же делать? Как быть дальше? Ведь если бы опять как-нибудь исчезнуть из его жизни — это же не выход. Это не восстановит его прежнюю полную любовь «там». «Там» уже рухнуло что-то, нельзя же из осколков создать то, что между ними двумя так громадно, так органично родилось и живет в полноту всей возможной силы?

Она накрыла его пледом и долго смотрела на него спящего так тихо, словно умершего. Жутко стало. Глядела на его бледное тонкое лицо, жалела так, что капли слез капали на плед. Страдала за его нелепое унижение перед властью имущими ту-пицами. Жалела, любила очень сильно, безвыходно, бессмысленно. Помочь ничем не могла.

Лева спал тогда очень долго, часа два. Она потушила большой свет и села читать у маленькой постельной лампочки. Все-таки хорошо было ощущать, что он тут, хотя и измученный, и спит, но он тут, у нее.

Лева вдруг вскочил чего-то испугавшись, что-то бормоча. Взглянул на гнавшие его всегда часы и охнул. Даже в том, как он поцеловал ее на прощанье, уже чувствовалась отчужденность загнанного человека.

После этого ни Левы, ни его телефонных звонков не было очень много дней подряд. Все эти дни слились для нее в серую, мучительную вереницу, выдающую все до пустоты. Особенно трудно было теперь ничего не знать о том, что происходит с ним. Позвонить, чтобы узнать — было некуда. И это «некуда» особенно горько подчеркивало ее ущербное положение, ее бесправность. На службе, если наваливалась работа и думать было совершенно некогда, была еще возможность дышать и жить. Дома Ксения беспрерывно курила. Звук телефонного звонка обливал ее кипятком. Трубка каждый раз дрожала и плясала в ее руке. Есть становилось мучением. Глаза ее теперь смотрели из черных провалов. Выпросила у Сергея люминала, чтобы спать. На настины уговоры что-нибудь съесть — взрывалась, как на оскорбление. Та только головой качала. За свое неудержимое и мучившее ее самое раздражение на сестру старалась выхватить у нее всю тяжелую домашнюю работу: озверело мыла полы, стирала, таскала картошку и скребла кастрюли.

Любила в эти безнадёжные дни расчищать снег на тротуаре перед домом. Обжигающий, остро-снежный воздух и милый скребущий звук лопаты помогали тушить взвихренное волнение, помогали хоть на время успокоиться. Движение на морозе было приятно. Настя же, боясь за ее здоровье, пыталась остановить. Нарывалась опять на раздражение и даже слезы.

В один из этих пустых, серых и страшных вечеров Сергей открыл кому-то дверь (она не слышала звонка). Позвал ее. Никогда во всю жизнь она не забудет этого вечера, этих нескольких минут на темноватой лестнице.

Выбежала в переднюю и, не видя там никого, высунулась на площадку. В слабом свете плохонькой лампочки под толком стояла небольшая фигурка в серой шубке и шапочке. Ксения ощутила внезапную пустоту во всем теле. Брови ее поднялись с изломом. Она глядела и молчала. Фигурка подошла. Бледное лицо из-под серого меха глянуло на нее, тонкие

пальчики перебирали косяк двери, за который ухватилась и рука Ксении.

«Вы — Ксения?» Она кивнула, чувствуя, что сдавило горло. «Я — Маша, левина жена». Какой громадной и грубой показалась она себе рядом с этой хрупкой фигуркой.

«Так войдите же, что же мы тут стоим...»

«Нет. Не могу. Дело в том, что... что Леву взяли». Взгляд серых глаз немножко косил, вызывая ощущение чего-то не-реального, странного.

Звуки упали, но не дошли до нее. Она оцепенело смотрела на эти сероголубые нереальные глаза. И вдруг:

«Взяли? Кто? То-есть когда?!»

«Три дня назад. Кажется во вторник, да, во вторник».

Ксения стояла и молчала. Весь ужас того, что было сказано и «кем», все еще не вмещался в нее. Был где-то отдельно. Вдруг она поняла. С отчаяньем, злобно, с брызнувшими сразу слезами:

«Неправда!»

«Правда».

«Почему?»

«Его травили все последнее время. Разве вы не знаете? Он просил меня сказать вам. До свиданья, я пойду».

Ксения вдруг опомнилась:

«Маша, Маша, да войдите же ко мне, войдите! Надо поговорить, надо немедленно действовать, узнать, помочь...»

Серая шапочка опустилась низко:

«Не могу. До свиданья». Серая фигурка сбежала с лестницы, быстро, быстро.

Ксения не могла оторваться от косяка, в который вцепилась побелевшими пальцами. Глядела вслед исчезнувшей фигурке. Не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не помнила потом, как очутилась в своей комнате. Тупо, бессмысленно тупо и по-новому страшно глядели на нее портрет Прокофьева, рояль и диван. Диван, на котором так часто за последнее время спал Лева. Больше он не будет спать тут. Не будет.

Что это было? Видение? Насмешка? Провокация? И было ли вообще что-нибудь? Показалось? Но ведь Сергей... Нет,

это была настоящая живая Маша — страшный и беспомощный ее враг. Враг? Нет! Он просил и она выполнила — пришла и сказала. Все это ужасающая и чудовищная правда. Эти серые косящие глаза...

Что же теперь? Теперь, когда всё перевернулось, всё стало на голову?

А теперь возникло что-то новое, что стальным кольцом, без минуты промедления или какого бы то ни было рассуждения стягивало ее именно с ней, с этой маленькой Машей. И ведь, Боже мой! Ведь и мальчик еще! И не где-то мифические, незнанные, но всегда болезненно ощущаемые Маша и Игорек, а несчастные, брошенные, совершенно беспомощные Маша и мальчик. Ведь она точно знала, что у Маши кроме младшей сестры никого нет. Почему Маша пришла к ней? Зачем сказала? Чтобы убить, сразить за все, или... искать помощи? Да. Верно. Это он просил сказать ей. И вот Маша пришла. К кому?! К ней! Может он все-таки надеялся, что Ксения поможет им. Да, ну конечно он думал об этом.

Ксения лежала на диване, не двигаясь, лицом вниз. Не помнила — сколько так пролежала. Полная зловещая пустота сменилась вдруг вихрем мыслей. Все теперь — на помощь ей, этой несчастной Маше и ее малышу. Только в этом выход. Только тогда она не сойдет с ума. Но как пойти к ней? Отшвырнуть меня — ее право. Право, право...

«Кто п'гиходил к тебе, Ксения?» — настина белокурая голова заглянула в дверь.

«Левина жена».

«Что?! Зачем?» Настя вся вошла в комнату.

«Лева арестован».

«Да?» — молчание.

Настя ходила по комнате и курила, оттопыривая, как всегда, левую руку с папиросой. Ксения лежала ничком без движения.

«Что же ты будешь делать?» После долгого молчания:

«Пойду к ней».

«Зачем?»

«Отнесу немного денег. Обсудим, что делать. И как я могу помочь. Дай папиросу».

Настя подошла, наклонилась, поцеловала ее в затылок.

«Пойдешь — возьми и от нас с Се'ггеем сколько-нибудь. Она не захотела войти?»

«Нет».

«Несчастье! Я сегодня лягу у тебя тут. Хо'гошо?»

12

Ксения не раз бывала тут, в этом тихом арбатском переулке. Приходила и одна — очень хотелось посмотреть, где он живет. Иногда летом провожала его до этого двухэтажного домика, после того, как он уже доводил ее до дома. Она любила этот старенький, неказистый домишко, как «его» обиталище. Смотрела на него с любовью, как на человека, но никогда, даже в отсутствии Маши, не дерзала войти внутрь. Проходила медленно мимо с замиранием души.

Теперь все изменилось. Необходимо было войти в дом — сломать этот огромный трудный барьер всем напряжением сил, на которые она только была способна. Узенькая деревянная лесенка, ведущая на мансарду где была его квартира, недовольно скрипела, словно возражала против ее прихода. Но скрип заглушали сильные удары сердца, которые прямо-таки были слышны. Сухой и шершавый ком стоял в ней и отрезал возможность говорить. Она отмахивалась от скрипящей лестницы и вправду принимая ее за протестующее живое существо. Все равно, все равно не отступлю. Когда перед обитой старой клеенкой дверью читала сколько кому звонков в мансарду, сердце просто грохало в груди. Два длинных, один короткий — стояло на картонке против его фамилии. Два длинных, один короткий — повторяла она про себя тоскливо и потерянно стаскивала перчатку с руки зубами и надевала ее опять. В рот набилась шерсть, нужно было от нее освободиться. Хотелось уйти — все равно ни к чему она пришла. Не нужно, не нужно... И тут она позвонила. Два дли-и-инных, один короткий. Горло кто-то схватил железной хваткой, руки

стали дрожать. Дверь тихо, как бы сама, открылась. За дверью была большая кухня с русской печью, несовременно белевшей из угла. А сбоку, у двери, как маленькая мышка, стояла светленькая Маша с косящими глазами, вся погруженная в теплый просторный светер. Без шубки она и вовсе казалась маленькой худенькой девочкой.

Ксения хрипло выдавила, хватаясь за перила, но не переступая порога:

«Я к вам, можно?»

После небольшой паузы: «Можно».

Чувство страшной тесноты, теперь уже и физически охватило ее, когда они вошли. Комната была небольшая, а вещи — старинные громоздкие. Огромный красного дерева диван с полосатой обивкой отхватывал большую часть комнаты; и многое другое. Куда-то была втиснута детская кроватка. На стенах — старые портреты и гравюры, овальные рамы, овальный стол. Все убрано, чисто. А вон, в углу — темный деревянный киот с иконами; а дальше — полки с книгами. Хотелось просто сидеть так и глядеть на все: все эти вещи в «его» комнате, в «его» жилье обжигали ее чем-то острым, своим и чужим одновременно. Но она изо всех сил старалась ни на что не смотреть. Беленькая Маша молчала. Молчала и Ксения.

«Садитесь», потом тихо сказала Маша. Ксения старалась повернуть в себе острыми углами лезущий во все стороны предмет. А он все лез и лез, резал и резал. Голос был все тот же хриплый и противный, когда она отрывисто сказала:

«Я к вам по делу. Из-за вас и мальчика. Вы теперь совсем одни... Я знаю, знаю — вам противно на меня смотреть (Маша и не смотрела). Мне может и самой противно... Нет, нет — на себя, я хочу сказать. Но вот, как бывает, Маша. Не надо только враждовать со мной сейчас. Мы обе его потеряли теперь. Но у вас — ребенок. Я хочу вам помочь», она вдруг резко рассердилась на себя, замолчала и залилась густой краской. Глядела в пол.

«Я не вражду с вами, я не сержусь. Мне просто... очень трудно». Маша отошла к окну и встала там, очевидно действительно с чем-то в себе борясь.

Какая Маша маленькая и хорошенькая. А она, как лошадь, влезла к ним — нагнеталось отвращение к себе.

Маша вернулась к столу. Слабая нереальная улыбка скользнула по ее голубоватому лицу.

Совсем прозрачная! Боже мой, а ей ведь силы нужны, а она вот-вот сломится.

«Маша, мне тоже трудно. Простите меня, что я так нескладно. Но вы ведь тоже пришли ко мне и сказали. Значит, я тоже участвую во всем этом. Он ведь просил... Я, понимаете Маша, я должна, я обязана помочь вам, Маша, и мальчику». Маша как-то дернулась вбок. «Ну, хорошо, хорошо — только мальчику, только ему. Я работаю, вы — не можете. Тут (схватила за сумку) — немножко денег. Я прошу, я умоляю вас взять для мальчика — ему же там нужно — фрукты, молоко, ну и все другое. Не отказывайте, Маша. Это ведь не от чужих... От меня. Это единственный выход. И для вас и для меня. И для Левы...»

Маша сидела, сжав руки на коленях, и глядела вниз. Она подняла голову на скрип и носовое ворчанье из кровати. Подошла.

«Маша, простите, можно мне тоже взглянуть? Я так всегда хотела...»

Маша молчала. Что-то явно вставало в ней, не пуская сказать простое «да». Она поправила одеяльце, перегнув через решетку свою тоненькую фигурку в теплом просторном светере и отошла опять к окну. Ксения начала дрожать с головы до ног. Сжимала руки, чтобы не видно было, как они пляшут у ней на коленях. Она на все готова. Маша может гнать ее и все такое. Но она должна настоять на своем. Должна. Вся сжалась в комок железного напряжения.

Вдруг полушопот от окна: «Посмотрите».

Ксения на цыпочках подошла к кровати: весь в молочном тепле, в разомлевшей пушистости светлых волосиков и яблочной румяности, почмокивая соской-пустышкой и закинув кулачки за голову спал малыш. Его, левин сын. Спал и ничего не знал. Ксения стояла, как прикованная, впившись глазами в

ребенка, забыв все на свете. И, наконец, оторвавшись выдохнула: «Какой чудесный!»

Маша рванулась что-то сказать, но явно задавила в себе то, что готово было вырваться. Снова стала лицом к окну. Тут мозг Ксении прорезала мысль — эта тоненькая сдержанная фигурка и темный киот с иконами рядом. Вот он что. Тут связь. Эта мысль как-то приободрила ее.

«Маша, я пойду», впопыхах понеслась она дальше, выхватывая из сумки горстями бумажки денег и бросая их на стол, «вот тут немножко денег для начала, но я и дальше всегда, вы можете рассчитывать. И если для Левы, для дела, ну хлопоты и все такое, я всегда, все, что могу, только не говорите — нет. Милая Маша. Вы — милая, милая. Я знаю — вам противно смотреть на меня. Я уйду, но тут вот — мой телефон: для дела, только для дела, помочь если надо. Всегда. В любую минуту. Сейчас — только это. Простите, что так непрошено ворвалась. Но вы, вы ведь тоже пришли мне сказать. Не сердитесь, милая Маша. До свиданья». Она уже любила эту тихую беленькую Машу. Как и малыш, она была тоже кусочком его.

Не помнила, как уже шла опять по узкой, недовольно-скрипящей лестнице вниз. Еще слышала за собой едва различимые слова: «Я подумаю. Не могу так сразу».

Деньги, к счастью забытые, так и остались лежать на столе, а пылающая голова раскалывалась от боли до зелени в глазах.

13

Так было в первый ее приход. Потом они с Машей часто вспоминали, как им обоим было «ужасно трудно» в первый раз.

Во второй раз у кухонной двери ее встретила машина улыбка, делавшая ее личико немножко квадратным. Это очень шло к ней. Казалось спервоначала, что косящие ее голубовато-серые глаза — признак слабости, нерешительности, что они взывают о помощи к кому-то с крепкой волей, с сильным внутренним стержнем. Но это было не так. Маленькая хрупкая Маша оказалась не только сильным, но и мудрым человеком.

Перескочив (не без труда) через свое «женское нутро», как она призналась потом, она открылась для Ксении совсем неожиданной стороной. Оказывается, она все понимала. И не осуждала. И это было удивительно. Она — тихая, мягкая и очень больно раненая Маша — каким-то неведомым путем понимала, что на людей может налететь вихрь безумия и захлестнуть их так, как захлестнуло Ксению и Льва. Она без борьбы уступила его ей, а он за это платил ей и мальчику человеческой верностью. И она ценила это. Ксения немела от изумления, слушая ее спокойный высокий голос, пока ее голубоватые пальчики перебирали висюльки скатерти. Теперь же, считала Маша, когда он исчез и находится там, в ужасе и тьме грозного НКВД — всё резко меняется. Помощь ему и Игорьку — главная задача жизни (себя она исключала). И она вольно и охотно («и, знаете, без всякого горького и нехорошего чувства») готова принять ее помощь, ее человеческую помощь. Она также полностью понимает (и это было уже совсем поразительно) безисходное, безвыходное страдание Ксении и опять же понимает ее желание найти выход в помощи ему и мальчику. Ксения с огромным любопытством и удивлением глядела на эту опущенную светлую головку, причесанную на прямой пробор, и тонкую прозрачную шею, выглядывающую (так умилительно, будто тонкий стебелек) из толстого воротника светера. Ксения, высокая и сильная, в своем темном костюме чувствовала в себе некий внутренний приказ помочь этой девочке, этой хрупкой маленькой матери, взять что-то на себя, защитить ее собой. Но «защиты» как-то почему-то не требовалось. Дружба — да. Помощь — да.

Второе посещение, которого Ксения еще очень боялась, собираясь в комок нервной воли, когда поднималась по недовольно скрипящей лестнице на мансарду, обернулось для нее большой неожиданностью. Встретившая ее в кухне машина милая квадратная улыбка развернулась в удивительные мысли, неожиданные и большие. Но о самом главном в этот второй ее приход они еще не говорили. Это случилось потом. Тут было решено — кто и когда сможет отдежурить очередь на Лубянке, чтобы узнать, где он. Ксения для этого решила про-

пустить день на службе. Маша не могла бросить ребенка одного. А он — веселый, теплый, лохматенький — копошился за их спинами на полосатом диване, что-то бормоча, перебирая свои яркие игрушки и не ведая ничего. Ксения предлагала приходить с работы по вечерам, чтобы посидеть с малышом и дать ей возможность без помехи переделать все хозяйственные дела.

Ведь другой личной жизни теперь у Ксении не было. Ее занимали только следующие вещи: где достать фруктов Игорьку, есть ли у Маши еще картошка в запасе, есть ли деньги. Она взрывалась от радости, «выстояв» в очереди хорошенькую фуфаячку для малыша и неслась, как на крыльях, отдать ее им. Она же разыскала у себя и притащила им саночки с корзинкой для него и мечтала найти где-нибудь в окраинных универсамах маленькие валеночки. Это были теперь ее «опорные точки», ее радости. А когда, выстояв огромную очередь с четырех утра на Лубянке, она наконец добилась, что Лева в Бутырках, это событие затмило все остальные и деятельно переживалось на большом полосатом диване.

Началось энергичное собирание передачи (по строго указанному списку). Но радость была преждевременна. В Бутырках передачу у Маши не приняли. Мысль о том, как Маша везла посылку вместе с мальчиком в саночках назад из Бутырок, немилосердно мучила Ксению и заставляла ее ронять горячие капли на свои картотечные ящики и поминутно шмыгать носом. Хотелось пойти и накричать на кого-то за машину обиду.

«Что, простудилась?» скрипуче спросила ее начальница отдела, плотная четырехугольная женщина с плоским лицом.

«Да. Ужасный насморк».

14

И снова начались розыски. Машино беганье по тюрьмам и выстаивание длинных очередей на Лубянке стало обычным явлением. Игорек в утренние часы часто находился теперь у Насти.

«Конечно, пусть п'гинесет мне 'гебенка», не раздумывая сказала Настя на первый робкий вопрос Ксении.

Для Ксении стали как-то сами собой открываться новые мысли. Настино материнское отношение ко всем близким давно уже воспринималось, как само собой понятное и привычное, но ее простое согласие на помощь чужой совсем Маше и ее ребенку вызвало у Ксении момент восторга. Ксения знала, что Настя делает многое для других необычайно просто, «без фанфар», как она определяла. Но больше всех удивляла ее сама Маша: на страстные, возбужденные вопросы Ксении, как мол она может так тихо, так покорно нести весь ужас свершившегося, а, кроме того, терпеть грубость, хамство и полную бесчеловечность, которые сверх всякой меры выбрасывались на таких, как Маша из знаменитых «окошек» НКВД, у которых женщины простаивали часами, как она может, откуда берет силы все это терпеть — Маша отвечала тихо и уверенно: «Мне помогает Господь Бог».

Вот тут то и начались их совсем особые разговоры на большом полосатом диване, открывавшие для Ксении огромный неведомый дотоле мир. Возникли новые понятия: «духовная жизнь», «духовные ценности», «простота сердца», «грех», «смирение», «чудо» и многие многие другие. По мнению Маши — только молитва и чудо могли спасти Леву. И она говорила, что нужно очень очень много молиться. Она это понимала, как отдельное большое дело, может быть даже более важное, чем стояние в очередях в НКВД. Она абсолютно верила в силу молитвы. Верила, что помощь Леве может придти только мистически. Как — это другой вопрос, это скрыто, но помощь по молитве обязательно придет, считала она. Это и давало ей силу нести весь ужас того, что произошло. Эта хрупкая девочка с точеным личиком и тоненькими пальчиками, несшая (и уже давно! — почти физически мучилась Ксения), несшая на этих вот плечиках непосильный груз, вся светилась своей внутренней убежденностью, своим особым миром, таинственным и очень оказывается действенным! Сначала все это трудно было постигнуть. Ксения, далекая от такого рода рассуждений, сперва как-то противилась этой машинной логике. Все

протестовало в ней против машинных доводов. Но постепенно она должна была допустить, что именно этот нереальный мир совершенно реально помогает Маше жить. Вот кто из них двоих был основой: она, а не он, поняла как-то Ксения. Маша — мудрая и сильная, а не он. Теперь, когда его не было, вещи стали принимать другой вид. Его, как ребенка, было остро, болезненно жалко. Маша же вызывала удивление и восторг. Какая тишина и мир в ней, какая сила, все продолжала удивляться Ксения. Нет, она бы так никогда не смогла. Она бы кажется убить могла издевающегося энкаведиста. Да и без того, конечно, сразу бы напортила всему делу. Маша же всегда тиха и сдержанна. И насколько же она выше не только всех этих чудовищ в НКВД, но и многих обыкновенных людей вроде нее, Ксении, например. И еще было поразительно то, что под всем этим тяжким грузом она не только не клонилась, и не ломалась, и не теряла себя, а еще ухитрялась заботиться о какой-то полуслепой старушке, живущей тут же, в мансарде. И отнеся ей еду, или побыв еще с какими-то делами в ее комнате, возвращалась оттуда с сияющей улыбкой, точно что-то важное и необыкновенно приятное получив там. Ксения прямо-таки ахала на нее, а расстояние между ее несовершенством и Машей все росло и росло.

Погода потеплела. Рвались белые облачка на густой апрельской синьке неба через голые прутья в садиках, за домами. Со стеклянным хрупом сосульки падали на тротуары. Воробьи, возмущенные отсутствием лошадей и привычного корма, не собирались кучками на очищенных от снега улицах, а голодными взъерошенными комочками бессмысленно перелетали с карнизов на редкие деревья, или пытались найти скудные крошки, после разгрузки грузовиков с хлебом у булочных.

Ксения вошла в свою квартиру и услышала мужские голоса в настиной комнате. За обед сели вместе с приехавшим из деревни Андреем. Появился графинчик с апельсиновыми корочками и быстро приготовленная Настей селедка. Разговор

о фильтрующихся вирусах, очень занимавший обоих докторов и начатый еще раньше, продолжался и за столом. Сергей сыпал иностранными фамилиями, Андрей слушал. Но когда перешли на вопрос о том, насколько эффективно радиооблучение после удаления злокачественных опухолей и каких именно, Андрей приводил много случаев из своей практики и свои соображения. Настя поминутно исчезала в кухню. Ксения молчала, а от налитой ей Сергеем рюмки резко отказалась. Сегодня был пустой и тяжелый позтому день: она не пошла, как всегда к Маше. К Маше должна была приехать сестра.

Через некоторое время в дверь к ней постучали. Лежа с книгой на диване Ксения сказала: «Войдите». Вошел Андрей. Как всегда в русской рубашке под пиджаком, в высоких сапогах, в очках. Не глядя на нее, смущаясь и как бы извиняясь за свое вторжение, он присел к ней на край дивана и стал объяснять, что они с дядей Мишей узнали о всех печальных событиях и вот хотят... ну... чем возможно помочь этой бедной женщине. Дядя Миша обещался подбрасывать ей картошки там, лука и прочего («у него с деньгами, знаешь, туго — семья»). А вот тут, для начала, немножко денег... На протянутые им две сотенные бумажки Ксения резко поднялась, отбросила книжку и схватилась за голову.

«Боже мой! Андрюша, неужели столько? Ведь это так много! Неужели правда? Поверить нельзя... Ведь это для нее целое состояние. Ей ведь и за квартиру надо и... Боже, какой ты хороший!»

Андрей совсем смутился. Почему то взял ее руку и поцеловал. Ксения вся рванулась к нему, неловко обняла и чмокнула в щеку, сбив с него очки. Он улыбнулся (он очень редко улыбался) и поправил очки. Встал, отошел к роялю и, стоя спиной к ней, сказал:

«Ксения, если когда-нибудь я буду нужен тебе для жизни... ну, может так случится, что тебе трудно будет одной, то ты только скажи, позови».

Ксения обомлела. Вздрогнула с головы до ног. Тупо глядела на коренастую спину. Потом кровь хлынула ей в лицо:

«Ты что же, Андрей, хочешь подобрать обломки крушения?» — часто задышала, борясь со слезами и внутренне сжимаясь в комок. О том, что и он — «тоже обломок крушения» и уже давно, не подумала.

«Что ты, Ксения! Было бы величайшим незаслуженным счастьем для меня заботиться о тебе до конца моих дней».

Ксения сразу вся как-то обмякла. Чем она заслужила такое? Вскочила, забежала с другой стороны рояля, схватилась руками за крышку, взглянула ему в лицо:

«Это безумие, Андрей!»

«Нет. Это не безумие. Ты так похожа на... Софу».

«Но ведь я...»

«Я знаю. Ты не любишь меня. Но я и не прошу. Только если я буду действительно нужен, если я смогу помочь тебе жить, только тогда. Для меня же это будет счастьем. Это все». И вышел. Потом заглянул в дверь опять:

«Приезжай на тягу, постоим. Уже тянут».

15

Все всколыхнулось в Ксении, все металось вразброд — мысли и чувства скакали друг через друга. Она не успевала додумать, дочувствовать одно, как сейчас же наваливалось другое. Линии каких-то противоречивых чувств скрещивались, сталкивались, воюя за свое первенство. Ходила по комнате, плохо соображая. Все путалось, все мешалось в ней. Весь поток ее чувств, весь ритм ее дней, устремленных без остатка, без размышлений в одну точку — в помощь Маше и мальчику для «него», как кусочкам «него» вдруг нарушился. Какая-то другая сила пересекла его. Все вздыбилось и дрожало в ней. Ведь это измена, измена ему, это — предательство, подло даже думать о таком. И вдруг та же Ксения начинала думать совсем другое. Волею судеб она связана с Машей, когда та — в такой беде. Но теперь она не имеет (да и имела ли когда-нибудь?), не имеет теперь никакого права на него. И он, конечно, после всего станет другим. А Андрей? Невероятно! Вспомнился «спаситель» дяди Миши. Улыбнулась. И стало

очень грустно. Расплакалась. После этого, уже в постели стало легче и мысли немного прояснились. Они уже не ощущались предательством. Хотя все это и ничего ровно не значило пока, но в словах Андрея таилось какое-то важное зерно, из которого что-то может развиваться в дальнейшем. Додумывать не хотелось. Важно, что вот оказывается и «такая», т.е. опустошенная, как оболочка чего-то выжитого, она кому-то нужна, как «счастье». Странно. А вот все же... Она знала, что сказанное Андреем — полная чистейшая правда и то бережное и мягкое, что сквозило в нем по отношению к ней всегда очевидно имело какие-то глубокие корни. Но раньше она просто никогда не останавливала на этом свою мысль.

Все случившееся повернулось вдруг какой-то иной стороной. Ведь надо же понимать, наконец, что Игорек «их» сын, а не «наш», как ей уже казалось все последнее время. Конечно она обязана помогать Маше, как и раньше (да и не могла бы не помогать, вон Андрей, совсем чужой ей, а какое благородство! А если подумать...). Но слова Андрея указали ей, что есть и еще какая-то жизнь, кроме Маши, мальчика и ее бурного безумного чувства к Льву.

На утро, после беспокойного отрывочного сна (она несколько раз вскакивала среди ночи, словно обжегшись о какую-то острую болезненную мысль), на утро она ощутила, что некое новое понимание вещей, постепенно уясняясь, входит в нее.

Стало ясно, что всё «то» — рухнуло без возврата. Это «без возврата», раздирающее что-то очень тонкое и драгоценное, надо было не только понять, но и принять. И это было очень трудно. Но: вернись он — она «там» не будет нужна. Особенно теперь, узнав и любя Машу, она и сама никогда не смогла бы. Свой долг отдаст Маше теперь, когда ей так трудно. И это все.

Проглотив чашку пустого чая, с пустой головой, Ксения раньше обычного вышла на службу. Медленно брела по знакомому с извивом переулку. День был очень теплый, сильно таяло. В их переулке, где не было ни особого движения, ни

особой расчистки, неубранный снег раскрошился на мостовой, побурел и набух сыростью. Воробьи азартно чирикали в берегах дома напротив. Было остро-сыро, воздух пах водой, но солнце, выскакивая из-за рваных облаков, уже нежно пригревало. Около с детства знакомой зеленой церкви с чудным названием «Знаменья на бережках», стоящей косо у заворота переулка, солнце ухитрилось вплюхнуться в большую разъезженную лужу и, сверкая в ней ослепительно-белыми осколками, плясало у Ксении в глазах. Она взглянула на знакомые коренастые купола с блестевшими над ними, почему-то неубранными крестами, вспомнила Машу и перекрестилась. Может Господь и ей поможет разобраться во всей путанице ее ощущений? Давно утраченное ощущение тихого тепла внутри порадовало ее.

Пахнет весной. Все меняется. Жизнь станет совсем другая теперь. Грустная, строгая и другая. Но, может быть, эта жизнь не «разбита» и не «кончена», как она решила еще совсем недавно, не догадываясь, что все, что происходило после его ареста составляет существенный кусок жизни в целом. Того, что было, думала она грустно дальше, не вернуть и оно никогда не сможет повториться. Это было единственное по силе и яркости, это было что-то невероятное и прекрасное.

Наталия Ильинская, Апрель, 1970.

ВОЛЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Намела пурга, залегли снега —
Селекстанция — что кус пирога:
Пухлый ком на крыше, на ставнях лед.
Чуть видна, к колодцу стежка ведет.

Что ни шаг — сугроб, что ни пядь — ухаб,
У колодца днем — следы волчьих лап,
Леденеет в сенцах дежа — бадья.
У меня жена, у тебя семья.

А в конторе — в слезах смоляных стена,
И буржуйка хворостом калена.
Мрачнокрасным гудом гудит труба.
У тебя судьба, у меня судьба.

Кучки пепла вряд на столе лежат.
Эх, сегодня в ночь добивать доклад!
У меня жена, у тебя семья.
Льдинками талыми звенит бадья.

Районной газетой покрыли край стола,
Ты, как хозяйюшка, на стол собрала.
Ах тюлька, позидло, брусничный чай...
Брусничный чай, из беды выручай.

Волчья горячая гудит беда,
Гудят от метелицы в небе провода...
Красный полыхающий печуркин кут.
Красный полыхающий в глазах лоскут.

Не глядевши знаю: ты за спиной.
И не слушав знаю: ты спишь за стеной.
Волчье солнышко мое, треугольный рот.
Кожухом закутаю, — мороз не возьмет.

По стежке от колодца ведро притащу.
Милая — не бойся — не расплещу.
Нет, не оступись, брат, не переступи.
Спи, зеленая моя, молодая, спи.

Утром — трехтонка, и конец снегам.
Так тебя нетронутую — так и сдам.
Разве ты солжешь? Разве я солгу?
Так и будь в святом, в зачатом кругу.

Ходики ходят, толкают темноту.
Счастье мое волчье, сушь во рту.
Красный мерцающий тянувший магнит.
Льдинками ломкими заря звенит.



Открывает уста моя страна —
Пересохлые, занемевшие,
Половину века не смевшие
Словом сбросить заклятье сна.

После полувека паралича,
Шагов немых в тупик, в темноту —
С резиновой грушей — кляпом во рту —
Под смрадное дуло палача —

Открывает туго, с трудом уста,
Открывает уста страна моя.
Подрастает поросль упрямая.
Подалась гробовая плита.

Ольга Анстей

О ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Размышляя об искусстве — литературном, как и всяком другом, — мы думаем почти всегда о произведениях искусства: стихотворениях, романах, симфониях, статуях, картинах. А поскольку Эстетика все усерднее нас учит отождествлять художественное творчество с производством изделий подлежащих эстетической оценке, она нас тем самым убеждает, что думать так мы не только можем, но и должны. Лишь по мере того, как мы из под ее опеки ускользаем и начинаем рассматривать каждое искусство, как особый язык, данный человеку в дополнение к его обычному языку, открывается нам, во всем ее значении та простая очевидность, что любое искусство существует независимо от своих произведений, и что, напротив, произведения эти зависят от его существования. Пение предшествует песне, ритмичность и напевность речи, тому что будет зваться поэмой или стихотворением. Скульптура, живопись, архитектура предполагают замысел целого, но не столько со стороны искусства, сколько со стороны заказа, проистекающего из культовых или из бытовых потребностей; искусство же проявляется и тут не в одном только этом замысле и соответственном ему результате, но и во всех мероприятиях зодчего, во всей работе кисти или резца, в *процессе деланья*, а не только в самом изделии.

Историки искусства много рассуждали за последние годы о незавершенном и фрагментарном, об изваяниях, например, лишь частично избегнувших разрушения или брошенных мастером на полпути, и все же поражающих нас своим художественным совершенством. Откуда же оно — так ставился вопрос — раз тут не может быть и речи о гармоническом единстве целого; и на вопрос этот давались разнообразные, весьма замысловатые ответы; тогда как, пойми вопрошатели, что искусства есть язык, они такого вопроса вовсе бы себе не задавали. Конечно бельведерский торс хорош, без рук, без

ног, без головы; и даже если сохранилась бы лишь часть его спины, мы и по ней могли бы судить о мастерстве его мастера, то-есть о качестве его скульптурного языка. Точно также как мы в состоянии судить о качествах пушкинского слога и даже, хоть и в гораздо меньшей мере, пушкинского вымысла не только по тем двум отрывкам, что начинаются словами: «Гости съезжались на дачу...» и «Цесарь путешествовал...», но даже и по первым десяти строчкам каждого из этих отрывков.

Важно при этом осознать, что в художественном своем качестве ощутимы не одни лишь крупные членения, сравнительно целостные части целого, но и вся языковая ткань, из которой произведения искусства состоят. Мы в праве называть эту ткань языковой, потому что она нечто высказывает, пусть и не словами, нечто изображает и выражает, нечто передает, что не совпадает с ней самой. Эта смысловая ее сторона неразрывна с той, внешней, которая обращена к нашему слуху или зрению; неразрывна потому что ею-то именно нам и передана. Мысленно, однако, мы эту чувственно воспринимаемую сторону ткани можем от смысла отделить и в результате такого искусственного мысленного отделения описать ее качества, — смысловые, как и внесмысловые. Не слишком малого размера обломок статуи уже нам их и являет, даже не образуя цельной части тела, руки, например, или кисти ее. Эксперт по части картин, желая отличить копию от оригинала поворачивает пейзаж небом вниз, землю вверх, дабы его предметности, да и композиции его не замечать (они ведь и в копии те же, что в оригинале), внимание сосредоточить на одной «фактуре», на ткани живописной речи, безотносительно к высказанному ею, потому что ткань эта в копии будет не столь жива, не столь свежо и бодро соткана, как ткань оригинала. В архитектуре ткань труднее определить, но и тут она не в образующих законченные единства элементах постройки, вроде портала или колонны, а в том «почерке» архитектора которым обусловлен их выбор вместе со всею игрой пропорций, масс, пустот, — другой игрой у Бернини, чем у его соперника Борромини — и вполне улавливаемое глазом даже и в остатках на три четверти разрушенного здания. Великие исторические стили, охватывающие все три только что названные искусства и все прикладные искусства вместе с ними, столь же резко отличаются один от другого общим характером

ткани своих творений, как и теми принципами, что лежат в основе этих творений — зданий, картин и т.д. — рассматриваемых как отдельные замкнутые в себе целые.

Целые эти у нас перед глазами; это нам даже и мешает о их ткани помышлять. Но ведь в словесных искусствах, как и в музыке, дело обстоит совсем иначе. Тут развертывание ткани предшествует восприятию целого, так что подчеркивать ее значение — скажут мне, пожалуй, — это ломиться в открытую дверь. Недаром в теории музыки излагают сперва гармонию, контрапункт, а потом уже способы построения музыкальных композиций. Недаром и книги по теории литературы начинаются со стилистики, а их отделы, посвященные стихосложению лишь после метрики переходят к обзору строфических форм. Чем же занимается стилистика, как не тканью языка, а литературная, в отличие от общей лингвистической, чем же как не языковой тканью литературных текстов. Все это верно и даже уместно будет в связи с этим упомянуть, что слово «текст» по-латыни именно ткань и значило. Но все же и тут параллель с другими искусствами, вводимая понятием «ткань», создает ясный исходный пункт для различения словесной ткани от ткани вымысла, а внутри самой словесной ткани для ее анализа, для анализа связи, например, между ее звуковой стороной и смысловой. Именно потому, что в языке, пусть и вовсе чуждом искусству, ткань развертывающейся речи всегда налицо, тут-то всего и интересней отличить поэтическую речь — *по самой ее ткани* — от всякой другой; причем поэтической будем называть не одну лишь стихотворную, но и всякую речь, относимую нами к искусству, характеризующую произведения словесного искусства. Обрывки или элементы такой речи постоянно встречаются и в ежедневном нашем обиходе; это дела не меняет; это лишь препятствует отсечению искусства от жизни, заточению его в какую-то особую кунсткамеру.



Совершенно неправильно было бы различать поэтическую и непоэтическую речь по тому признаку, что к одной предъявляют эстетические требования, а к другой эстетических требований не предъявляют. К разговорному языку, к письмен-

ному языку, к тому литературному языку, на котором пишутся произведения не причисляемые нами к литературным — как и к самим такого рода произведениям, — во все времена предъявлялись и предъявляются эстетические требования, хоть и не очень сложные, но зато гораздо более категорические, чем те, что когда-либо предъявлялись к произведениям словесного искусства. И отнюдь не надо думать, что требования эти предъявляют к одной лишь смысловой стороне устного этого или письменного языка, напротив: их предъявляют как раз к его звуковой (и артикуляционной) стороне; это прежде всего требование благозвучия. Понимается оно каждым языком по-своему, но ищется всеми, хотя, быть может (трудно об этом судить), с неодинаковым усердием, и порой старания эти приводят к успехам, признаваемым даже и чужеземцами.

Основатель позитивизма, Огюст Конт, выразил надежду, что в будущем государстве, объединяющем все человечество будет разрешено писать стихи исключительно по-итальянски, как на единственном истинно-благозвучном из всех существующих языков. Сам философ на собственном языке писал, по признанию его соотечественников, из рук вон плохо, и осведомленность его по части других языков была более, чем скромная; однако забота итальянцев о благозвучии их речи сомнению не подлежит. Все слова языка этого кончаются гласными, которые элидируются, если с гласной начинается следующее слово, а скопление согласных подвергается более строгому, чем во многих других, даже и романских языках контролю; такие, как в наших словах, «острый» или «пестрый» допускаются, но не такие, как в слове «встреча»; и греческий «электрон», как и все производные от него, теряет свое «к», вовсе не коробящее французского, например, уха. Но у всякого языка есть *своя* эстетика, в разной степени осознаваемая людьми, говорящими на этом языке.

Не только звука она касается, но и взаимоотношения звука со смыслом, как показывают различные предложения и поговорки, а также общей организации речи, самой элементарной — до смысла и даже до звука — организации ее. Характернейшая тут черта — устранение слишком частых повторений того же слова. Для этого ведь и местоимения существуют! Но в письменной речи не хватает порой и их, — особенно для имен собственных; чтобы не твердить «Рублев»,

пишут «художник», «иконописец», «мастер», «инок Андрей», «автор Троицы», чего, однако, литератор, немножко искушенный, более одного-двух раз тоже делать не станет, так как и в этом сквозит некоторая языковая беспомощность и, как в простых повторениях, безжизненность. Такого рода требования, обращенные к языку, это, в сущности, требования живой речи, а не мертвой; но могут они быть названы, как и чисто звуковые, «эстетическими», потому что относятся не к тому, что сказано, а к тому, как оно сказано; оценивается тут не то, что ты сказал, а то, как ты говоришь. Оценка эта не отсутствует никогда, но мерила ее меняются, требования повышаются при переходе от «ширпотреба», устного или письменного, к литературному языку, точно также устному или письменному. Но никак не следует думать, что таким постепенным повышением достигается наконец и поэтическая речь, будь-то в стихах или прозе. Она не «лучше» другой, она — другая. Она не что угодно высказывает, и особенность ее в этом «что», от которого зависит и ее «как». Эстетика, делая ее своим предметом, может, конечно, и даже существом своим вынуждена, это «как» от высказываемого, от выраженного отделять и оценивать отдельно. В лучшем случае «выразительность» она может оценить — свойство, ощущаемое до понимания того, что выражено — тогда как сущность поэзии и поэтической речи — в особой связи между выражаемым и выраженным, между смыслом и тем, в чем она являет нам этот смысл. Но раньше, чем перейти к анализу этого в поэтическом слове, в словах, образующих поэтическую речь, нужно рассеять одно вполне естественное сомнение.

«Поэтическое» и «поэтичное» — две вещи разные. Поэтично не то, что относится к поэзии, а то, что о ней напоминает. Толстой писал очень метко: «Поэтично — значит заимствовано». Сказать о произведении, «что оно хорошо, потому что поэтично, то-есть похоже на произведение искусства, все равно, что сказать про монету, что она хорошая, потому что похожа на настоящую». Тут верно то, что у нас есть готовые представления о том, что такое поэзия или какого рода темы и формы причисляются к поэзии, и верно, что соответствие этим представлениям еще не обеспечивает подлинности новых поэтических произведений. Но подлинности не обеспечит и никакое отступление от этих представлений, а с

другой стороны ведь и настоящая монета тоже «похожа на настоящую». Теория поэзии, это нумизматика, основанная на учете как несходства, так все-таки и сходства всех монет, всех поэтических (а не поэтичных) произведений между собой. Сходны же они, при всем несхождении, не только, и даже не столько своей композицией, общей своей конструкцией, сколько своей тканью — тканью их языка, живой клетчаткой его, и каждой клеткой этой клетчатки.



Поэтическая речь отличается от всякой другой тем, что высказанное ею не может быть высказано никакими другими словами и сочетаниями слов, кроме тех самых, какими оно было высказано. Пересказ, перевод, меняя звук, уже (не говоря обо всем другом) меняет и смысл. Не только к звуку, но и к смыслу оригинала, возможны поэтому только приближения.

Непереводима именно речь, словесная ткань, сплошь и рядом и отдельные слова, взятые не в предметном их значении, а в их более общем, предшествующем значению смысле. Построение целого вполне переводимо, точнее говоря переносимо из одного языка в другой, — перевода оно совсем ведь и не требует; передача его затрудняется (как мы сейчас увидим) лишь в тех случаях, когда целое это — очень малых размеров — зависит полностью от свойства образующих его немногих речевых единиц. Сонет останется сонетом, октава октавой; но уже метр скалькировать возможно лишь при сходном стихосложении, что отнюдь еще не предрешает ритма, а стиховые единицы в своем построении зависят от речевой ткани, которую как раз и нельзя перенести из одного языка в другой. Нельзя и вообще, не только в *искусстве* слова: языки не накладываются друг на друга, как геометрические фигуры; конгруэнтность тут исключение, а не правило.

Трудности перевода существуют и вне всякого искусства, но они преодолимы, поскольку точного воспроизведения речевой ткани вовсе и не требуется. Незачем ее в точности воспроизводить и там, где сказанное от нее отделимо, как — даже и не покидая литературного искусства — во всем том, что относится к искусству вымысла. Романы, драмы и рассказы тоже почти всегда теряют в переводе, потому что и их речевая

ткань не вполне, а то и совсем не безразлична; но они не теряют главного, потому что их речевая ткань существует в первую очередь не ради неотделимого от слов смысла, а ради предметного значения этих слов, без которого тут обойтись невозможно и которое воспринимается сквозь их смысл, находясь как бы по ту сторону его. Устранить значение это или затушевать его было бы тут равносильно устранению действия, обстановки этого действия и действующих лиц, то-есть всего того, без чего невозможен вымысел. Другое дело — искусство слова, где вымысла нет или почти нет: тут замена речевой ткани равносильна замене вымысла другим вымыслом.

Замена ткани чувствуется всегда, но там, где нам важно отделимое от нее, больше, чем она, мы с этой заменой, даже и жалея о ней, миримся. Отделимость, заменимость — это, разумеется, нечто колеблющееся, относительное. Латинскому изречению, ставшему поговоркой, *festina lente*, «медленно поспешай», соответствует русская пословица «тише едешь, дальше будешь» и еще ближе — немецкая *eile mit Weile*. К русскому ближе по духу итальянская *chi va piano, va sano*, дополняемая другой: *chi va sano, va lontano*. Всё это — крохотные произведения словесного искусства, высказывающие ту же самую, весьма простую и пресную мысль, но манерой высказыванья прибавляющие к ней, каждый раз по-иному, крупичу соли. Переводчик текста, где одна из них приводится, готовой крупиче будет рад; не беда, скажет, что соль не та же самая (предельная краткость и подчеркнутое противоречие в латинской версии — полный параллелизм двух пар хореических слов в русской, рифмы в итальянской и немецкой). И переводчик будет прав: мысль та же, а крупичи соли равноценны, хоть и неодинаковы.

Есть, однако, изречения и поговорки другого рода, где игру мысли от игры слов едва ли возможно отделить, вроде афоризма придуманного полвека назад несправедливо забытым Григорием Ландау: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Тут все дело в интонации, придающей этим словам и мысли, ими выраженной, особую интимность, русскость. Есть сходное у Дидро: «Не объясняйте, если хотите, чтобы вас поняли»; но вот я это и перевел; нет нужды приводить французский текст; а грустного немножко спора между «надо» и «не надо» я ни на каком языке не передам. “If you have to

explain, do not explain". Почему бы это? Нет! Душа улетела, и совет получился нелепый, неизвестно на чем основанный.

Иные афоризмы столь же непереводаемы, как стихи, потому что они в той же мере проникнуты звуко смыслом. Такова фраза Паскаля насчет «мыслящего тростника», о которой я говорил в сотом номере этого журнала. Она — не физика, а лирика, и потому непереводаема, как стихи. Но переводят же стихи! Тем лучше переводят, чем их непереводаемость яснее сознают; но устранить ее все-таки нельзя. Чтобы убедиться в этом, достаточно двух строчек из Бодлера, первых двух строчек знаменитого стихотворения *Chant d'automne*, «Осенняя песнь», много раз переводившегося на различные языки, порою вовсе неплохо, даже прекрасно, и, тем не менее... Об этом «тем не менее» — два слова.

К хорошим переводам принадлежат и те два русских, В. Левика и особенно М. Донского, что напечатаны в превосходной книге Е. Г. Эткинда «Поэзия и перевод», вышедшей восемь лет назад в издательстве «Советский писатель». Эткинд оба перевода (вполне резонно) хвалит, хоть и приходит к выводу, что у переводчиков получились два «совершенно разные стихотворения» (Левик называет его песня, Донской — песнь); но будучи энтузиастом стихотворного перевода (чего я отнюдь в упрек ему не ставлю), совершенно не сходными с Бодлером их не называет и не указывает на то, чего им, сравнительно с Бодлером, по-просту недостает (или чего русскому языку недостает: например, различия между *chant* и *chanson*).

У Бодлера первые две строчки таковы: "*Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres; / Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!*" В прозаическом переводе Эткинда: «Скоро мы погрузимся в холодный сумрак; прощай яркий свет нашего слишком короткого лета». «Наших слишком коротких лет» по-русски сказать нельзя, так что этот, отнюдь не случайный оттенок смысла по-русски, непередаваем. Точно также, вместо «погрузимся», нельзя было бы сказать «нырнем»; однако у Бодлера сказано именно так, и буквальное значение соответственного французского слова сквозь метафорическое продолжает чувствоваться. Но всего досадней «яркий свет» вместо "*vive clarté*": оба слова не те, но «живая ясность» было бы не лучше (хотя бы уже потому, что *vive* не то же самое, что *vivante*). "*Adieu, vive clarté,*" это, однако, не только смысл,

но и звукоблеск. Как его передать? Мы его не найдем ни в том, ни в другом стихотворном переводе. Левик пишет: «Прощайте, дни тепла, померкшие в тумане. / Сырой, холодный мрак вступил в свои права». «Вступил в свои права» — отвратительное газетное клише; «Прощайте дни тепла» — сносно, к Бодлеру, однако, никакого отношения не имеет. У Донского первые два стиха звучат очень недурно: «Мы погружаемся во мрак, в оцепененье... / О лето жаркое, недолг праздник твой». Но где ж все-таки пронзительное это, звуком пронзающее: “*Adieu, vive clarté*”? Его и Стефан Георге не мог передать: “*Bald wird man uns ins kalte Dunkel floessen; / Fort! schoener Sommer, der so kurz nur waehrt!*” Первый стих получился замечательный, не хуже, а может быть и лучше, чем у Бодлера (но совсем иначе, со звучаниями уныло-жуткими, а не торжественно-мрачными — *plongerons, froids, ténèbres*), но во второй нет ничего, что нам “*Adieu, vive clarté*” хоть бы отчасти могло заменить.

Донской перевел это стихотворение почти так же хорошо, как Георге, если не считать одной ошибки (допущенной также и Левиком и Эткингом), да еще того, что Георге был большого масштаба поэт, и что переводившиеся им стихи всегда становились, как и в этом случае стали, *его* стихами. Ошибка заключается в том, что примененное Бодлером в третьей строфе слово *échafaud*, значит тут не эшафот, а деревянное сооружение, на которое ставят гроб при отпевании (о гробе ведь и говорится в следующей строфе). Георге так это слово и перевел — немецким словом *Grabgerüst*; русские переводчики обмануты были франко-русским «эшафотом», заслонившим от них странность предположения, что осенняя грусть навела Бодлера на мысль не просто о гробе, ожидающем всех нас, но почему-то о гильотине, его, во всяком случае, не ожидавшей. Донскому недоразумение это подсказало еще и слово «свирепость», отсутствующее в подлиннике. Однако дело не в этом. Хвалю Донского, хвалю других нынешних переводчиков (в первую очередь покойных Лозинского и Маршака), хвалю Эткинда, отлично разбирающегося в их грехах и заслугах, но все же о главном не забываю и их прошу не забывать: главное — без чего нет поэзии — это, что она от своей словесной плоти не может быть полностью отделена.



Не может быть отделена от словесной плоти своего смысла. То-есть самый этот смысл от его плоти полностью отделить нельзя. Но поэзия, она ведь все-таки в нем? Или вы скажете в словах? Но вы не скажете: в обесмысленных словах. Говорить о поэтической речи разве не значит предполагать, что речь эта не пуста, что ее словами бывает что-то сказано? Глагол «говорить» не требует прямого дополнения, глагол «сказать» требует его. А как же поэт? Или он, по французскому выраженью, «говорит, чтобы ничего не сказать?» Не могу не думать, что в его речах, что речью всякого искусства каждый раз бывает высказано что-то не просто слышимое воспринимаемое, но и понимаемое нами. Именно: понимаемое, хоть и пересказать того, что мы поняли, дать о нем скольконибудь точного отчета мы не можем.

В этом главная трудность разговоров об искусстве и главный камень преткновенья для его теории. Все занимавшиеся ею разделяются, грубо говоря, на два лагеря. Одни не отличают понимания от возможности пересказа, другие видя невозможность пересказа, отрицают и понимание, — смысловое, по крайней мере, то, о котором идет речь когда говорится о словах и языке. Признают они только другое, которое можно назвать функциональным или структурным, понимание взаимоотношений между целым и его частями и взаимодействия частей между собой. Им кажется очевидным, что в музыке, например, или в архитектуре, только это понимание и мыслимо, а в искусствах изобразительных и словесных, где наличия смыслового понимания невозможно отрицать, они его считают несущественным, относящимся не к искусству, а лишь к материалу, которым пользуется искусство. Не могу с этим согласиться. Думаю, что во всех искусствах структурное понимание лишь путь, хоть и необходимый путь, к пониманию смысловому.

Поясню различие этих пониманий примером. Те, кому случалось читать книги на иностранном языке, при всего лишь поверхностном знакомстве с этим языком, вспоминают, что они, порой, догадывались о смысле некоторых фраз, вовсе не разобравшись в их грамматической конструкции. Что ж, раз правильно догадались, Бог с ней с конструкцией? Да, но

только, если в книге не было искусства; если же было, вы прошли мимо него, и смысл фразы, открывшийся вам, был не тот или не весь тот смысл, который в нее вложил причастный к словесному искусству автор. Тот смысл открывается лишь сквозь понимание структуры. Думаю, что так обстоит дело и с пониманием музыки, архитектуры, всякого вообще искусства. Но пока что мы находимся в области двух искусств, пользующихся словами, хоть и не одинаково тесно с ними связанных. Слова, как правило, смысла не лишены. Здесь нас скорее подстерегает опасность смешать пересказываемый смысл со смыслом, не поддающимся и не подлежащим пересказу.

По-русски, как и на других мне известных языках, говорят о «смысле» слова или предложения (логически это уже две совершенно разные вещи), но не о «смысле» более длинных отрезков речи — абзаца, главы, всей книги; тут слово «смысл» заменяется словом «содержание». Значение обоих этих слов весьма шатко, но в данной связи нас интересует та *одинаковая* их двусмысленность, которая их роднит между собой. И «смысл» и «содержание» могут относиться к фактам и вещам, находящимся вне языка, вне осмысленной речи; и смысл и содержание могут относиться также к чему-то, всего лишь мыслимому в словах.

Для искусства слова — но отнюдь не для искусства мысли — существенно лишь второе значение этих двух слов. Если меня спросят, в чем содержание «Брожу ли я вдоль улиц шумных», я буду озадачен. Начну вспоминать: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ли в многолюдный храм, / Сижу ль меж юношей безумных — / Я предаюсь своим мечтам...» и захочется мне прочесть все стихотворение до конца. Вот вам и содержание! Разве в том оно состоит, что поэт идет по улице, входит в церковь, сидит где-то среди молодых людей, которых называет почему-то безумными, мечтает, говорит о прошедших годах? Такой пересказ, вопреки тому, что думали былых времен простодушные наставники наши, не определяет содержания этих стихов, а его разрушает. Не то, чтобы не было этого содержания, но рассказать его нельзя, и уж никак оно из конкретных улиц, церквей и безумных юношей не состоит. Да и смысл отдельных слов тот, да не тот, какой мы им обычно придаем. Бывают улицы и шумные, можно

и бродить по ним; бывает и много народа в церквах; но ведь здесь в этот общий, но не становящийся бесцветным понятием смысл каждого слова, никогда не имеющего в виду ни такую-то улицу, ни то, чем «улица» отличается от дороги или переуллка, ни этот храм, ни «храм» вообще, включен еще и звук этого слова, да в связи с ним еще и звук соседних слов, так что нельзя уже полностью отделить «брожу» от «улиц», от «шумных», от «вхожу», от «многолюдных», от «сизжу», от «юношей», от «безумных», от «предаюсь»... Боже мой! На все четыре строчки расползлась и в начало следующего четверостишия — «Я говорю...» — перекинулась звуко-смысловая эта связь, это элегическое или, скажем, унылое, но певучее это «у», столь же важное для смысла каждого из этих слов и для содержания всего стихотворения, как сами эти слова, и во много раз важней — не чем их смыслы, но чем их значения, если значением называть их именно знаковую, значковую даже, отнесенность к предметам внешнего мира, которых мы по-прежнему (т.е. как и в смыслах) не видим, не осязаем, но мыслим осязаемыми, видимыми, прикрепленными к месту и времени — как в искусстве вымысла, не слова.

Если меня спросят, в чем содержание «Пиковой дамы», я буду в меньшем замешательстве и не испытаю потребности так-таки вопрошателю всю повесть от начала до конца и прочесть. Перескажу, так и быть, и если ничего не скажу, ничего существенного не забуду, это будет сильно потускневшая, обескровленная, но все-таки «Пиковая дама». Одна беда: это не будет содержанием ее в том же смысле слова, в каком мы могли говорить о содержании лирического стихотворения. Того содержания она тоже не лишена, но и тут, при всем различии высказывающих то содержание средств, оно пересказа не допустит. Это я повесть пересказал, а не его. Пушкин его своею повестью высказал. Помимо нее, без нее, это содержание остается несказанным. Один из худших грехов теории литературы в том, что она так часто забывает основную эту истину: лишь несказанное может быть содержанием литературного, как и всякого другого художественного произведения. Вымысел — не содержание, а то, чем выражено или высказано содержание. Оно высказано здесь не непосредственно словами, сочетаниями слов, звуками слов, как в лирических стихах или как вообще в словесном искусстве, либо вовсе

обходящемся без вымысла, либо минимально пользующемся им, а при посредстве того, что нам рисуют, изображают, описывают, наглядным делают слова, которые именно поэтому в искусстве вымысла, в романе, драме, рассказе не могут быть лишены предметного своего значения; не могут не говорить о вещественных, реальных или, лучше сказать, полагаемых реальными (иначе — вымысел не отличался бы от протокола) — шумах, улицах, храмах, юношах, мечтах.



«Во всякой речи слова и смысл, как тело и душа. Смысл есть жизнь и душа языка, без коего все слова мертвы». Сказано это о языке и речи вообще, о любых словах, но прежде всего думал все-таки Бен Джонсон о языке поэта: среди литературных его рассуждений (*Discoveries*) встречается изречение это, а не в составленной им краткой английской грамматике. Да и слишком сильна окажется первая его часть в применении к обычному языку. Если я, зайдя в табачную лавку, скажу: «Дайте мне коробку спичек», мудрец, подслушавший меня, не подумает о теле и душе. Слишком уж заменимо «тело» этих слов всевозможными другими «телами»; слишком «душу» их легко свести к монете, брошенной на прилавок, и потянувшейся за спичками руке. Но дело тут даже и не в ничтожестве мысли, и не в простоте ситуации, позволяющей обойтись без слов. Если я скажу: «От судьбы не уйдешь», то «душа» в этом, если это не пустое повторение миллион раз сказанного, может-быть и найдется; но душой она будет тогда моей, а не самих этих слов, вместо плоти, облеченных всего лишь во взятую на прокат одежонку, вполне заменимую другой, в любом языковом обиходе, которому не чуждо понятие судьбы.

Другое дело, последняя строчка пушкинских «Цыган» — «И от судеб защиты нет». Значит она, при уравнивании с «презренной прозой», совершенно то же самое; но она не проза, а стих; и даже откинув предательское «и», мы ее прозою считать будем не в праве. Многие, правда, в прозу его обращают, даже не уничтожив ямба (от ритма отделаться бывает не легко): повторяют для оказательства собственного фатализма или, что еще куда нелепей, приписывая фатализм Пушкину. Но стих этот — тело, а потому есть у него и душа; не

пушкинская, а своя; хоть, конечно, и вдунутая в эти слова Пушкиным.

Скажу (пояснения упреждая): значение их иллюзорно; по настоящему у них есть только смысл, а значения нет. Смысл этот не вполне самостоятелен; он связан с тем несказанным, во всяком случае не полностью сказуемым, что тем не менее *сказано* всею поэмой, но пересказано быть не может; однако, и независимо от этого, душа этой одной строчки так неразрывно связана со звучащим ее телом (Klangkörper), что несоизмеримой строчка эта становится с прозаическим — хоть быть может и патетическим — возгласом «от судьбы не уйдешь!» Попробуйте всего лишь прочесть «судьбы» вместо «судеб», и смысл всей строчки будет разрушен; смысл, а не только звук, хотя разрушен будет смысл именно вследствие перемены звука. Такого рода смыслы я называю звуко смыслами, и звуко смысл этого стиха в первую очередь зависит от созвучия гласной *е* в слове «судеб» с такой же гласной в последнем слове стиха и всей поэмы. Применение множественного числа слегка архаически и потому торжественней звучащего (гораздо более редкого, чем единственное, у Пушкина в этом слове) тоже играет роль, но меньшую, чем тот звук, который традиционным этим поэтизмом Пушкину был подарен (так что заранее поэтичное, вопреки Толстому, — или, верней, в ограничение его правильной все же мысли — вовсе не всегда враждебно подлинной поэзии). Звук же этот тем драгоценней был поэту, что за этим *е* следует глухая согласная (*б*, производимое как *п*); «судеб», благодаря этому, почти рифмует с «нет», и эта почти-рифма делит стих пополам: «И от судеб / защиты нет». Думаю, что и неударное *у* того же слова не остается бездейственным в стихе: выразительность этой гласной, в отличие от других русских гласных, не вовсе исчезает и в неударных слогах, а ведь на ее выразительности, как показал в свое время Вячеслав Иванов, построена и вся поэма. Незадолго до этого финала звучали рифмы «гулы» / «Мари-улы»; потом был стих «Живут мучительные сны», еще ближе: «В пустынях не спаслись от бед», потом: «И всюду», потом подготовленные «избранными шатрами» пророкотали, (как старо, но какой необходимой поэтизм!) «страсти роковые», и вот все тихо. На дудочке едва слышное *у*: «И от судеб». Перерыв стиха; конец: «защиты нет».

«И всюду страсти роковые / И от судеб защиты нет». Этими двумя стихами, их смыслом и звукосмыслом завершается — резюмируется — вся поэма: звукосмысловое содержание «Цыган». Сама по себе звукосмысловая насыщенность этих стихов не столь велика, как многих в «Медном всаднике» (вроде «Бросал в неведомые воды / Свой ветхий невод»); или в таких стихотворениях, как «Стамбул гяуры нынче славят» или, по другому и в таких, как «Для берегов отчизны дальной». Но по отношению к завершаемому ими целому она — двумя готовыми фразами выражаясь — точно также лучшего желать не оставляет, точно также необходима и достаточна. В звуко-смысле участвуют кроме звука и смысла отдельных слов (не следует, конечно, воображать, что их звук был бы действителен и помимо смысла) и кроме звукосмысловой их переклички с другими словами еще и вся ритмико-интонационная сторона речи, речевой ткани, состоящей из этих слов. Но как этим самым и сказано — состоящей не из них одних. Не только вместо «судеб» нельзя было бы сказать «судьбы», но и в предыдущей строке вместе «и всюду» плохо было бы сказать «повсюду», — не из-за перемены звука (в узком смысле слова), здесь быть может и мыслимой, а из-за перемены интонации, нужной для соответствия с последним стихом и предписанной, кроме того, предыдущими интонациями. Повторяется тут и не ради звука этой гласной, а как союз в его эмфатической, звукосмысловой функции: «Но счастья нет и между вами, / Природы бедные сыны!... / **И** под издранными шатрами / Живут мучительные сны / **И** наши сени кочевые / В пустынях не спаслись от бед, / **И** всюду страсти роковые / **И** от судеб защиты нет».

В любых стихах уже само наличие стихов меняет смысл по-новому произносимых слов и предложений, по меньшей мере прибавляет к нему нечто или убавляет его особым образом; если же изменения этого не происходит, если задуманы стихи (мнемонические или дидактические, например) так, чтобы его не было, то замысел этот либо не удастся и приводит, себе вопреки, к обрывкам поэтической речи, к забавным порой карикатурам на нее, либо, при полной удаче, к тому, что зовется рубленой прозой. Но когда проза не рублена и не аморфна, в ней точно так же наличествует звукосмысл, интонационный и ритмический, прежде всего (как в устной речи),

но гораздо чаще, чем обычно думают, и другой — тот, в котором традиционная терминология различает аллитерации и ассонансы.

Терминология эта вредна во всех тех случаях, когда аллитерации (и они одни) или ассонансы (и только ассонансы) не принадлежат к основам самого стихосложения, так как вводит раздельность в их свободную и совместную игру. Но еще вредней общие термины «евфония» и «оркестровка» (причем первый еще и украшается, неизвестно почему, э оборотным). Евфония, это благозвучие, ни больше и не меньше, — или, на практике, пожалуй и меньше: отсутствие сквернозвучия, избегаемого всяким, а не одним лишь поэтическим языком; тогда как в поэзии — стихотворной или довольствующейся прозой — звук организуется в соответствии со смыслом, что может вполне привести даже и к нарушениям нейтрального и невыразительного благозвучия. Что же до оркестровки, то композиторы, хотя бы и предвидя ее, обычно к ней приступают, когда «сочинение» их, по их собственному чувству, уже сочинено, тогда как поэты звуко смыслом мыслят; это ли, по-пушкински выражаясь, не «дьявольская разница»?

Нет, звуко смысл — нечто более основное, к сердцевине словесного искусства относящееся, чем в музыке оркестровка или в поэтической — как и всякой — речи благозвучие. Он не покрывает собой все отличия поэтического смысла слов или словосочетаний от их внепоэтического смысла, но центральная роль в переключении речи с обычных ее функций на эту изобразительно-выразительную играет именно он. Стихи предполагают его, в минимальной, по крайней мере, дозе, и влекут поэта вместе с тем к максимальному сгущению его. Но не обходится без него и проза, если изображается или выражается ею — не через вымысел, а напрямик, словами — нечто такое, чего любыми словами ни выразить, ни изобразить нельзя.



Слово *выражает* свой смысл и *обозначает* то, что оно в данном случае значит. Обозначает оно сквозь смысл, но совершенно так же как все те — условные, нейтральные, любые

по внешнему своему облику — знаки, чей смысл, как у терминов, совпадает со значением или (можно и так сказать) исчерпывается этой их обозначательной, знаковой функцией. Другое дело слова в отношении выражаемого ими смысла. Тут такого совпадения нет, и выражается тут нечто пребывающее, как и само слово в мысли и языке, в моей мысли, но и в нашей, общей; нечто внутреннее для нас всех (ни о чем внешнем нельзя и сказать, что оно выражено или что его выражают). Смысл пребывает во мне и в нас; в каждом из нас он просит не ярлыка, а плоти. Возникнув в мыслящем и говорящем сознании поэта, он требует выражения, а предметная его сторона требует изображения; не отдельного изображения, а включенного в выражение, не изображения значений, то-есть предметов (еще того менее понятий), а смысла включающего их в себя. К этому выражающему изображению смыслов поэтическая речь и стремится. Предметные значения ей не нужны (хоть они могут в ней порой встречаться); необходимы они лишь для вымысла, полагаемого за пределы мысли и языка. Поскольку поэзия не прибегает к вымыслу, ей нужен образ, но еще непосредственной, насущней ей нужен звуко-смысл.

В. Вейдле

ПАДЕНИЕ ВОД

Стукнул в печке молоток.
Рухнул об пол потолок.
Надо мной открылся ход
в бесконечный небосвод.
Погляди: небесных вод
льются реки в землю. Вот
я подумал: подожди,
это рухнули дожди.
Тухнет печка. Спят дрова.
Мокнут сосны и трава.
На траве стоит петух,
он глядит в небесных мух.
Мухи снов живые точки
лают песни на цветочке.

Муха: поглядите, мухи, в небо,
там сидит богиня Геба.
Поглядите, мухи, в море,
там уныние и горе
над водой колышат пар.
Гляньте, мухи, в самовар.

Мухи: в самовар глядим, подруги,
там пары встают упруги,
лезут в чайник. Он летит,
воду в чашке кипятит,
бьется в чашке кипятком.
Гряньте, мухи, эпилог!
Это крыши разлетелись,
открывая в небо ход.
Это звезды развертелись,
сокращая чисел год.

Это вод небесных реки
пали в землю из дыры.
Это звезд небесных греки
шлют на землю нам дары.
Это стукнул молоток.
Это рухнул потолок.
Это скрипнул табурет.
Это мухи лают бред.
Всё.

Даниил Хармс, 1930

Это стихотворение Даниила Хармса получено нами с оказией из Совсоюза. Даниил Хармс — псевдоним ленинградского поэта Александра Ивановича Ювачева (1905-1942). В 1940 г., он был арестован и вскоре погиб. Литературно Даниил Хармс принадлежал к поздним футуристам, т.н. — «абсурдистам». РЕД.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ

Для чего пишутся стихи?

В прошлом столетии, да еще и позднее, многие, по-своему неглупые люди недоумевали: к чему, зачем писать стихи? То же самое можно ведь сказать прозой, и сказать яснее, вразумительнее. Не пора ли оставить эти смешные, ребяческие выдумки, рифмы, размеры и все прочее? Об этом не раз, с уверенностью в своей правоте, несколько свысока и насмешливо, говорил мне, например, покойный Осоргин. В ответ я отмалчивался: «руки опускались». Но надо бы все-таки когда-нибудь ответить, тем более, что и вопрос, и ответ частично затрагивают теперешний разлад между русской и западной поэзией и касаются упреков, которые с западной стороны нам делаются.

Стихи пишутся для того, чтобы выразить, или хотя бы только отразить, нечто бродящее в сознании и не совсем укладывающееся в логически-ясные словесные формы. Выразить или отразить нечто не поддающееся пересказу. Нечто перерастающее слова. Стихи пишутся потому, что потребность выражения или отражения порой непреодолима. Стихи пишутся потому, что рассудок не всегда в силах найти слова, которых безотчетно ищет духовная сущность человека.

Да, совершенно верно: если то, что в стихотворении выражено, могло бы полностью, без ущерба, быть передано прозой, писать стихотворение не стоило. Смешная, устарелая выдумка, детская забава: совершенно верно. Подобных смешных выдумок, иногда подписанных громкими именами, бесчисленное количество, блестящих, эффектных, звонких, и все-таки никчемных. Их помещают в журналах, их декламируют на эстрадах, но все-таки писать их не стоило. Взрослым людям не пристало, как говорил Осоргин, заниматься пустяками.

Но ведь и поэт — не ребенок. Он знает, что от одного

человека к другому не всегда доходит то, что дойти должно бы. В иные минуты он чувствует бессилие языка. Он ищет слов и звуков настолько слаженных, что рассудок в какой-то доле теряет над ними контроль. На Западе, в особенности во Франции, с ее тяжелыми для поэзии картезианскими традициями, с ее точным, твердым, как латынь, но бедным в оттенках языком, это было понято раньше, чем где бы то ни было. (Кстати, чего-то довольно близкого, именно в связи с французской поэзией, касается Левин в единственном своем разговоре с Анной). Но мало по малу, от отказа к отказу, от уступки к уступке Запад, и Франция в особенности, дошли до крайнего решения: до разрыва логической связи слов, а заодно и до пренебрежения ко всем, будто бы чисто внешним отличиям стиха от прозы. Создан особый, будто бы именно поэтический речевой склад, у каждого автора, конечно, разный, но неизменно свободный от последовательности и благодаря безудержной, иногда безумной образности будто бы способный передать от сознания к сознанию то, что обычной речью было бы искажено. Что же, в иных, исключительных случаях передача может быть и осуществлена! Есть леденящее величие в поэзии Маллармэ. Но гораздо чаще нарочитая бессвязность превращается в набор слов, вызывающий скуку и недоумение. Тоже «руки опускаются»: начинаешь читать, заставляешь себя вчитаться, а в конце концов отбрасываешь книгу, в которой кроме вывернутой на изнанку, но по прежнему постылой риторики нет ничего.

Нас упрекают в отсталости, в нежелании или неспособности следовать новым, смелым, передовым западным литературным течениям. Дай нам Бог сил устоять перед соблазном! Рифма — не украшение, не игрушка, как и размер — не аркан, мешающий свободному дыханию, как и внутренняя перекличка звуков — не забава. Не забава и метрическая расстановка слов, с чувством особой тяжести в том из них, которое поставлено на нужном, незаменимом месте. Не забава и подчинение размеру со внутренними глухими подрывами его монотонности. Русский поэт давно знает, что «мысль изреченная есть ложь», пусть и не всякая мысль. Именно ради избавления от лжи он ищет помощи и как бы творческого сотрудничества в рифме, в повторяющемся напеве, в согласии или раздоре звуков. Мыслью, непосредственной, первичной смысловой внят-

ностью он не жертвует, ею не к чему и незачем жертвовать. Жертва — слабость, снисхождение к самому себе. Но, порой мучительно наталкиваясь в повседневной речи на какую-то стену, он чувствует, что уснащая ту же речь мнимыми «украшениями», он ее возвышает, обогащает, он что-то к ней добавляет.

«Выхожу один я на дорогу» вовсе не то же самое, что «На дорогу я выхожу один». «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была» вовсе не то же самое, что «Тогда я была, Онегин, моложе и, кажется, была лучше», хотя трудно было бы объяснить, в чем, собственно говоря, разница. Но только глухой этой разницы не уловит, только безнадежный тупица станет ее отрицать. Таинственное обогащение дословного смысла скрыто, и должно скрытым остаться. Тайне навязчивой, показной грош цена, как и грош цена назойливо-поэтическому набору метафор. Замечательно, кстати, что в русской поэзии, от Пушкина до Блока, всегда чувствовалось отталкивание от метафор, от образности. Замечательно, что в некоторых чудеснейших русских стихотворениях, — например, в «Я вас любил» Пушкина сначала как будто бледноватом, даже вялом, но с истинно чудесной интонацией заключительной строки, или в «Мой дар убог» Баратынского, — замечательно, что в них нет ни одной метафоры. Ни одной. Стилистически речь проста и бедна. Но как в самой простенькой цартовской мелодии, остается и что-то неуловимое.

Когда то в «Цехе» Гумилев, говоря о новаторстве, сравнил поэтов с коллекционерами марок.

— Настоящий коллекционер иногда годами ищет недостающую в его собрании марку, обменивает одну на другую ради пополнения такого-то отдела коллекции... Но может найтись и собиратель-шутник, который расположит в своем альбоме марки звездой, или одну наклеит прямо, а другую наискось, или умышленно смешает марки египетские с марками бразильскими. Именно таково в поэзии большинство приверженцев новизны во что бы то ни стало. Истинный коллекционер даже не усмехнется: Только пожмет плечами.

В дополнение.

Часто приходится слышать: нельзя через полтора столетия

после Пушкина писать так, будто мы еще его современники. Да, в самом деле нельзя. Надо искать обновления, мелочь за мелочью, черту за чертой, слово за словом. Но это не значит, что надо «бесстрашно ломать установленные каноны», как с подлинно-телячьим восторгом писал один московский критик о Маяковском, который кстати, вовсе не из-за этого своего «бесстрашия» был и остался большим поэтом. Если все позволено, то вскоре и все уничтожено.

Венок на могилу «парижской ноты».

Что-то все-таки было. Но много меньше, чем хотелось бы. Почти ничего не удалось, да и не могло удасться.

Недавно я перечитывал, — вероятно в десятый раз, — рассказ о смерти Сократа, в конце «Федона», одну из самых удивительных страниц в мировой литературе. Вот как надо бы писать, вот к чему наша несчастная «нота» безотчетно и беспомощно тянулась! Отсутствие красок, все черное и белое. Ни одного сколько-нибудь напыщенного слова, ничего «красивого». А сказано так много, с таким проникновением в суть вещей, в суть жизни, что рядом все кажется ребячеством. Это упрек тому, что расцвело позже, упрек варварской обработке древнего наследия, упрек романтизму, даже упрек Шекспиру с его гениальной пышностью, гениальной, неистовой цветистостью.

Мы с нашей «нотой» были оставлены всеми. Россия казалась призраком, при том враждебным. Казалось, мы на поплавке, а вокруг бушуют волны. Впервые в истории возникло такое одиночество, и в ответ на одиночество хотелось произнести как бы последние, окончательные слова, тоже лишь черные и белые, не заботясь о каких либо литературных «достижениях». Но могло ли это удасться?

«Онегина воздушная громада».

Громада эта «воздушна» потому, что в ней отсутствует напряжение. Пушкин в каждой главе бывает умышленно небрежен, — умышленно или, может-быть, безотчетно подчиняясь своему непогрешимому чутью. Строки и строфы неизбежаемые перемежаются с другими, «никакими». В письме

Татьяны, например, после истинно прекрасных, как будто святающихся строк:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой...

немногим дальше, в том же письме:

Когда я бедным помогала,
Или молитвой улаждала
Тоску волнуемой души.

Или в восьмой главе, по-моему лучшей в «Онегине», на балу, до встречи Евгения с Татьяной, до строфы «с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы», до монолога Татьяны «Сегодня очередь моя», до всего этого, строки, о которых без малейшей натяжки можно сказать, что написаны они «спустя рукава»:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялись ей ниже,
Ловили взор ее очей.

Существуют любители поэзии, поклонники и почитатели Пушкина, — безоговорочные, “inconditionnels”, как говорят теперь во Франции о наиболее ревностных приверженцах генерала де Голля, — в беседе с которыми нельзя этого касаться. В ответ изумление, негодование: сноб, выскочка, капризный придира! Все у Пушкина будто бы одинаково хорошо, ни одного «кое-как». На солнце русской поэзии нет пятен. Но ведь эта пушкинская небрежность, — повторяю, умышленная или произвольная, — необходима, во всяком случае благотворна. Это передышка, облегчающая дальнейшее, более глубокое дыхание. У Баратынского в «Бале» напряжение непрерывно, и отчасти из-за этого поэмы Баратынского безнадежно увяли. В противоположность его стихам, в особенности коротким.

Но Пушкин то же делает иногда и в стихах. Начало знаменитого «Когда для смертного умолкнет шумный день...» тянется тяжело, и лишь со строки «Воспоминание безмолвно предомной...» все взвизывает к небу, как самолет после долгого пробега по земле. Кстати, это стихотворение повторял в старости

Толстой, но хотел изменить «строк печальных» на «строк постыдных». Нет, «печальных» лучше. Если бы речь шла не о Толстом, хотелось бы повторить то, что Анненский писал в «Аполлоне» по поводу критиков, которые высмеивали строку «Дыша духами и туманами» в блоковской «Незнакомке»:

— Нельзя, нельзя без «туманами», педанты несчастные! Нельзя без «печальных».

Есть два типа писателей, и то же слово — «писатель» — объединяет людей имеющих между собой до крайности мало общего.

Один кончает книгу и, отдохнув недельки две или больше, думает: о чем бы написать еще? Может быть о скрытых причинах войны 1914 года? Или биографию общественного деятеля, когда-то видного и влиятельного, а теперь полузабытого? Матерьялы можно было бы подобрать любопытнейшие. Или роман с использованием недавно нашумевшей любовной истории, трагически оборвавшейся? Это может-быть и не плохой писатель, опытный, умелый, но прежде всего это — «работник пера», обслуживающий известную аудиторию. Такими поневоле стали почти все советские литераторы, с их поездками на целину или «отображением» последних партийных сдвигов. У них отнято право на замысел, основной, скрытый за фабулой. Основной замысел дан заранее, пересмотру не подлежит, он — неотъемлемая собственность людей сидящих в Кремле. Но надо сказать правду: «работников пера», свободных, однако не чувствующих потребности спуститься к истокам бытия, тоже занятых лишь обслуживанием своей аудитории, таких «работников пера» очень много и на Западе.

Другой писатель берет перо в руки для того, чтобы что-то себе самому объяснить, что-то по мере сил сказать и передать другим, до чего-то договориться. И так всю жизнь, до последней строки.

Решать, кто из этих писателей даровитее, кто нужнее — дело спорное. То один, то другой: мнения вероятно разделятся. Бесспорно только то, что ничего между ними общего нет, кроме внешних признаков: перо, бумага, печать.

По поводу «Алеши-горшка», маленького посмертного сказа Льва Толстого.

Бывало в гимназии: решаешь задачу, с логарифмами и прочим, бьешься, путаешься, сомневаешься, и вот наконец в заключение остается два числа, скажем, плюс 347 и минус 347. Результат, значит, ноль. Тогда знаешь, что решил задачу правильно: случаен ноль быть не может. Если бы в конце было 347 с одной стороны, а с другой 1826, уверенности не было бы. Но раз ноль, неверным решение быть не может.

В «Алеше-горшке» будто такой ноль в конце. Все решено верно. Все просто. А с Достоевским еще бьешься над логарифмами, не зная, к чему придешь и сомневаясь, не вкралась ли в задание ошибка.

Легенда о Фаусте основана на ложной предпосылке.

Конечно, «старость не радость» и старик рад был бы избавиться от разного рода немощей, связанных с возрастом. Старику хотелось бы снова быть здоровым, сильным, каким был он лет в сорок или даже в пятьдесят... Но все начать сначала, всю жизнь, со всей ее суетой и невзгодами? Приняться опять, со вступительных строк читать книгу «исполненную тревог, обманов, горя и зла», — как сказано в «Анне Карениной», — опять быть двадцатилетним мальчишкой, со всеми мальчишескими иллюзиями, со всем тем, во что рано или поздно эти иллюзии превращаются? Нет, за это продать душу дьяволу согласятся лишь немногие.

Разве что дьяволу удастся перед заключением сделки помутить старику разум. Есть инстинкт конца, инстинкт ненужности, недопустимости повторения всего того, чему исполнился срок.

«Новь» — вместе с «Отцами и детьми» — едва ли не лучший роман Тургенева. А успеха «Новь» имела мало и до сих пор она причисляется к тургеневским неудачам. Зато сладковатое «Дворянское гнездо», — “un roman facile”, по меткому определению Андрэ Моруа, — читалось в «пароксизмах наслаждения», как было сказано вскоре после его появления, и длились эти пароксизмы в течение десятилетий.

Объяснение вероятно выходит за пределы чисто литера-

турные. Объяснение в том, что социально-политическая окраска «Нови» пришлась поклонникам поэтического таланта Тургенева не по душе. Поклонники эти были в большинстве своем физиологически консервативны. Именно физиологически. Их оттолкнула попытка опоэтизировать народничество. Поэзия для них была одно, либеральные идеи, пусть и допустимые, — нечто совсем другое. Тургенев должен был по их мнению навевать сны золотые, в этом было его дело и призвание, а вовсе не в том, чтобы тревожить умы не совсем ясными социальными картинами и предвидениями.

Когда то, довольно давно, я обедал с одним своим знакомым, состоятельным человеком, в дорогом парижском ресторане. Знакомый мой был социалистом, не то эс-эром, не то меньшевиком эс-деком. Тщательно и с большим знанием дела выбирая блюда, и вероятно уловив мой несколько удивленный взгляд, он с улыбкой сказал:

— Знаете, я человек левых взглядов, совсем левых... но котлетки я люблю правые.

Капитализм и социализм.

При всем том, что казалось бы должно расположить в пользу социализма, «последней мечты оставленного Богом человека», за капитализмом остается преимущество, остается довод в оправдание его: он — не выдумка, он возник сам собой, произвольно, неизвестно когда и как, он отвечает бесконечному разнообразию природы, «цветению» ее, тому, что так остро чувствовал, чем мог еще так беззаботно-эстетически любоваться Конст. Леонтьев. Природа однако почти повсеместно уживается с джунглями, и надо бы, вопреки Леонтьеву (впрочем, к концу жизни сдавшемуся), ценой каких угодно эстетических утрат, добиться того, чтобы человеческое общество перестало быть на джунгли похоже, оставив в нем все-таки вольность, право дышать, как хочется, жить и думать, как хочется.

Социализм — именно выдумка. За ним теория, марксистская или другая, за ним долгие споры, пуды книг. Против его основного побуждения, — необходимости установления социальной справедливости, — возразить нечего. Опасность однако в том, что теория, дорвавшись до практики, становится

слепа и глуха к насилию, к превращению человека в статистическую «классовую» единицу.* «Бесчеловечное владычество выдумки», точно и правильно сказано в романе Пастернака. Удастся ли когда-нибудь выдумку очеловечить, на деле, а не в теории, вопрос с каждым годом все менее ясный, несмотря на социалистов анти-ленинского толка, в этой возможности непоколебимо уверенных.

А несчастье социализма, — может быть показательное, может быть даже благотворное, для отрезвления умов и душ даже необходимое, — несчастье в том, что первый исторический экзамен ему устроен был в России. Провал оказался таков что трем-четырем поколениям, в разных странах, придется держать переэкзаменовку, притом с неизвестным исходом. Как в старом, вероятно всем известном московском анекдоте: «Если люди ученые это придумали, сначала на собаках бы попробовали!» Вот именно. И Россия за провал ответственна. Дух истории как будто умышленно решил: «А, вы мечтаете о социализме? Отлично, вот я продемонстрирую вам, что это такое, во что это неизбежно превращается!»

Страничка из повести, очень давно прочитанной, но запомнившейся мне своей острой пронизательностью и картинностью. Автор, если не ошибаюсь, — Яков Рыкачев, замечательный писатель, на которого у нас даже присяжные обозреватели не обратили должного внимания. Имя его в московской печати больше не встречается. Не знаю, жив ли он и какова его судьба.

Восстанавливаю по памяти.

Демонстрация в Москве, первое мая или другой праздник. Стройные ряды рабочих на Красной площади. Вместе с рабочими идет старик, профессорского, слегка вячеславо-ивановского типа. Седые пряди развевающиеся по ветру, широкополая шляпа, пенсне на черном шнурке. Да, он все это предвидел.

* В хаотической, крайне односторонней и спорной по части анализа нашей истории, но все же удивительной книге Вас. Гроссмана «Все течет» есть слова, которых полстолетия ждала — и наконец дождалась! — советская литература: «Ленин и Сталин: кулаки не люди. Неправда это! Люди. Люди они! Все — люди!»

Это то, о чем он мечтал, чему он учил. Братство, счастье. Сейчас они его не поймут, но не все ли равно? Поймут сыновья, внуки. Восторженный взгляд в сторону трибуны с сановниками. Да, он может быть смешон, он знает, что смешон, товарищи. Но это то, чего он всю жизнь ждал. Идти трудно. Как это у вас называется: кажется, в ногу? Он не привык идти в ногу. Он провел жизнь над книгами. Для вас, для вас. Пенснэ упало, он споткнулся. Простите, дорогие товарищи, когда-нибудь вы поймете. Мы идем к свободе, к полноте счастья. Помните, что писал Гегель? Правда, Ницше опровергал, но я рассматриваю это как симбиоз. В своих трудах я утверждаю... да, вы вероятно не читали моих трудов. Счастье, дорогие друзья, светлые, сияющие горизонты!

А на трибуне Сталин. Вроде кошки, которая полужакрыв глаза, притворившись сонной, но дрожа от сладострастного удовольствия, присматривает за лежащей в сторонке мышью. И чуть та дернется... хлоп!

Сталина впрочем в рассказе нет, не могло быть. Но он был бы там вполне уместен.

Читая газеты, большей частью попусту тратишь время. Но случается, что и в газете прочтешь несколько строк, заставляющих длительно и как то существеннее, полезнее задуматься, чем иные даже содержательные книги.

«Мы часто говорим о страдании, строим красивые фразы. Я сам грешил этим. Скажите нашим священникам, чтобы в проповедях они не говорили о страдании. Они не знают, что это такое».

Кардинал Вейо, парижский архиепископ, умиравший от рака.

Если бы надо было ответить на вопрос: что в музыке перерастает поэзию? Конечно, ответ, выбор — «субъективен», значит для многих неубедителен.

Моцарт, струнный квинтет с кларнетом, почти всё для скрипки, отдельные части «Дон-Жуана» и последних симфоний. Моцарт не всегда на этом уровне, но когда до него возвы-

шается, он недостижим. «Ты, Моцарт, бог», говорит у Пушкина Сальери (на что Моцарт с обворожительной пушкинской непринужденностью отвечает: «Но божество мое проголодалось»). Затем Шуберт, и пожалуй прежде всего средняя, будто вставная часть в квинтете с двумя виолончелями. Где-то я прочел, что Артур Рубинштейн хотел бы, чтобы это ему играли, когда он будет умирать, — и он прав: унести «туда» лучшее, что он слышал здесь. Многое у Шопена, который был истинным сыном Моцарта, хотя иногда и соблазнявшимся листовскими блестящими, слишком блестящими ювелирными ухищрениями. У Вагнера: дудочка пастуха над смертельно раненым Тристаном, возвращение памяти и смерть Зигфрида, предсмертные, блаженные его воспоминания, которые так хорошо, лежа на спине, пел-шептал, пел-задышался Ершов. «Брунгильда... ждет меня... там».

И Бах, конечно. Не могу, не имею сил любить Бетховена, в особенности всё самое позднее, после окончательной глухоты, «Большую фугу», последние квартеты, хотя и чувствую, что это вероятно самая «взрослая» музыка, которая когда-либо была написана.

Отчего русские поэты почти ничего не улавливают в музыке? И как жаль, что это так. Блок любил цыганщину и порой, даже в зрелости, срывался в соответствующий жанр, как в довольно плоском (а если тут же вспомнить Пушкина или Тютчева, то даже ужасающем) «Я послал тебе черную розу в бокале». Гумилев говорил: «Нет, отчего же, хороший военный марш я люблю». Гиппиус, Ахматова, из более молодых Одоевцева — полная глухота, впрочем у Гиппиус тщательно скрываемая, в довольно для нее привычной, довольно досадной манере: «А вот и не догадаетесь!» Анненский сказал о Шестой симфонии Чайковского, что это «музыкальная победа над мукой». Едва ли, едва ли. Скорей «музыкальная сдача муке».

Французам, с их сравнительно суховатой поэзией, в этом отношении повезло. Маллармэ, Верлен и другие. У Катюль-Мендеса есть взволнованный рассказ о том, как в юности он видел Бодлера, уже больного, бледного, в концерте, где играли вступление к «Лоэнгрину»: его лицо, его глаза. Знаменитое письмо Вагнеру, не обратившему, впрочем, на него большого внимания — («от какого то поэта») — было вероятно уже отослано.

«Только благодаря поэзии и сквозь поэзию, только благодаря музыке и сквозь музыку душа улавливает великолепия, находящиеся за гробом» — “entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau”. Шарль Бодлер.

Даже если никаких «великолепий» за гробом нет и не будет, даже если за гробом нет ничего, есть все-таки великолепие до гроба: в неистребимости надежды, в сознании своей обреченности и в стремлении к своему освобождению, в том, что человек мог это почувствовать и сказать. Я прочел эти строки во французском оригинале, не называя имени автора, одному из рьяных приверженцев новейшей, структурно-формалистической критики. Он снисходительно улыбнулся: «Болтовня, водичка!»

В критике, впрочем не только новой, а и в прежней, удивительно то, что за бесчисленными статьями и исследованиями, даже самыми проникательными, никогда, ни в одной не заметно недоумения: зачем, собственно говоря, статья написана? Существует «Война и мир», существует «Евгений Онегин», «Мадам Бовари», «Давид Копперфильд». Зачем нужно их разъяснять, разлагая по частям, будто труп под ножом студента-медика? Неужели Толстому, Диккенсу и другим требуются объяснения и комментарии? Не прав ли был Толстой, помнится, сказавший, — не помню только, где и кому, — что «критика, это когда глупые пишут об умных»? Неужели читатель сам, без подталкивания, не способен войти в еще незнакомый ему мир, осмотреться, вжиться, понять?

«Романы Достоевского полифоничны», «Такая то повесть сделана так-то». Прекрасно, а что дальше? «Полифоничны», «сделана» так-то, но чем это меня обогащает, чем это может быть для меня интересно, — разве что для удовлетворения простого любопытства? Критика, в сущности, оправдана лишь тогда, когда пишущему удастся сквозь чужой вымысел сказать что-то свое, т.е. когда по природному своему складу он вспыхивает, касаясь чужого огня, а затем горит и светится сам. Таков был, например, Сент-Бэв, столь несправедливо теперь отвергаемый, Сент-Бэв, читать которого всегда интересно, всегда «питательно», несмотря на некоторые грубые его оплошности в оценках. Не знаю, кого назвать у нас. Правду сказать,

почти некого. У Белинского много исторических заслуг, но читать его и неинтересно, и не питательно.

Теперь в прежней критике отрицается самый метод ее, основанный на внимании к личности, судьбе, эпохе и даже окружению писателя. Теперь царят формы, структуры, «слово как таковое», даже математические выкладки и все прочее, приводящее к мнимо-значительным утверждениям и открытиям вроде того, как «сделана» такая-то повесть. Произведение оторвано от личности автора. Кто за повестью, что за ней, какие сомнения, надежды, горести, радости, об этом будто бы нет причины говорить. Болтовня, водичка! Любопытно было бы однако узнать, что скажут о новых критических властителях дум наши внуки, наши правнуки, лет через пятьдесят? Если будет двадцать первый век, — в чем к концу жизни все настойчивее сомневался Алданов, не в смысле существования планеты, конечно, а в смысле одичания и опустошения мира, — если все-таки будет двадцать первый век, едва ли не с большей язвительностью высмеет он теперешних преуспевающих «литературоведов», чем они своих предшественников. Что некоторые новые исследователи даровиты, остроумны, наделены лингвистическим чутьем, спору нет. Что реакция против критики импрессионистической, довольно-таки несносного айхенвальдовского типа, была неизбежна и благотворна, еще очевиднее. Но удручает нарочитое очерствение, обеднение, самодовольное вторжение пустоты, и если кто-нибудь мне возразит, что вы, милостивый государь, просто напросто брюзжите, и главным образом брюзжите потому, что вам пора из мира уходить, «смываться», прав он будет только в ничтожной доле.

К чему, зачем литературная критика, огромная часть ее, и прежней, и тем более новой, той которая теперь процветает и поощряется с высоты университетских кафедр? Повторяю этот свой вопрос, вполне допуская возможность убедительного ответа, раз критика существует сотни лет. Но лично ответа не вижу. Повторяю вопрос лишь в порядке «еретических мыслей», как в подобных случаях выражался Маклаков, без запальчивости и, надеюсь, мне поверят, без самоуверенности. Но нет слова более мертвого, мертвящего, нежели «литературовед», и когда поневоле употребляешь его, трудно обойтись без кавычек. (Очень хорошо у Бэллы Ахмадулиной в стихо-

творном рассказе о приглашении на обед, где кавычки заменены насмешливой интонацией: дверь ей отворила «жена литературоведа, сама литературовед». Труды, академические успехи, лекции, выписки, картотеки, подсчеты, сколько раз употреблено слово «зеленый», а сколько раз «красный», выводы из такого сопоставления, анализ стиля, нет лучше не стиля, а «семантики» — и полная... удерживаюсь однако, чтобы не вырвалось из-под пера словечко, которое бедной жене «литературоведа» показалось бы незаслуженно обидным.

Георгий Адамович



В лесу нескошенные травы
Сомкнулись у седого пня,
Где корни, как потоки лавы,
Застыли — и зовут меня.

Иду к зеленому покою
И лес прошу: благослови
На одиночество с тобою,
Что крепче дружбы и любви.



Старенький пропойца
Дремлет на скамье;
Он не беспокоится
О своей семье:
Лишь бы кто-то ужином
С бранью накормил.
Никому ненужен он,
Никому не мил.
Вот сидит, сутулится,
Хлеб чужой крошит.
Воробьями улица
Весело кишит.
Смотрит в умилении
И всплакнуть готов:
И ему почтение —
Хоть от воробьев!

Л. Алексеева

*Я во сне и наяву
С наслаждением живу.
И. О.*

Я с юности всегда умела
В улыбку и веселье превращать
Отчаянье,
И в праздники —
Безрадостные будни.
И всем вокруг меня —
И даже мне самой —
Казалось, невозможно быть
Счастливее меня.
И долго на земле я так жила,
Добра не делая, не помня зла,
Гордясь собою и своим умением
Во сне и наяву
Жить с наслаждением.
И вот теперь
Оглядываясь, как с горы,
На прошлое мое,
Я вижу ясно,
Что нет в нем дня,
Нет даже часа,
Который бы хотела
Я заново, вторично пережить
И, значит, я всегда была несчастна.
Ни в книгах, ни в людских сердцах
Следа я не оставляю по себе.
И, значит, жизнь я прожила напрасно
И лучше бы мне вовсе не родиться.
Да, это так, и это очень больно.
И все-таки наперекор всему —
Сама не понимая почему —
Я продолжаю улыбаться
И в праздник будни превращать.

Ирина Одоевцева, 1971

КТО БЫЛ ПУШКИНСКИЙ «ПОЛОНОФИЛ»?

Памяти Ю. Г. Оксмана

Среди незаконченных произведений Пушкина имеются черновые наброски одного «послания» в стихах, навеянного событиями польского восстания 1830-31 г. В десятитомном советском собрании сочинений Пушкина 1949 г. эти черновые строфы напечатаны в следующем виде:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась,
И бунтом Польша опьянела,
И смертная борьба... началась,
При клике «Польска не згинела!» —

Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда... бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.

...Варшавы бунт...
... в дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

Только первое четверостишие имеет законченный вид. Во втором и третьем есть по одной недоработанной строчке; в последнем отделаны только две заключительные строки. В известном дореволюционном издании под редакцией С. А. Венгерова (Брокгауз-Ефрон) дается более пространный, но

менее связный текст, с значительно бóльшим количеством вариантов, переправок и пропусков. Здесь обращают на себя внимание следующие строки, идущие непосредственно за приведенным выше первым четверостишием:

Ты пил здоровье Лелевеля
Ты славил имя Лелевеля

И дальше:

[Когда французск.] пустомеля
Ревел на кафедре ты... у...
Здоровье... Лел[евеля]...

Эти черновые строфы были впервые напечатаны, с утраченного впоследствии чернового автографа, проф. И. А. Шляпкиным в его книге «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (СПб., 1903, стр. 28-30). Напечатаны они были под названием «Полонофилу», которое было дано в скобках; и оставалось неясно, было ли это название в черновом тексте Пушкина. Сверх приведенных выше четырех строф, в которых были некоторые разночтения по сравнению с позднее печатавшейся «реконструированной» версией (например, вторая строка первой строфы читалась: «Ты света таинство увидел»; третья строка второй строфы: «И кровь потоком полилась»; а вторая строка предпоследней строфы: «Кусая губы слушал вести»), Шляпкин пытался реконструировать еще одну строфу (между нашими второй и третьей).

Помимо реконструкции пяти строф послания Шляпкин напечатал, «не ручаясь за точность», ряд строк, часто состоявших из одного слова, причем многие слова были зачеркнуты Пушкиным, что Шляпкин обозначал, беря их в скобки. Шляпкин дал краткое описание чернового автографа («написано с обеих сторон малой осьмушки почтовой бумаги фабрики Гончарова 1829 (видны знаки Г и 29). Красными чернилами выставлена цифра 26»), датировал стихотворение предположительно годами 1830-1834 (с вопросительным знаком) и сопровождал его кратким комментарием, к которому мы еще вернемся.

В некоторых более поздних изданиях стихотворение это печаталось под 1834 г. Черновой подлинник был в какое-то время утерян, но есть сведения, что еще до того уцелевшая весьма несовершенная копия была сверена известным пуш-

кинистом Н. О. Лернером (1877-1934). Позднейшие пушкинисты, в том числе такой авторитетный как Н. В. Измайлов (р. 1893), считали транскрипции Шляпкина весьма неудачными, критикуя и самый метод его. Измайлов прямо писал, что мы сейчас располагаем не только неполным, но и заведомо искаженным материалом, который дает возможность лишь *догадываться* о смысле стихотворения, но не реконструировать его текст (см. статью Н. В. Измайлова «Текстология» в сборнике «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», коллективная монография под редакцией Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха, М.-Л., 1966, стр. 567-68). Попытка реконструкции текста на основе публикации Шляпкина была сделана Т. Г. Зенгер-Цявловской во второй части третьего тома Академического юбилейного издания, начатого еще в 1937 г., но законченного уже после войны (вторая часть третьего тома вышла в 1949 г.). Ознакомление с этой попыткой реконструкции ясно показывает, что она была обречена на неудачу: сколько-нибудь связного текста из этих примерно 50 строк извлечь нельзя. В дальнейшем редакторы многотомных собраний сочинений Пушкина, в которые включались и его недоработанные произведения, органичивались воспроизведением данного нами выше текста, и только в десяти томнике 1957 г. покойный Б. В. Томашевский повторил попытку Шляпкина реконструировать еще одну строфу. К этой попытке мы еще вернемся, а сейчас займемся вопросом об адресате: *кто* был пушкинский «полонофил»?

В уже упомянутом комментарии к своей публикации Шляпкин высказал довольно странное предположение, а именно, что в своем послании Пушкин имел в виду О. И. Сенковского (1800-59), редактора «Библиотеки для Чтения», поляка по происхождению, на которого польские патриоты смотрели скорее, как на перевертня и даже изменника. Шляпкин писал, что Пушкин сначала относился к Сенковскому сочувственно, но потом между ними произошло столкновение из-за одной иронической статьи Сенковского. Дальше Шляпкин писал: «И про Сенковского и про Булгарина — поляков можно было сказать, что они *мудро* возненавидели свой народ и полюбили чужие, но человеком, 'осветившим свой разум', мог быть назван *профессор* Сенковский». Шляпкин отмечал также, что Сенковский был большим приятелем Лелевеля. Он высказывал также

предположение, что Пушкин не стал продолжать стихотворение «вероятно потому, что... понимал, что оно, несмотря на высоту вдохнувшего его патриотического чувства, могло легко повести за собой неприятные последствия для обрисованного в нем полонофила» (стр. 30). За исключением последней гипотезы (она вполне допустима, хотя едва ли в отношении Сенковского), комментарий этот поражает своим исключительным психологическим и литературным нечувствием.

По мнению Шляпкина, Пушкин начал писать стихотворение «в раздраженном состоянии духа». Шляпкин, очевидно, не допускал, что стихотворение могло быть обращено к близкому другу Пушкина (Сенковский никогда таковым не был) и не слышал, что в нем не звучало никакой *враждебной* ноты. Совсем уж непонятно, как мог Шляпкин серьезно (хотя бы и мимоходом) говорить о кандидатуре Булгарина или писать о «мудрой» ненависти Булгарина, или даже Сенковского, к своему народу. Имя Сенковского в этой связи, кажется, больше не всплывало, а о других возможных кандидатах на роль пушкинского полонофила Шляпкин даже не заикнулся.

П. И. Бартенев (1829-1912) как будто первый высказал предположение, что адресатом пушкинского послания мог быть П. Я. Чаадаев. Но первым, кто вплотную занялся вопросом об адресате, был покойный русско-польско-американский ученый В. А. Ледницкий (1891-1967), тогда профессор Краковского университета, читавший также лекции в Брюссельском университете, а после Второй мировой войны преподававший в Гарварде и затем в Калифорнийском университете в Беркли, где я был его коллегой и поддерживал с ним дружеские отношения. Вопросом о пушкинском «полонофиле» Ледницкий занялся в большой работе, напечатанной им в превосходном, им же отрецензированном, двухтомном польском сборнике статей и исследований о Пушкине, выпущенном в 1939 г. в Кракове в связи с незадолго до того исполнившимся столетием со дня смерти Пушкина.

В отличие от Шляпкина, Ледницкий исходил из того, что послание Пушкина обращено было к человеку, с которым его связывали близкие личные отношения, к которому он чувствовал симпатию. Гипотеза Бартенева о Чаадаеве показалась ему соблазнительной: он давно интересовался Чаадаевым и установил наличие любопытных параллелей между «Дзядями»

Мицкевича и «Философическим письмом» Чаадаева. Поэтому он подверг тщательному разбору главные доводы за и против этой гипотезы. Строки, обращенные к человеку, который «нежно чуждые народы возлюбил и мудро свой возненавидел», могли и в самом деле быть обращены к Чаадаеву. Взгляды Чаадаева были Пушкину известны задолго до опубликования т.н. «Первого» письма в 1836 г. в «Телескопе». Взглядов этих Пушкин не разделял, но к Чаадаеву относился хорошо и вполне мог именно так — без злобы, но не без иронии — охарактеризовать его позицию. Но среди доводов, говоривших против отождествления адресата пушкинского послания с Чаадаевым, был один, который, по мнению В. А. Ледницкого, являлся «почти решающим»: Чаадаев никогда *полонофилом* не слыл. Никаких полонофильских высказываний его мы не знаем. Более того: в приписке к своему письму Пушкину от 18-го сентября 1831 г. он горячо приветствовал «анти-польские» стихи Пушкина, т.е. его «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России» (этим стихам тот же Ледницкий посвятил ряд обстоятельных работ). Ледницкий пробовал отвести эту приписку к письму Чаадаева указанием на возможное приспособление его к цензуре, но тут же сам вынужден был признать несостоятельность такого отвода.

Таким образом, как ни соблазнительна казалась ему гипотеза о Чаадаеве, Ледницкий вынужден был искать и другого возможного адресата. Выбор его среди друзей Пушкина пал на кн. П. А. Вяземского. В отличие от Чаадаева, Вяземский — как и его и Пушкина общий друг Александр Тургенев — не скрывал своего возмущения патриотическими анти-польскими стихами Пушкина и Жуковского, воспевавшими падение Варшавы. А. И. Тургенева Ледницкий не принимал серьезно в расчет: при всем своем несочувствии позиции Пушкина в отношении польского восстания, он вынужден был держаться крайне осторожно в интересах своего брата Николая, осужденного заочно по делу декабристов, проживавшего за границей и отказавшегося вернуться в Россию. Да и слова о «мудрой ненависти» к своему народу мало подходили к Тургеневу. Что касается Вяземского, то и из его писем, и из писем А. И. Тургенева мы знаем, как он осуждал стихи Пушкина, которые называл «шинельными», и как жестоко с ним на эту тему спорил. У Вяземского, служившего раньше в Варшаве чиновни-

ком при Новосильцове, были известные симпатии к Польше (впоследствии почти полностью выветрившиеся). Он завязал связи в польском обществе, интересовался польской литературой, покровительствовал Мицкевичу, переводил его. Но представить себе его пьющим здоровье Лелевеля (где, в Москве?) — если только слова эти не есть поэтический троп — все же трудно. Первые строки послания тоже едва ли можно отнести к Вяземскому, хотя он однажды и позволил себе следующую жестокую бутаду о России: «Я — европейское растение: мне в Азии смертельно. В Азии и лучше меня живут — не спорю, да я жить не могу: черви меня заедают» (в письме А. И. Тургеневу от 12-го ноября 1827 г.).

Самого Ледницкого кандидатура Вяземского соблазняла гораздо меньше: он не подвергал ее столь тщательному разбору и кончал тем, что признавал, что загадка остается неразгаданной: «Полагаю, что это либо кн. Вяземский, либо Чаадаев — *tertium non datur*».

В 1950 г. я выпустил в Сан Франциско, под названием «Русский Европейец», книжку об еще одном приятеле Пушкина и Вяземского — князе Петре Борисовиче Козловском (1783-1840). В этой книжке я собрал большой и в значительной мере малоизвестный или совсем неизвестный материал для биографии этого совершенно забытого современника Пушкина — человека высоко и разнообразно одаренного, дипломата по профессии, но рано вышедшего в отставку (на взгляд некоторых он, может быть, даже был «горе-дипломатом») и оставшегося жить и путешествовать в Европе, где он насчитывал друзей и знакомых не только в свете, но и среди писателей всех стран: он встречался — а иногда и переписывался — с г-жей де Сталь, Жозефом де Мэстром, Шатобрианом, Байроном, Гейне, Бальзаком, Винченцо Монти, Рахилью Фарнгаген фон Энзе и др. Он был диллетантом в разных областях. Пушкин в одном послании к нему назвал его «другом бардов английских» и «любовником муз латинских» (Козловский подбил Пушкина на перевод Ювенала, которого он был большим поклонником). А в письме Чаадаеву незадолго до смерти, в связи с «Современником», Пушкин писал, что Козловский был бы его Провидением, если бы вздумал стать писателем. В «Современнике» были напечатаны две статьи Козловского. Обе были на научные темы (Козловский серьезно занимался математи-

кой), но он с таким же успехом мог бы писать и о литературе, и об истории, и о политике.

В своей книжке о Козловском я высказал предположение, что именно он мог быть адресатом пушкинского послания, что он — верней, чем кто-либо иной — мог «потирать руки» от русских неудач под Варшавой (он жил тогда за границей, но уже не был на дипломатической службе), слушать вести о них «с лукавым смехом», а после падения Варшавы — «горько возрыдать», «как жид о Иерусалиме». Из всех друзей Пушкина он казался мне наиболее правдоподобным кандидатом на роль пушкинского «полонофила». Вяземский недаром раз назвал его «полякующим». Этого взгляда я держусь и сейчас.

В своем анализе пушкинских строф В. А. Ледницкий исходил из того, что они были написаны в конце 1831 г., вскоре после подавления восстания, но сам указывал, что *могли* они быть написаны и позже, даже в 1836 г. Если допустить написание не раньше 1835 г., когда Пушкин познакомился с Козловским, то кандидатура Козловского становится вполне возможной. Обычное отнесение стихотворения к 1834 г. не случайно: оно определяется упоминанием Лелевеля в некоторых строчках, не включавшихся в обычно публиковавшийся текст. 25-го января 1834 г. — «в годовщину свержения Николая I с польского престола и в память русского восстания 1825 г. [т.е. восстания декабристов — Г.С.] и гибели русских патриотов», как была потом озаглавлена эта речь — в Брюсселе был устроен торжественный обед, на котором Лелевель произнес свою знаменитую речь и за него подымались тосты.¹ Присутствие Козловского на этом обеде представляется вполне вероятным.

Есть все основания думать, что еще во время Венского Конгресса, одним из участников которого он был (он занимал тогда пост русского посланника в Турине), Козловский, в отличие от графа Поццо ди Борго и некоторых других русских дипломатов, сочувствовал либеральным планам Александра I в отношении Польши. Позднее он, как последовательный либерал, приветствовал дарование Польше конституции. Более

¹ В своей речи Лелевель, между прочим, упомянул Пушкина. Газетные отчеты истолковали его слова, как намек на то, что Пушкин мог сочувствовать польскому восстанию, что было ему очень неприятно как видно из одной его записи в «Дневнике».

чем вероятно, что в 1830-31 г. симпатии Козловского были на стороне поляков: живя за границей, он был близок к либеральной оппозиции во Франции и в Англии и к католическим кругам (он сам еще много раньше перешел в католичество), т.е. к той именно среде, в которой польское дело привлекало наибольшие симпатии и в которой было особенно сильно возмущение русским правительством. О про-польском настроении Козловского как будто свидетельствует следующая лаконичская фраза в письме графини Гранвилль, жены английского посла в Париже, к ее сестре от 29-го сентября 1831 г.: «Встретила сегодня на Бульварах Козловского, толстого и робкого. *Смеет ли русский показываться?*» Последняя фраза — по-французски и взята в кавычки: почти наверное это слова самого Козловского, которому в эти дни, когда возмущение действиями русского правительства достигло во Франции своего апогея, было, вероятно, неприятно или даже стыдно показываться в обществе.

У нас нет доказательств того, что Козловский был лично знаком с Лелевелем. Но мы можем легко представить себе его пьющим здоровье Лелевеля у одного из «французских пустомель», как назвал их Пушкин (жаль, что в цитированных выше черновых строках после предлога «у» у Пушкина идет многоточие!). Могло это быть и в 1831 г., во время самого восстания; могло быть и позже, по прибытии Лелевеля во Францию. Но — повторяю — *могло*, наконец, быть даже и на пресловутом обеде в Брюсселе, хотя русские пушкинисты, даже относя стихотворение к 1834 году и, очевидно, связывая его с обедом, никогда, насколько я знаю, такого предположения не высказывали. Между тем, есть сведения, что Козловский в то время довольно часто бывал в Бельгии, а одна его брошюра даже была издана в 1830 г. в Генте.

К Козловскому не менее, чем к Чаадаеву, подходили бы начальные строки пушкинского послания:

Ты просвещением свой разум осветил

.....

И нежно чуждые народы возлюбил

И мудро свой возненавидел —

«мудрую ненависть» тут надо, разумеется, понимать в чаадаевском смысле. Этого не понял Шляпкин..

К Козловскому даже больше, чем к Чаадаеву, подходят и слова о «лукавом смехе»: тонкую, лукавую усмешку его отмечали многие встречавшиеся с ним люди.

Менее вяжутся, пожалуй, с общим обликом Козловского — пересмешника, салонного остролова, краснбая и любителя парадоксов — заключительные строки Пушкина. Но и они кажутся не столь уж невозможными: Н. И. Тургенев писал о том, как Козловский как-то раз «прослезился» над участью крепостных крестьян. А Фарнгаген фон Энзе подчеркивал «горячность» его убеждений.

Если счесть Козловского адресатом пушкинского послания, последнее следует датировать 1835 или 1836 годом. Такая датировка ничуть не менее вероятна, чем приурочение стихотворения к 1834 году, и более вероятна, чем написание по свежим следам, т.е. еще в 1831 г.: весь тон наброска скорее ретроспективный, гораздо более спокойный, чем в «анти-польской трилогии» (термин Ледницкого, который к двум другим стихотворениям присоединял стихотворение «Перед гробницею святой...») Не чувствуется никакой враждебности к адресату-полонофилу. Даже напротив. Легко представить себе, что, приехав в Петербург из Варшавы, где он по пути из-заграницы задержался на целый год из-за сломанной ноги (кучер вывернул коляску), Козловский, познакомившись с Пушкиным и подружившись с ним, беседовал с ним о польских делах. Мы имеем этому и документальное подтверждение самого Пушкина: в заметке, которой открываются пушкинские «застольные рассказы» («Table Talk»), начатые им в 1836 г., приведен рассказ Козловского о разговоре его с Александром I по поводу меморандума Поццо ди Борго против воссоздания Польского Королевства.

Не подлежит сомнению, что рассказ этот, в котором цитировались подлинные слова императора, Пушкин слышал от самого Козловского. Козловский мог рассказать Пушкину и эпизод с тостом за Лелевеля, если таковой имел место, и особенно если это произошло на обеде в Брюсселе, которым у Пушкина были свои основания интересоваться. Интерес Козловского к польским делам был не просто платонический. В Варшаве, как это ни странно, он сблизился с наместником, фельдмаршалом Паскевичем. А летом 1836 г., возвратившись на службу в министерство иностранных дел, был даже при-

числен к Совету наместника Царства Польского и уехал на жительство в Варшаву. Похоже, что причисление это состоялось не без влияния английского посла в Петербурге, лорда Дарама (Durham, 1792-1840). Последний в донесении Пальмерстону от 11-го июня 1836 г. писал, что он несколько раз разговаривал с Нессельроде и Паскевичем о Польше и «убеждал обоих, насколько это допускала щекотливость предмета, установить возможно более мягкое и примирительное правление в этой несчастной стране». А перед самым отъездом Паскевича в Варшаву у него был с ним длинный разговор, в котором он убеждал его «использовать все возможности для того, чтобы опровергнуть, на деле и на словах, распространявшиеся по всей Европе и внушавшие веру сообщения о русских суровостях».

Он напомнил Паскевичу, что «в наше время, когда общественное мнение всемогуще и вездесуще, никакое правительство не может прикрываться тем, что называется достойным молчанием, или воздерживаться, прямо или косвенно, от дачи объяснений и опровержений, которых требуют его честь и репутация». По словам Дарама, Паскевич не возражал и заявил, что и сам высказал такое же мнение своему правительству. В конце того же донесения Дарам сообщал о назначении Козловского к Паскевичу и прибавлял, что Козловский, живя перед тем в Варшаве, «был в очень близких отношениях с фельдмаршалом и, согласно сообщениям полковника Барнетта, неизменно и успешно употреблял свое влияние в пользу поляков». О возможной роли самого Дарама в назначении Козловского в Варшаву говорит следующая за этим фраза: «Он замечательно хорошо говорит и пишет по-английски и по-французски, и у меня есть основания думать, что он получил это назначение, дабы облегчить дачу тех объяснений, о которых я говорил выше».²

Новейший биограф лорда Дарама прямо писал, что именно Дарам добился назначения Козловского к Паскевичу. При

² Это донесение Дарама было напечатано мною в моей книге о Козловском. В русской литературе о последнем оно никогда раньше не упоминалось. Известно еще одно, само по себе большого интереса не представляющее, донесение Дарама, свидетельствующее о том, что он, повидимому, лично хорошо знал Козловского.

этом он называл Козловского «определенным сочувственником и другом поляков». По словам этого биографа, Козловский продолжал быть в сношениях с Дарамом, пока тот оставался в России.³ «Известным другом поляков» называл Козловского и более ранний биограф Дарама, по словам которого сам Нессельроде приписывал назначение Козловского желанию императора Николая провести в жизнь «политику милосердия» (*policy of clemency*), на которой настаивал Дарам.⁴

Последние три года своей жизни Козловский провел в Варшаве, наезжая иногда в Петербург и продолжая ездить за границу, где и умер (в Баден-Бадене). Имя полковника Барнетта, как английского консула в Варшаве, упоминается еще в одном любопытном документе. Это — короткий полицейский рапорт на польском языке, без подписи, датированный 28-го декабря 1839 г., в котором говорится о частом посещении Козловского французским и английским консулами и о разговорах, которые они ведут. В верхнем левом углу, чьей-то другой рукой (но не Козловского) написано по-французски: «Рапорт варшавского полицейского соглядатая, избобличающий перед канцелярией фельдмаршала князя Паскевича частое посещение консулами Франции и Англии (гг. Бренье и Барнеттом) князя Козловского».

Документ свидетельствует о том, что за Козловским была установлена слежка. Фотостат этого документа был получен мною, уже после выхода моей книги о Козловском, от покойного профессора Андрэ Мазона, известного французского слависта. Насколько я понял, этот документ был приобретен, вместе с рядом других бумаг Козловского, на каком-то аукционе. Опубликован он никогда не был. Как попал он в руки Козловского или его наследников (если попал), остается неизвестным, но не исключена возможность, что Паскевич сам передал ему этот «донос» на него.

Вскоре после выхода моей русской книги о Козловском я напечатал в английском журнале *The Slavonic & East European Review* статью о стихотворном наброске Пушкина под назва-

³ См. Stuart J. Reid, *Life and Letters of the First Earl of Durham, 1792-1840*. London, 1906, vol. ii, pp. 51.

⁴ См. Chester H. New, *Lord Durham: A Biography of John George Lambton, First Earl of Durham*. Oxford, 1929.

нием «Кто был пушкинский 'Полонофил'?»⁵ В этой статье я еще раз развивал свои доводы в пользу кандидатуры Козловского. В. А. Ледницкого моя аргументация не убедила, и он ответил на мою статью в следующем номере того же журнала, причем особенно подробно остановился на эпизоде с Лелевелем и его речью. Я нашел и продолжаю находить его доводы против Козловского неубедительными. Ему явно не хотелось расставаться со своей гипотезой, но он, видимо, все больше и больше склонялся снова в пользу Чаадаева; о Вяземском в статье почти не было упоминаний.⁶

Лет десять спустя у меня возникла на короткое время переписка на историко-литературные темы с очень известным, недавно скончавшимся пушкинистом, Юлианом Григорьевичем Оксманом (1895-1970). Оксман был одной из жертв сталинских чисток. В 1936 г. он был арестован — повидимому, из-за служебной близости своей к Л. Б. Каменеву, номинально возглавлявшему Пушкинский юбилейный комитет. Был сослан и провел около десяти лет на Колыме. Благодаря другому видному ученому, Г. А. Гуковскому, который позднее тоже оказался жертвой Сталина (в связи с кампанией против «космополитов»), Оксман после войны попал в Саратов и получил возможность фактически продолжать свою научную работу при тамошнем университете. Но вернуться в Москву к открытой научной деятельности он мог только уже после смерти Сталина (Гуковского к тому времени уже не было в живых). В конце 50-х и начале 60-х годов он был связан с Институтом Мировой Литературы имени Горького. Моя переписка с ним была в начале 60-х годов. Вскоре после того он снова попал в опалу, но был оставлен на свободе. Имя его было снято почти со всех изданий, в которых он входил в редакционную коллегия (в частности, исчезло оно после первого тома из списка редакторов «Краткой Литературной Энциклопедии»). Оно почти перестало появляться в печати. Ни 70-летие, ни

⁵ XXIX, № 73 (June 1951), pp. 444-55. Еще до выхода моей книги о Козловском и до того как я собрал все данные о его польских связях и симпатиях я напечатал под таким же заглавием статью в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово» (18 декабря 1949 г.) и в ней выдвинул впервые кандидатуру Козловского.

⁶ Статья Ледницкого была перепечатана в его книге "Russia, Poland and the West" (New York, 1954). pp. 96-104.

75-летие его (он родился 12-го января 1895 г. по новому стилю) не были официально никак отмечены, несмотря на крупные и несомненные заслуги его перед наукой. Висевший над ним «запрет» был снят только совсем незадолго до смерти. Но и после смерти в советских *газетах* не появилось его некролога, хотя в них постоянно отмечаются смерти гораздо менее значительных людей.

В одном из своих писем ко мне, отвечая на какое-то мое замечание или запрос о Козловском, Ю. Г. касался вопроса о пушкинских строфах к «Полонофилу» и писал:

«В связи с вашими строками о Козловском я заявил в последнее издание Пушкина (десятитомник Гослита, 1959-1962) — и с возмущением установил, что черновые строфы «Ты просвещением свой разум осветил» по-прежнему связываются в этом издании с Чаадаевым, а не с Козловским. Мне кажется, что вы обосновали свое предположение так убедительно, что другие гипотезы (в том числе и Ледницкого о Вяземском) не выдерживают критики. Даю вам слово, что в ближайшем издании Пушкина я сам буду писать комментарий к этим стихам, опираясь на вашу работу о Козловском. Конечно, было бы чудесно, если бы вы сами написали небольшую статью об адресате стихов «Ты просвещением свой разум осветил», взвесив и отвергнув доводы в пользу Чаадаева и Вяземского. Статью эту, в которой бы вы говорили о статье Струве, как статье, аргументацию которой вы принимаете, можно было бы подписать любым псевдонимом и напечатать в каком-нибудь из наших академических сборников. Я бы охотно это сделал...»

Я чувствовал себя, конечно, очень польщенным письмом Ю. Г. Его предложение, чтобы я сам написал статью для какого-нибудь советского сборника, показалось мне, однако, не очень реальным, и о принятии его я даже не помышлял. Сдержатъ же свое слово и напечатать комментарий в новом издании Пушкина Ю. Г. не мог уже по не зависевшим от него обстоятельствам. Я не совсем уверен, какое именно издание 1959-62 гг. имел в виду Ю. Г. В третьем томе издания ГИХЛ, тоже помеченном 1959 годом, и вышедшем под редакцией М. А. Цявловского и Т. Г. Зенгер-Цявловской, вопрос об адресате не обсуждается. Здесь на стр. 779, в примечании к стихо-

творению, воспроизведенному в традиционной версии, мы читаем: «Текст реконструирован по несовершенной транскрипции начала XX века с чернового автографа Пушкина, впоследствии утраченного. Написано стихотворение вернее всего в связи с польским восстанием 1831 г.; но, может быть, и позднее под впечатлением толков по поводу газетных сообщений в феврале 1834 г. о выступлении Лелевеля (см. Дневник Пушкина, запись от 1 апреля 1834 г. — т. 7). К кому обращено это стихотворение — неизвестно».

В десятитомнике Академии Наук 1962-66 гг. к напечатанному тоже в 3-м томе стихотворению примечание дано еще более краткое. Оно гласит: «Автограф стихотворения утрачен, и оно известно по весьма несовершенной копии, из которой местами только по догадке можно извлечь неполные строки. Как показывает содержание, стихотворение могло быть написано не ранее 1831 г.»

Нет упоминания Чаадаева — и вообще не подымался вопрос об адресате — и в издании 1957-59 гг. под редакцией Б. В. Томашевского. В этом издании Томашевским была сделана реконструкция еще одной строфы и внесены небольшие изменения в две другие строфы. После прежней второй строфы Томашевский включил еще следующую неполную:

Когда же Дибич
Пестро парижский пустомеля
Ревел на кафедре
Ты пил здоровье Лелевеля.

Эта реконструкция восходила к первоначальной шляпкинской, но у того в первой строке было одно слово (« злобясь»), а в 4-ой был другой порядок слов: «Здоровье пил ты Лелевеля».

Кроме того, у Томашевского в первой строке первой строфы вместо «лик» читалось «свет», а вторая строка второй строфы читалась: «И Польша буйством опьянела» (версия Шляпкина была близка к этому, но вместо «Польша» у него было «Польским»).

Реконструкция Томашевского была принята в последующем Академическом издании 1962-66 гг. Ссылки на Чаадаева у Томашевского тоже не было. Похоже, что советские комментаторы предпочитают сейчас обходить молчанием вопрос

об адресате. Кандидатура Козловского не выдвигается даже гипотетически. Между тем, я доподлинно знаю, что моя книга о Козловском (а по всей вероятности и английская статья) известна была не только Оксману, но и другим советским пушкинистам. Один из них, Э. Э. Найдич, ссылаясь, например, на нее в статье «Письмо Пушкина к Густаву Нордину» в книге «Пушкин. Исследования и материалы», т. II, под редакцией М. П. Алексеева (М.-Л., 1958). Найдич цитировал то, что я писал в своей книге о дружбе Козловского с Генрихом Гейне (вопрос этот в русской литературе никогда не затрагивался), и высказывал предположение, что Пушкин мог слышать рассказы Козловского о встречах с Гейне.

Я написал настоящую статью, используя в ней и свои прежние публикации и новый материал, — и во исполнение, хотя бы и в другой форме и с запозданием, просьбы Ю. Г. Оксмана, и как посильную дань его памяти, и для того, чтобы довести *его* взгляд до русских читателей, в том числе и советских: я знаю, что и среди них сейчас есть такие, которые читают «Новый Журнал».

Глеб Струве

В стране Шлараффенлэнд,
В заоблачной стране Шлараффенлэнд,
Зоолог и турист Каннитферштáн
(Из Копенгагена) зашел в кафешантан,
Но оказалось, это крематорий.

Он был рассеян и себя позволил сжечь,
Развеял пепел и сказал: берите!
И скоро заблудился в лабиринте
Лабораторий мировой истории
И ночи, где на дне Левиафан
Мычал и бегали хамелеоны
(Краснея, голубея, зеленея).

Там в обществе кентавров, минотавров,
Реакторов, министров, минометов
Каннитферштан сидит и пьет манхаттен
И смотрит, как в аквариуме черном
Химеры, великаны-тараканы
На Гулливера квакают, квакваны.

Мертвый пейзаж на Луне —
Вариант омертвелой печали.
Сколько вариантов печали
(И смерти) известно мне?

Что там было, в язвах Луны?
Варианты чумы и проказы?
(Ах, сердце, ну что тебе фазы
Той прокаженной Луны?)

Есть варианты и здесь —
Эмфизема, саркома, склерозы.
Вариантов множество есть.
Но горы, озера и розы
Нам радуют сердце здесь.

А впрочем, зигзаги гор —
Больничная кардиограмма.
И сердце — хлам среди хлама,
И Смерть, Прекрасная Дама,
Нисходит с безлунных гор.

Игорь Чиннов

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ МАНДЕЛЬШТАМА

1. РАДОСТНОЕ БОГООБЩЕНИЕ

Христианское кредо Мандельштама изложено в его очерке «Пушкин и Скрябин», что подтверждает и его вдова Надежда Яковлевна, которой удалось разыскать и сохранить разрозненные листки этого доклада, прочитанного Осипом Эмилевичем незадолго до революции, в Петрограде («Воспоминания», 1970). Некоторые тезисы: Христос искупил грехи мира вольной жертвой и христианское искусство уже не жертва, не искупление, а «свободное и радостное подражание Христу (...)». Радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки Духа». Это пасхальное исповедание христианства, едва намеченное в том наброске, было позднее полностью раскрыто в поэзии Мандельштама.

Как он пришел к христианству? Осип Эмилевич родился в еврейской семье. В очерке «Хаос Иудейский» Мандельштам вспоминает, как в детстве его раза два возили в синагогу и оттуда он возвращался в «тяжелом чаду». В Риге правоверный дед накинул на него черно-желтый плат, пишет он в том же очерке, «и заставил повторять за собою слова, составленные из незнакомых шумов. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подросла мать». Но званием еврея он всегда гордился.

Н. Я. вспоминает: Мандельштам побаивался ветхозаветного Иегову, его тоталитарной власти, и утверждал, что христианство учением о Троичности преодолело единовластие иудейского Бога, и далее от себя добавляет: «Естественно, что мы страшились единовластия» (в то время, конечно, сталинского).

Нет достоверных данных о будто бы чисто формальном

переходе Мандельштама в лютеранство, но, несомненно, он был христианином по духу и называл себя «последним христианско-эллиническим поэтом в России». *Эллиниским*, — ибо ему была близка Эллада, и языческая, и поздняя, «оплодотворенная христианством», но ощущал он и иудейские корни Нового Завета (Ветхозаветный дым на теплых алтарях... в стихах об Исаакиевском соборе).

В ранних религиозных мотивах поэзии Мандельштама немало эстетики и историзма. Его восхищал исторический размах христианства — прекрасные соборы Софии и Петра, а в протестантизме — пленяла баховская музыка. Одновременно он увлекался и античностью, как эллинской так и римской. Не пренебрегал он и современностью (писал о теннисе, кинематографе). Но юношеское стихотворение 1912 г. «Образ твой...» — религиозно, и напоминает молитву, хотя бы и случайно произнесенную:

«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди...

В сборнике «Камень» Мандельштама, пожалуй, больше привлекало католичество, хотя он и отдал дань восхищения византийской Айя-Софии и отозвался стихами на афонский мятеж монахов-имябожцев. По отзыву Н. Я. — Мандельштам в юности мечтал о каком-то органическом и иерархическом социальном строе, а в школьные годы увлекался и католичеством и марксизмом. Наконец, по ее же воспоминаниям, в 1919 г. ему мерещилась теократия, как лучшая форма правления. Но существеннее не эти свидетельства, а его стихи. В лирическом комментарии «К энциклике папы Бенедикта XV» он сказал: Орлиным зреньем, дивным слухом / Священник римский уцелел (сентябрь 1914 г.).

В 1918 г., прославляя «сумерки свободы», Мандельштам призывал: Ну, что ж, попробуем огромный неуклюжий / Скрипучий поворот руля. А в 20-х г.г. Мандельштама соблазнял и коммунизм, даже партийный (церковь без Бога) и, по словам Н. Я., он говорил, что его «присяга чудная четвертому словью» обязывает его к примирению с советской действительностью, но — *без смертной казни*. А казни множились,

строительство основывалось на рабском труде, и к началу 30-х г.г. (а может быть и раньше) у Мандельштама уже не было никаких иллюзий: он отшатнулся от новой Ассирии, от сталинского СССР и смело осудил диктатора.

В сборнике “*Tristia*” также немало эстетики и историзма, но больше лирики, больше нежности, а не ее «сестры» — тяжести. Напр., в стихах о кремлевских соборах «с их итальянскою и русскою душой». Прославлены они и в другом стихотворении: О, этот воздух, смутой пьяный ...А ставка, неуверенная ставка на советское строительство, не означала для него отречения от христианства. Так, в очерке «Слово и культура» (1921 г.), он писал: «...теперь всякий культурный человек — христианин». Но, повторяю, существеннее его поэзия. Провозглашенное им радостное богообщение понято-пережито им в стихотворении о Сиене:

И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестины весть, нисходит благодать.

Христианской радостью одушевлено и это стихотворение (1920 г.).

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг,
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взять в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

Звучание. Во всех строфах слышится рокот Р и звон З, а также родственных им Л и С. Немало и внутренних созвучий: дароносица-солнце, прозвучать-взять, круглой-куполе, храмине-времени-луговине или полдень-длится. Плавные и свистящие в этом контексте выражают радость, веселие, и отзываются

ся в церковных словах: дароносица, богослужение, храмина, евхаристия, причащаются, божественный сосуд (в последней строфе «подпевают» и шипящие). Вообще же звукопись у Мандельштама (без проверки, на слух) не так бросается «в уши», как у Маяковского, Цветаевой, Пастернака. Его звуковые повторы хорошо слышимы, но не навязчивы, как и у Пушкина.

Размер — шестистопный ямб с цезурой после третьей стопы. Метр этот культивировался в 18-м веке, в особенности, в трагедиях — с парными рифмами (в подражание французскому александрийскому стиху), но по структуре он ближе к немецкому силлабо-тоническому ладу и впервые встречается у Ломоносова. У Пушкина этим размером написан, напр. «Памятник» и его *прощальное* стихотворение: Когда за городом задумчив я брожу... В 20-м в. ямбические гекзаметры встречаются нечасто, но у Мандельштама их немало в стихах обоих его первых сборников: “Notre Dame”, «Адмиралтейство», ««Европа», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «В разногласии девического хора», «Соломинка», «Декабрист», «В хрустальном омуте какая крутизна», «Когда Психея-жизнь спускается к теням», «Я слово позабыл, что я хотел сказать», а также и в других, иногда с чередованием четырехстопных ямбов. Рифмы — опоясывающие, что редко бывает в этом размере. Запев этого метра, замедленный цезурой — очень торжественный, но не монотонный.

Язык — отборный, отвлеченный, «важный», как сказали бы в 18-м веке, и отдаленно сродни опискам той эпохи. Неправильно наложена опала / На автора возвышенных стихов... писал Мандельштам, и сам бывал иногда «возвышен». Нет «прозаических» сравнений, как в стихах об Исаакии, тоже торжественных: там соборы Софии и Петра отождествляются с амбарами, ригами. Вообще — образность здесь «бедная»: дароносица как солнце, мир — яблоко простое, Евхаристия как вечный полдень. Самое вещное слово в этом стихотворении: яблоко. Яблочко (песня) было уже в его стихах о Федосии. Больше яблок в позднейших стихах, напр., в этой трижды повторенной строке: Два сонных яблока у века-властелина... (1924 г.). А солнца и всего *золотого* у Мандельштама всегда было вдоволь.

«Пиши безобразные стихи», призывал он (в статье «Сло-

во и культура», 1921 г.). Это стихотворение — почти «безобразное» (по сравнению со многими другими его стихами). Но есть в нем (как Мандельштам писал в той же статье) — внутренний образ: это совершающееся Таинство *и оно явно в метафорах не нуждается*. Да и раньше он писал прекрасные безобразные стихи, напр.: Только детские книги читать... (1908 г.).

Один православный священник-богослов сказал мне, что в этом стихотворении изумительно верно раскрывается литургическое Таинство, которое совершается в какой-то определенный момент, но и вне времени. Правда, некоторых православных недотёп здесь кое-что смущает: Все причащаются, играют и поют... Почему *играют*? Спрашивают они. В церкви играть не полагается... Но это и есть радостное богообщение, о котором еще прежде писал Мандельштам и, что существеннее, оно действительно выражает пасхальную радость православия. Если есть это «неисчерпаемое веселие», то можно играть с Отцом... Играют и православные, напр., катают яйца, хотя и не в храме. А в 4-м в., во время крестных ходов, христиане плясали и в церковных стенах (или садах). Но Терпсихора была осуждена Отцами церкви и порхала преимущественно в подполье, напр., у радеющих «Божиих людей» — хлыстов. Правда, пляски допускаются в эфиопской церкви, иногда у католиков (в Испании), в Америке у «шэкеров» (трясунов), и в некоторых американских протестантских храмах теперь. И уже конечно, можно в церкви *взыграть духом*, что, вероятно, и имел в виду Мандельштам.

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык...

Я уже говорил об эллинофильстве Мандельштама. Эллинское в христианстве было для него существеннее всего иудейского, римского или чего-нибудь другого, нового. Он, конечно, знал, что православное богослужение — создание эллинского гения. Может быть, он также связывал евхаристическое откровение вечности с эллинским раем в прошлом, с мечтой о золотом веке (1919 г.):

Где не едят преломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко.
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

Отмечу: русский язык Мандельштам считал эллинистическим («О природе слова», 1921 г.). Хотел ли он сказать, что многие славянизмы в нашем языке заимствованы у греков? Это неясно и я уже говорил, что стихи Мандельштама яснее и уж, конечно, значительнее его статей. Радости Эллады, в особенности первобытные, древние (в лесах Тайгета) он в своей поэзии совмещал с радостями христианскими, и вовлекал в христианство священные мечты греческого язычества. Протестантизм с отвращением откинул все языческое и усилил все ветхозаветное, а католики и православные, не отказываясь, конечно, от Ветхого Завета и, в особенности, вдохновляясь псалмами, как-то *окрестили язычество*. Византийские ангелы похожи на классических гениев, а изображения Богородицы иногда напоминают скорбящих жен на античных памятниках. То же делал и Мандельштам: христианизировал язычество.

Осип Эмильевич не крестился водой, но был крещен в Духе, и никто из русских поэтов такого пасхально-евхаристического стихотворения не написал. Он был «евхаристичен» и в жизни, и в поэзии, и не только когда воспевал соборы или леса Тайгета. Это также подтверждается любящими и умными комментариями Надежды Яковлевны в ее «Воспоминаниях». Она не раз говорит о способности Мандельштама жить настоящим и многому радоваться, даже в той мучительной растянутой агонии, в которой он жил в 30-х г.г.: «Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло бы только привести в отчаяние...»

Мандельштам не знал скрытых и иногда бессознательных манихейских заблуждений символистов или Бердяева. Влад. Соловьев, Блок, Белый романтически откладывали торжество духа в будущее — в Царство Вечной Женственности или в какую-то хоровую культуру (Вячеслав Иванов). Бердяев утверждал: полная свобода и реализация духа невозможны в истории, в искусстве, в быту, и он сам в себе находил патологическую брезгливость к жизни, к миру, ко всему, что не дух («Самопознание», 351). Мандельштам не грешил ни романтическим «футуризмом», ни брезгливой спиритуальностью. Его скорее можно назвать «классиком», как и Пушкина. Он жадно жил настоящим и прозревал в нем вечное. Это хорошо поняла Н. Я.: для Мандельштама, как и для всякого настоящего художника «каждая секунда объемна, изобильна, насы-

щена сама по себе, равносильна любой вечности». Я же писал: «из любой земной точки он подымался к земному небу свободы и братства» в вечности («Мосты», 13-14). И я счастлив, что мои догадки подтверждаются комментариями Н. Я. Вечное может раскрыться по горизонтали истории, в апокалиптическом конце истории, но нам доступно лишь раскрытие его по вертикали, и именно тут-теперь, как в евхаристии, как в евангелии, где самое слово *ныне* (нун, нунк) так часто встречается. Это хорошо знал Мандельштам, и человек, и поэт: поднявшись «по лесенке приставной» на сеновал он ловил там «эолийский чудесный строй...»

Все ценное в жизни Мандельштам называл веселием, вспоминает Н. Я. А в очерке о Пушкине и Скрябине он писал: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря милости христианства — есть отпущение на свободу игры, для духовного веселия, для свободного подражания Христу».

«Чувство беды», пишет Н. Я. «не могло пересилить (его) вечной и дикой радости, совершенного необъяснимого веселия, запертого в клетку стихотворения». Да:

И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

II. КРЕСТНАЯ МУКА

Образ беды, русской беды впервые промелькнул в поэзии Мандельштама незадолго до революции, в стихах о гибели царевича (вероятно, Названного Дмитрия). Во второй строфе Мандельштам как будто отождествляет себя с царевичем: По улицам меня везут без шапки... Но далее он говорит о нем в третьем лице. Здесь едва ли есть предчувствие собственной казни. Это скорее случайный мотив Смутного времени. Образ беды яснее, грознее в стихотворении об Исаакиевском соборе (1921 г.). Там Мандельштам обращается к соборам Софии и Петра:

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему вовеки не изменим:
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры

В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Это может означать: нужно быть с несчастными и с ними вместе преодолевать страх верой. Позднее он увидел в СССР униженную запуганную Россию и с ней разделил свою судьбу, но как мы знаем, в 20-х г.г. его еще мог соблазнять размах октябрьской революции. Все же, ощущение беды непрерывно усиливалось. Некоторые примеры: здесь пишет страх... сказал Мандельштам в «Грифельной оде» (1923 г.). В стихотворении «1 января 1924» появляется век-властелин: он, умирая, припадает к руке стареющего сына. Это, повидимому, прошлая культура («гуманизм»), который большевики уже начали выкорчевывать.

О времени в поэзии Мандельштама и других поэтов его эпохи несколько статей написал проф. В. И. Террас (одна из них была помещена в «Новом Журнале», 92, 1968). Он утверждает, что у Мандельштама было феноменальное чувство эпохи, истории. Об этом говорит в своих воспоминаниях и Н. Я. Добавлю: вместе с тем, он над временем возвышался и, поэтому, мог сказать: Нет, никогда ничей я не был современник... Следуя за французским философом Гастоном Башеляром, В. И. Террас говорит о времени-созидателе (духовных и эстетических ценностей): это творящее время, которое вдохновляло Мандельштама в «Камне» и в "Tristia", а в советской России он все чаще сталкивался с временем-разрушителем, истреблявшем не только старую эстетику, культуру, все эллинское и христианское, но и человека, любых «людишек», включая и самих коммунистов. Свою же песню он спел и о хорошем и о плохом времени...

После 1925 г. Мандельштам долго не писал стихов. Осенью 1930 г. его вдохновила Армения, ее «басенное христианство», и он возвращается к поэзии. В декабре этого года он пишет страдальчески жалостные стихи о Ленинграде, о погибших друзьях:

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Был умирающий век-властелин, целующий стареющего сына, а теперь на него кидается век-волкодав, и давит он не волков, а овец, которых этому псу надлежало бы охранять. Другие — будто бы шуточные, но тоже очень жалостные, слезные стихи посвящены еврейскому музыканту Александру Герцевичу-Сердцевичу-Скерцовичу (1931 г.). Тогда же в его лирику врывается каторжный фольклор (о бушлатнике). Мучат жуткие кошмары:

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу!

11 апреля 1931 г. Мандельштам пишет стихи «об астрах». Это здравица в честь дореволюционного прошлого и, в особенности, прославление Запада. Восхищается он не только тем, что прекрасно на Западе: музыкой сосен савойских (Ламартина) или маслом парижских картин. Он «пьет» и за вещи, казалось бы непривлекательные, будь то индустриальный бензин или колониальный хинин. Все ему на Западе мило. Образы Парижа, Рима и синего средиземного моря мелькают и в его изгнанических воронежских стихах.

Мандельштамы могли из России уехать: мы знаем со слов Н. Я., что в 1921 г. поэт-символист Юргис Балтрушайтис, литовский посланник в Москве, предлагал Осипу Эмильевичу оптировать литовское гражданство. Позднее Н. И. Бухарин готов был выхлопотать ему выездную визу, но в 30-х г.г. это было уже невозможно. А до этого он еще как-то мирился с советской действительностью. Может-быть, покинуть Россию ему не позволяла русская речь, русская поэзия. Повелительно-му диктанту русской музыки и судьбы подчинились и Ахматова, Пастернак. Те же богини пения и рока приманили Марину Цветаеву, которой они все же позволили прожить 17 лет за границей, где она написала лучшие свои стихи. Провиденциальность не исключает свободы воли. А воля бывает поверхностная, обусловленная житейскими соображениями и — глубокая, скрытая, движимая совестью художника, а также его человеческой совестью, и еще каким-то таинственными ангелами или демонами души. Но многое, конечно, зависит и от

трехстопные размеры (так, в «астрах» шестистопные амфибрахии). Это стихи замедленного дыхания, как и длинные ямбы 20-х г.г. (шестистопные в Евхаристии). Но было у него и короткое взволнованное дыхание, напр., во многих последних стихах: Научи меня, ласточка хилая... (трехстопные анапесты).

Язык и истолкование (никому не навязываемое). Есть предметность в этом стихотворении, есть «недобрая тяжесть», из которой он тоже «создает прекрасное», но уже не радостное, а скорбное. Много зловещего, как во всем волчьем цикле (что хорошо подметила и Н. Я.): дым, смола, деготь, (в этом контексте), еще плахи, железная рубаха, топорище. Можно было бы по материалам этого стихотворения написать историческое полотно из эпохи татарского ига. Или — петровскую казнь, которая ему мерещилась в Соликамске (вспоминает Н. Я.). На заднем плане был бы двор, где играют мальчишки: они зашибают на смерть городки. Это тоже казнь, но в игре. На переднем плане — нищий (может-быть юродивый) в железной рубахе (веригах). Такие «сцены» писал Суриков, но очень уж мелодраматически, не на уровне поэзии Мандельштама.

Героиня стихотворения: «моя речь» — поэзия. Императив «сохрани мою речь» обращен к Ахматовой, но явно и к другим поэтам, а также читателям, знающим и любящим поэзию.

Герой — поэт, создатель речи. Он непризнанный брат, отщепенец в народной семье (на своей родине). Еще один герой: отец, друг, грубый помощник. Отцом мог бы быть уже знакомый нам старый век эллинства, христианства, гуманизма. Но, может-быть, здесь проступают и черты нового века, не строителя, а разрушителя, грубого помощника («помогающего» погибнуть).

Первая строфа. В речи (поэзии) тот привкус несчастья, который был уже в стихах об Исаакии. Еще есть в ней липкая «смола кругового терпенья» (порабощенного большевиками народа). Еще — совестный деготь труда (может-быть, работа поэта не за страх, а за совесть и, вообще, честный труд). Отмечу: по словам Н. Я. эпитет «совестный» долго не давался Мандельштаму. Почему черная вода новгородских колодцев должна быть сладима (и какой это малоупотребительный глагол «сладить», да еще в причастии страдательного глагола). Чтобы в ней отразилась рождественская звезда (благая весть

новозаветной веры). А сладость не придает ли этой воде поэзия? Здесь поэтическая логика: *за* (то-то) *чтобы*... При этом «за» ассоциируется со стихотворением, незадолго до этого написанным: Я пью за военные астры... Но, если стихи «об астрах» за здоровье, то эти — за упокой.

Вторая строфа. Я уже говорил о героях этого стихотворения — об отце-веке и брате-поэте. Почему поэт «за это» (за несчастья, за Рождество) обещает построить колодезные срубы? Опять та же поэтическая логика: чтобы татарва (большевики?) опускали в эти срубы князей (поэтов?), т.е., чтобы они их мучили, губили. Туповатые фрейдисты обнаружат здесь мазохизм. А на самом деле — это сознательное принятие крестной муки. Н. Я. писала: в те годы Мандельштам «властно вел свою жизнь к гибели», хотя по ее же словам, он не имел «никакого влечения к мученичеству».

Он, «божественный мальчик» (как называла его Марина Цветаева), смешливый, беззаботный, хотел радостного богобщения, хотел весело играть в Божьем мире и тем самым прославлять Творца. Но уже «подрос» к этому времени другой Мандельштам, которого иногда принимали за старика, а было ему едва ли сорок лет (узнаем от Н. Я.) Он пошел по волчьему следу несчастья и через два года, возмущенный террором, коллективизацией, написал те обличительные стихи о Сталине-мужикоборце (Его толстые пальцы, как черви, жирны). Эти стихи были его смертным приговором, и он знал об этом, и все-таки читал их, и даже дал кому-то переписать. Так, совесть художника отождествилась с человеческой совестью, и повелела ему обличить тирана-палача: это было его «не могу молчать». Здесь голос Бога слился с голосом человека. Все же отмечу: эти стихи по звуку не мандельштамовские: сатира не была ему по душе. Эпиграмма на Сталина свидетельствует о гражданском мужестве Мандельштама, но не о его лирическом даровании. Однако, в данном случае политика была существеннее поэзии — политика, подсказанная совестью. Но детское в нем, уже старике, не было убито и в воронежской ссылке, в годы растянувшегося «приглашения на казнь» Сталиным. В 1936-37 г. он писал: Детский рот жует мякину, / Улыбается, жуя... Или: Вот оно мое небо ночное, / Пред которым, как мальчик стою... Также: Я наслаждаюсь величием равнин... Неограничена еще моя пора... хотя каждую ночь

ждал нового ареста и дважды покушался на самоубийство. Заливало горе, но радость еще не иссякла.

Были и соблазны: страх продиктовал славословие вождю. Летом 1935 г. он писал: Я должен жить, дыша и большевеея... Но этими козырями он не пытался обыгрывать... и они уже не могли ему помочь. Мандельштам боялся, отчаивался, но из всех русских писателей, кажется, только он один в 30-х г.г. так обличил-осудил жестокого диктатора, и уже в этом стихотворении (Сохрани мою речь...) готовился к неминуемой казни.

Третья строфа. Почему он хочет, чтобы его любили древние плахи, может-быть только бревна, но явно предназначенные для той казни, для которой он ищет топорщице в лесу? Не значит ли это, что орудие пытки (бадью), древесный материал для казни (плахи) и смерть, как настоящую, так и ненастоящую (в игре в городки), он вводит в свою речь — в поэзию, воспевает. А себя самого видит в железной рубахе, не в веригах ли юродивого?

Г. П. Федотов (в книге «Святые древней Руси») утверждал, что юродивые были чуть ли не единственными критиками строя Московской Руси. В новой Московии, в СССР, не занял ли их место Мандельштам, писавший иногда странно, темно, по-юродски (как могло казаться литературным чекистам), но все же достаточно ясно, чтобы можно было понять, что он осуждает, от чего отталкивается.

Все стихотворение в целом может-быть не до конца разгадывается, но оно ощутимо всеми пятью чувствами, и не только зрением и слухом: осязательна липкая смола, а дым имеет привкус и, конечно, запах. Какие вещие и зловещие стихи, но и упоительные, блаженные на вольной воле поэта, принимающего в свою поэзию и в свою жизнь крестную муку. Уныния нет: есть *празднование великой беды* — собственной и общерусской. Это скорбный гимн с ликующими интонациями, и в нем нет покаяния, а есть вольное приготовление к Голгофе.

Не веря воскресенья чуду... писал Мандельштам в стихах, посвященных Марине Цветаевой (1916 г.). Может-быть, он и не верил, но чудесным образом воскрешал любое *сейчас*, останавливал мгновение в стихах или же в тех немногих, все менее доступных ему радостях жизни.

Христиане молятся Богу и часто о чем-то Его просят. В поэзии Мандельштама просительных молитв нет, как и покаянных. Его поэзия — славословие Творцу. Это радостное пасхальное богообщение в Евхаристии: Все причащаются, играют и поют... Это и скорбное великопостное служение: Столетних панихид блуждающий призрак, / Широкий вынос плащаницы... (здесь я отдаю предпочтение первому варианту этих строк). Все есть в его стихах: и золотое солнце дароносицы, и привкус несчастья и дыма, и еще обличение века-волкодава. И о чем бы он ни говорил, всегда звучало в его поэзии «блаженное, бессмысленное слово». Почему бессмысленное? Ведь Мандельштам, писала Н. Я., называл себя *смысловиком* и его не соблазняло «самовитое слово» Хлебникова. Бессмысленно его слово тем, что оно многосмысленно и радует нас не только смыслом или смыслами, а и волшебными звуками, о которых писал еще Пушкин. В «Евгении Онегине» поэзия определяется, как ...союз / Волшебных звуков, чувств и дум. Все вечное, небесное, райское, но печальное тоже, — полнее всего раскрылось в блаженном, бессмысленном слове Мандельштама и в волшебных звуках, чувствах, думах Пушкина. Есть волшебство в стихах и многих других русских поэтов, но самые — на мой взгляд — благодатные из них — Пушкин и Мандельштам.

Мандельштам родился для игр, а погиб оттого, что не мог не сказать правду. В годы беззаботной юности «серебряного века» он писал:

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

Какая там смерть, думалось ему, когда столько счастья в мире и в искусстве. Эти его стихи, пишет Н. Я., смертник нацарапал на стене камеры. Осип Мандельштам был *настоящий* и жил *настоящим* и пришла к нему *настоящая* смерть, но разве окончательная? Он испытывал внемсмертное блаженство в радостях жизни и в «шуме стихотворства».

А любящее сердце, шепнет: лучше бы он не писал стихов, не вовлекался бы в русскую поэзию, не разделял бы русскую судьбу с другими жертвами лихолетья, и благополучно празд-

новал бы в этом году восьмидесятилетие: он родился 3/15 января 1891 г.

Но он вовлекся, разделил и погиб. Остались стихи:

Весть летит светопыльной дорогою —
Я не Лейпциг (и) не Ватерлоо,
Я не Битва Народов. Я — новое, —
От меня будет свету светло.

(Воронеж, начало 1937 г.)

Юрий Иваск

ЗАВЕТЫ

Народной мудрости плоды
Предохраняют от беды,
Хотя искусство где-то с краю,
Ему они напоминают,

Без идиллических затей,
Что не учась не сплесть лаптей,
Что никакой сноровкой быстрой
Не высечешь из мыла искры,

Что боль у каждого своя,
Что басни не для соловья,
Что не спасёт ума палата
Тех, в ком рассудка маловато.

Всё это так, а потому
Не слишком доверяй уму,
Юродствуя искусства ради
В себе самом, не на эстраде.

И чтобы не плутать в пути,
Поэзия, Господь прости,
Как Пушкин утверждал когда-то,
Слегка должна быть глуповата.

Глеб Глинка.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ НА КАВКАЗЕ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

И встает передо мной другая картина: посещение и осмотр развалин храма Зварт-Нотц под Ереванью. В этой поездке нас сопровождал М. С. Сарьян. Молчаливый, медлительный, но тонкий и чуткий художник, он был как раз таким спутником, какого ценил Б. Н. Без лишних слов, разговоров, он умел показать самое главное, отметить основной и характерный штрих.

Отъезд был назначен на раннее утро, и мы давно уже ждали Сарьяна, волнуясь, что он запоздал, что будет уже слишком жарко. Наконец-то машина подъехала. Мы быстро уселись, обменявшись коротким приветствием. Солнце порядочно жгло, несмотря на то, что час был все еще ранний. Машина рванулась, и мы понеслись среди глиняных стен приереванских садов. Высокие пирамидальные тополя бросали острые стрелки теней. Мы жадно ловили эти кусочки прохлады. Жар нарастал. Впереди — дымно желтая даль, обожженная солнцем. Пыльной лентой туда убегало шоссе. Оно было пустынно. Лишь изредка мчалась навстречу машина или скрипели колеса арбы. Казалось дороге не будет конца. Шевелились неясные мысли: не вернуться ли домой, под защиту спасительных стен? Было мучительно видеть сухой, безотрадный простор, глотавший нас пылью.

Вдруг — резкий сворот машины налево: от шоссе отделилась узкая колея, обсаженная, как показалось, желтой акацией. Но пряный особенный запах, плеснувший в лицо, показал, что ошиблись.

— Оливки! обрадовался Б. Н., узнавая пленивший его еще в Коктебеле за несколько лет перед тем «сладостный» запах. — У нас это дерево называется *пшат*, — поправил его М. С. Сарьян. — В конце аллеи и будет Зварт-Нотц, — добавил он каким-то особо торжественным тоном, будто без слов говорил: «Приготовьтесь».

Б. Н. на это весь насторожился и вытянулся: увидеть «Зварт-Нотц», древнейший из храмов Армении, о котором было уже прочитано им все, что удалось найти в Ереванской библиотеке, — вслушаться здесь, среди развалин, в «застывшую музыку старых столетий», коснуться рукою священных руин.

— Вот: приехали... выходите, — произнес М. С. Сарьян почти шопотом, также взволнованный, настороженный.

Машина стояла теперь среди зарослей пшата. Мы не видели перед собой ничего, кроме кривых перепутанных веток суковатых кустов. В невольном молчании ступили мы на старую, старую землю. Б. Н. побледнел и как-то строго весь выпрямился, готовясь увидеть дошедший до нас «след глубоких веков». «Excelsior!» — казалось, произносил он без слов.

Мы тихо двинулись, отстраняя нависшие ветки. Ожидание, как электрический ток, разлилось в жарком воздухе и почти сковало нас.

Впечатление стало безмерным, когда через 10-15 шагов кусты расступились и мы оказались на обширной площадке. Повсюду кругом возвышались развалины, осколки колонн, стен, карнизов лежали у ног.

М. С. опять произнес: «— Вот и Зварт-Нотц...» — В том же молчании мы вступили на устланный серожелтыми плитами пол, забродили среди колоссальных обломков, покрытых тонкой резьбой. Входили под своды, нависшие грудой высоких полуобрушенных арок. Едва проползали сквозь какие-то полутрещины, полудвери. Спускались по лесенкам, рассматривали вделанный в стену очаг: сколько веков назад горел здесь огонь и готовилась пища.

М. С. давал короткие объяснения и умолкал. Вдруг Б. Н. крепко сжал мою руку и дернул к себе. Я испуганно оглянулась, не понимая что с ним. Он стоял неподвижно. Взгляд был направлен куда-то поверх обступивших обломков колонн. Я взглянула туда же. Направо от нас и налево, высоко в расплавленном небе сверкали снега Арарата и Алагеза. Предгория их занимали пол-горизонта. А величавые главы прозрачно светились в своих белоснежных венцах. Монументальная красота нас окружавших руин показалась почти нестерпимой на этом «возвышенном» фоне. Здесь Зварт-Нотц, грандиознейший некогда храм, затерялся, как еле заметная кучка камней. «Он,

казалось, тонул в необозримом, сухом, золото-сером пылающем море Армянской равнины. Громады распавшихся цоколей, толщи обрушенных стен, возле которых страшно было стоять, казались песчинками перед лицом просиявших серебряных 'старцев Армении'.

— Природа и здесь победила, — прошептал Б. Н., — не может быть, чтобы строители не учли этого «фона» и не включили его в замысел возводимой постройки...

— Нет, это же невозможно!... — оборвал он, не договарив. И показывал вниз, себе под ноги.

Там, среди треснувших плит замощенного пола, на тонких сухих стебельках плескались в ветре и в солнце огоньки алых маленьких маков. Это было единственное цветковое и живое пятно в гамме древних золото-серых тонов.

Контраст этого милого («прелестного») еще острее подчеркивал тонким и нежным штрихом монументальную мощь всей картины.

Б. Н. молчал. Громко и сухо звенели цикады. В воздухе теплыми волнами плыл аромат цветущего пшата, пряный и сладкий, тоже «древний» какой-то.

И веяли грезы далеких, далеких времен.

Бывало порой, что Б. Н. спохватывался: «Надо бы завести записную книжонку». — И закупал сразу две или три «про запас». Долгое время они пустовали. При случае в них заносились сперва адреса, телефоны, встречи с людьми, да списки закупок в аптеке, на почте.

Потом сразу, чуть ли не в один день, заполнялись набросками для литературных работ или заметками о посещении выставок, лекций, музеев. Впечатлений же от природы Б. Н. в них так и не записывал. Для этих записей предназначался дневник. Так в конце каждого дня подводились итоги: где были, что видели. Записи же находу, во время прогулки были бы только помехой.

Вместо них у Б. Н. был свой особый «прием», чтобы удерживать в памяти нужное. Этот прием запоминания Б. Н. шутя называл «мой кодак». И мог ввести в заблуждение людей, его мало знавших, когда весело уверял: «Всегда ношу с собой свой кодак. Очень удобная штука. Прицелишься — щелк! И — готово: картинка защелкнута».

Этот своеобразный «кодак» вполне заменял все блокноты.

Б. Н. много раз объяснял мне подробно устройство «занятной машинки». «Кодаком» Б. Н. называл особенность своей памяти, которую сам же в себе подсмотрел, и владеть которой учился годами, проделывая для этого целый ряд «*sui generis*» упражнений. Но открылась она произвольно, с раннего детства, вне всяких усилий или намерений с его стороны. Он говорил, что умеет запоминать, так сказать, «впрок», для будущего. В каждый данный момент нельзя познать всё обилие поступающих впечатлений, не создавая нагромождений, пестрого хаоса. Происходит невольный отбор: осознается лишь малая часть; она то и доходит у вас до сознания и составляет содержание памяти. Остальное проходит как бы бесследно. Его как и не было: память его не хранит. Но Б. Н. умел сохранять это при помощи своего «кодака». Он вел как бы двойной, тройной и более набор впечатлений. И говорил, что поступает при этом совсем как фотограф, который «защелкивает» в свой аппарат всё, что ему приглянется, проявляет же эти пластинки не сразу. Может случиться, что иная из них пролежит непроявленной годы.

По иному еще он называл это: «мой дальний ящик». Отложения этого «дальнего ящика» могли быть проявлены в любую минуту, когда лишь к тому представлялся соответственный повод.

Память Б. Н. казалась совсем безграничной. Но заранее, без нужды, он и сам не знал о том, что в ней хранится. «Защелкивал» он на «кодак» помимо сознания; *сознания* — да, по не *воли*; воля тут принимала участие, но каким-то своеобразным путем, исходя не из сознательных, а из других, более глубоко в нас заложенных центров. В этом, бессознательно-волевым, но все же *волевым* отборе и заключалась трудность для понимания устройства той «любопытной машинки», которую Б. Н. называл «мой кодак».

Когда Б. Н. начинал всматриваться в прошлое, сосредотачиваясь на нужном моменте (лицо, событие, место) — прошлое в нем оживало. Он разглядывал его, изучал; сравнивал свои прежние воспоминания с теми, какие предстали теперь; и переоценивал, *осмыслял* всё по новому. И нужно было слышать его в такие минуты. Казалось невероятным, что это — лишь *воспоминания*, что все это было уже очень давно.

Время точно поворачивало назад свой поток. И выносило все новые, новые образы, детали, штрихи.

Как раз в те минуты, когда «кодак» безостановочно «шел-кал», и я знала, что Б. Н. едва успевает «хватать», казался он внешне необычайно рассеянным. На самом деле зоркость его лишь усиливалась и рассеянность была обманчива. Она опускалась, как заградительный щит, между *сознанием* и «кодаком», чтобы сознание не мешало напряженной работе последнего. Взгляд Б. Н. суживался, вбирался в себя. Глаза быстро перелетали от предмета к предмету, ни на одном не задерживаясь. Он явно *не видел*. Казалось даже, что глазами он *мыслит* теперь. А сила зрения точно отделившись от глаз, окружает его сплошным зрительным органом.

Тогда говорили: «— Ах, Б. Н. ужасно рассеян... Он не видит совсем окружающего». Б. Н. знал о себе эти отзывы. И не оспаривал. «Пусть так думают. Не объяснишь. Но если бы знали, *что* видит именно этот, рассеянный Б. Н.!» Об этом говорит он в своих «Масках»: «Наблюдательность с учетверенною силой, как кодаками, нащелкивала свои снимки».

Однако, ценя свой «кодак», и пользуясь им постоянно, Б. Н. не считал его какой-то непогрешимой панацеей против власти времени, стирающего и изменяющего в нашей памяти контуры прошлого. Особенно не надеялся он на себя в смысле сохранения географических и графических точных воспоминаний о какой-нибудь местности.

«Удержится только экстракт, настроение, импрессия. Точные линии, формы сотрутся. Воображение вмешается и пририсует свое. Мой кодак — все же не фотография. Он больше направлен на глубину, может быть, четвертое измерение (время-пространство). Но для второго и третьего достовернее перед глазами иметь положительный фотографический снимок».

И Б. Н. искал эти снимки. Вспоминал, как при писании «Путевых заметок» помогли ему простые открытки, которые пачками он накупал в Италии, в Тунисе, в Египте. То же самое пытался он сделать теперь на Кавказе, — в Батуми, Тифлисе, в Армении. Но потерпел неудачу. Выбор открыток и снимков был слишком скудным. Тогда-то желание хоть как-нибудь закрепить характерные мелочи посещаемых мест толкнуло его к зарисовкам. Так появились его кавказские рисунки.

Он их начал шутя, для забавы. Рисовал сперва каранда-

шем (в 27 году в Цихис-Дзири): — «Осенью, в Кучике, когда польются дожди, будет приятно развернуть эти листики и вспомнить, в какой роскоши жили мы летом».

Он набросал тогда фасад нашей дачи, веранду, башенку, где была его комната, балкон при ней, вид на залив и на старую крепость оттуда. Первый план на рисунках заняло то, что поразило нас больше всего в Цихис-Дзири: «буйство» тропической зелени. Пальмы, чинары, бамбук, виноградные листья были подчеркнуты в своих «гигантских» размерах. И лишь на втором только плане отметился романтический стиль цихис-дзирских ландшафтов.

В следующие приезды увлечение рисунками продолжалось. Готовых открыток опять не оказывалось. А в планах Б. Н. наметился новый том своего рода продолжения «Путевых заметок». Кроме того, он предполагал перенести на Кавказ место действия III тома романа «Москва», поселив профессора Коробкина на время в Коджорах. Делал обширные записи в «Дневнике» и в дополнение к ним «пририсовывал». В Ереване, в Схвители — все еще карандашом. Но в Коджорах и в Красной Поляне уже карандаш был бессилён. И Б. Н. перешел на акварель. При втором посещении Коджор рисование стало страстью. «Мастерская» Б. Н-ча расширялась. Из своей комнаты он уже въехал в мою. На всех столах появились в обилии блюдца с водой, бумажки с пробами красочных пятен, ассортимент красок, наборы кистей, правда, самых неприятельных, закупленных в первом попавшемся магазинчике.

Б. Н. художником себя вовсе не мнил и довольствовался весьма малым: лишь бы краска красила, да не лохматилась кисть. Для рисунков он выбирал бумагу нарочно «похуже», и больше всего любил рисовать на клочках и обрывках. «Тогда лучше выходит. А на хорошей очень уж страшно. Какой я художник! Прямой линии провести не умею».

В Коджорах кто-то узнал, что Б. Н. «рисует», привез ему из Тифлиса в подарок прекрасный, обтянутый парусиной альбом и угольный карандаш. Б. Н. благодарил, восхищался «роскошным» подарком, пробовал толщину бумаги, выражая свое удовольствие. «Не промокнет. Краски не поплывут, не размажутся. Прекрасная вещь!» Но к подарку потом не притронулся и продолжал «мазать» по-прежнему на клочках.

Начинал он с того, что во время прогулки карандашом

набрасывал схему, размечая цвета и оттенки. Колорит же запоминал «наизусть». Дома доделывал. И на это шли целые дни. Технических знаний в сфере живописи у Б. Н. не было. Делал все наугад, изобретал и придумывал свои способы. Главная цель была — получить основной колорит, добиться гармонии линий и красок. Для этого он делал прежде всего «загрунтовку», т.е. весь лист покрывал тонким слоем отобранной краски, с тем расчетом, что потом она будет просвечивать и в смешении с остальными даст рисунку желанную цельность.

«Загрунтовочный» цвет Б. Н. тщательно, долго продумывал. Нужно было предугадать, что получится при наложении дальнейших оттенков, появится ли тогда ожидаемый нужный эффект. Не обладая техническим опытом в смешении цветов на бумаге, предугадать это заранее трудно. И Б. Н. пережил здесь немало волнений. Да и самое качество красок (едва ли не детских!) часто портило дело. Б. Н. рассчитывал на ультрамарин, как значилось в тюбике, а получались тона васильковые; фиолетовая оказывалась сиренево-серой, розовая отливала в вишнёвую. Хуже всего обстояло с белилами: они — то блестели, как клей, и не впитывали в себя других красок, то — ложились грязной, свинцовой замазкой. Сколько «снежных вершин», сколько «хребтов» было загублено из-за этих белил; сколько «облаков» и «туманов» погибло! Отчаявшись, Б. Н. прибегал даже к... зубному порошку.

Решая вопрос о загрунтовочном цвете, он волновался не на шутку: момент «крайне ответственный», неправильный выбор может всё «провалить». Затем шла раскраска, выявление разных тонов. При плохом качестве кистей и красок, — процесс в достаточной мере мучительный. Кисть то царапала, то лохматилась, то разлезалась по волоску. Не лучше и с красками: одна рассыпалась в песок нерастворимыми зёрнами, другая ложилась неровными сгустками, третья «откровенно» не красила. В изнеможении Б. Н. вскакивал: «Нет, больше я не могу! Разорву и конец! Это какой-то мартириум! Нечего сказать: отдых! Хорош отдых! Хлопот полон рот... Пусть кто хочет так отдыхает. Я — нет, не желаю. Мне и зимой предстоит сидеть не разгибаясь... Идем погулять! Проживешь и Коджор не увидишь из-за этой мазни», — и он с отвращением брал в руки отброшенный листик. Вдруг замолкал, начинал пристально вглядываться. Машинально опускался на стул. И

через минуту, забыв о прогулке, опять с ожесточением «мазал».

Когда рисунок вчерне был готов, то в иных случаях Б. Н. применял еще один способ: это — «промыв». «Промыв» заключался в том, чтобы весь лист с готовым рисунком, когда краски подсохнут, сразу, как можно быстрее, покрыть тонким слоем воды. Для такой процедуры требовалась «смелость», решительность, точность глаз и руки. Нужно было «бесстрашное» владение кистью. Ничего не стоило одним неверным движением испортить труд нескольких дней: «перепромыть», т.е. взять слишком много воды, смыть какой-нибудь тонкий оттенок или посадить «роковое» пятно. Я не помню, чтобы этот «промыв» фактически окончился когда-нибудь «катастрофой». Но неизбежность такой «катастрофы» всегда предрекалась Б. Н. Право, казалось порой, что иной хирург на операции волнуется меньше.

При «промыве» мое участие было необходимо. Стоя, — чтобы свободнее двигать рукой, — Б. Н. не отрывал глаз от бумаги и отрывисто вскрикивал:

«Еще воды!... Тряпку... Поверни лист... этот... этот вот угол... Левый... Да *левый* же!... — поднимал он голос до крика. — Скорее... Кисть... Другую... Где же промокашки?... Ай, будет пятно... Перемочил!... Нет, ничего: контур остался... Ну, готово... Не трогай, не трогай... Размажется!...»

Оба мы вне себя, раскрасневшись, метались туда и сюда. Позабыв обо всем, кроме лежащего перед нами клочка бумаги, ошеломленно поглядывали то на «клочек», то друг на друга.

Наконец Б. Н. опускался на стул и ласково улыбаясь говорил совсем другим тоном: «Прости! Опять накричал... Проклятый промыв!... Нет, больше не стану так рисковать!»

Цель «промыва» была та же, что и «загрунтовки»: достигнуть единства и цельности тона.

Так же «загрунтовывал» и «промывал» он свои художественные произведения.

«Мазня с красками», по словам Б. Н., была прекрасной отяжкой от мыслей. Но в конце концов и она утомляла порядком. Больше всего страдали глаза. В них поднималась жестокая «резь» и чтобы ее успокоить, Б. Н. прибегал к компрессам из борной, принужденный на несколько дней бросить кисть. В «горячий» момент он проводил над рисунком все утро и

вечер. Перерыв делался лишь для отдыха после обеда. Если я предлагала гулять, дать глазам передышку, он упорно отказывался: «Выйдешь — рассеешься!» Говорил таким тоном, будто его отрывали от серьезной работы.

Но когда на него находил «прогулочный стих», то он не знал ни меры, ни удержа. Мы гуляли, гуляли, гуляли: утром, днем, вечером, перед сном. И Б. Н. был неутомим и предпримчив неисчерпаемо в этих прогулках.

«Идем, идем, — тащил он меня, — что под крышей сидеть!... В Кучине насидимся. Не так то скоро попадем опять в эти места». И мы отправлялись.

Больше всего его влекли к себе горы. Ходить по дорогам он не любил. Было скучно «топтаться» по исхоженным тропкам. Он стремился сойти с дороги и самому «прокладывать путь». Неизвестное манило его, ему казалось, что в каждой местности должны быть уголки, о красоте которых не знают Путеводители. Я шутила, что он хочет быть новым Колумбом и на удивление всем открыть еще раз Америку. Б. Н. смеялся, сердился: «Оставь! Какой я Колумб!»... — но делал по своему.

Сколько раз мы блуждали от этого, сколько раз почти ссорились. Сокращая пути к «интересной» вершине, попадали в глухие, колючие заросли или лезли вверх по кручам среди кустов, потеряв направление. Б. Н. громко и горестно упрекал меня в отсутствии инициативы, в пассивности. А я его — в эгоизме, в беспроком искании *новых* путей. Оба были взволнованы и полны негодования не на шутку. Своя правота казалась бесспорной. И — таилась надежда: перевлечь противника на свою сторону. Разойтись же и предоставить друг друга его желаниям и вкусам — никак не могли: как же так, — *бросить!*

Наконец устанавливалось соглашение: я пойду по дороге, а Б. Н. там, где ему хочется, но «не слишком рискуя» и помня, что я за него беспокоюсь. В «неопасных» но интересных местах он будет меня подзывать.

Взволнованное лицо его озарялось тогда детски счастливой улыбкой, и Б. Н. с ликующим видом бросался к «желанным высотам», карабкался, перепрыгивал с камня на камень. Находу он беспрестанно оглядывался и кивал мне в знак ободрения.

Лазил он великолепно: легко и бесстрашно. Будто весь

век жил в горах. Головокружения никогда не испытывал, и никакой высоты не боялся. Напротив, чем выше и круче был обрыв под ногами, тем смелее и предприимчивей он становился.

Добравшись до особенно интересного места, он останавливался, распрямлялся и начинал свой «обзор». Оглядевшись, кричал мне подробно о том, что теперь видит, как все изменилось. Восхищался, насколько здесь лучше, чем внизу, в моем тесном «защеме». Звал к себе: нетерпеливо доказывал, что подъем пустяковый, что страшного нет. Когда же я медлила, он начинал все больше и больше сердиться, досадуя, что я такая трусиха, что «этак» мне никогда ничего не увидать.

По правде сказать, мне было тогда не до видов. В пылу убеждения Б. Н. так метался, так рвался, ожесточенно махая руками, что у меня была одна мысль: «Только бы не сорвался! Вот, не глядя шагает и... что тогда делать!»

Чтобы его успокоить, кое-как начинала и я ползти вверх.

Страх за Б. Н. особенно вырос во мне после одного случая в Коджорах. Это было у «замка Разбойника». Б. Н., по обыкновению, ушел вперед, а я потихоньку следовала за ним на довольно большом расстоянии. Вдруг ему показалось, — он все время оглядывался, где я, — что меня кто-то хочет обидеть (мимо шли пастухи, попросившие у меня папирос). В ту же секунду, не разбирая, что под ногами, громко крича какие-то угрозы и отчаянно потрясая палкой в воздухе, Б. Н. стремглав ринулся с кручи: на помощь! Я застыла на месте от ужаса. Как он не разбился о камни — не понимаю. И хотя он уверял, что прекрасно все помнил, что у него безошибочный инстинкт лазуна, меня это не успокоило: «Один раз сошло. А другой — неизвестно». И я стала бояться несчастного случая.

А он теребил: «Не затем же приехали в горы, чтобы громить тротуары. Тоска... Что тут увидишь: в дыре», — он демонстративно, с презрением поворачивал голову, сердито и быстро поглядывал на меня, чтобы видеть, как я реагирую на его заявление.

Загорался опять старый спор. И после взаимных упреков — опять примирение. Иногда он шутливо жалел меня: «Бедненькая! Как это грустно: головокружение... Прости, что кричу... Ну, пойдем. Пойдем низом. И здесь хорошо. Видишь, какой

прекрасный зигзаг впереди... Ах! Что это там?» И уже, забыв обо всем, Б. Н. далеко: наклонился, заглядывает, повисая над краем обрыва. «Заглянуть сверху вниз» — было в нем почти страстью. Так в детстве ломал он игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри, так потом переворачивал все «на обратную сторону».

Он искал на Кавказе сухих «изошреннейших» пиков, острых «пальцев», т.е. остатков от выветренных горных пород, жесткой щетиною покрывающих скаты. Эти «пальцы» поразили его своей дикой красотой в Альпах, в Швейцарии. В сборнике «После разлуки», в стихотворении «В горах» есть строчки: «...Отовсюду приподнялись, — О сколькие, колкие елки — Высвистом порывистым ввысь». Конечно, здесь имеются в виду и «елки» — деревья. Но смысл образа шире.

И вот, на Кавказе ни «пиков», ни «пальцев» почти не встречалось. После тщетных поисков и ожиданий Б. Н. решил: «Кавказ моложе: века не успели еще так поработать на нем.¹ Слишком много здесь залежи, слишком обильны леса. Или, может-быть, это мы обреченно вращаемся на периферии, и в самые тайники не довелось нам проникнуть.

Он внимательно изучал Путеводитель, следил по большой разостланной на столе карте, и сокрушался, что самое интересное на Кавказе для нас заповедано. Из-за отсутствия горных дорог мы попадем лишь в зону «преlestного» («reizend»). А Б. Н. влекло к себе сурово прекрасное «Hoch»: благородные обнаженные земли, «гололобы глыбины», базальты, граниты и мхи.

В Тифлисе нам сильно расхваливали дорогу на Бакуриани, в горах над Боржомом. «Что Швейцария! Вот поезжайте на Бакуриани...» И мы поехали. Разочарование полное: «Слишком зелено, слишком уютно...»

Б. Н. снова брался за Путеводитель. «Ведь вот, здесь сказано: снежные горы, дикий суровый ландшафт. Мне это

¹ Как Б. Н. был бы доволен, если бы мог прочитать заметку Н. Сергеева «Возраст кавказских гранитов» (Известия, 14. X. 1935). В ней говорится: «Нами получены новые данные о возрасте гранитов осевой части Кавказского хребта. Эти граниты, до сих пор считавшиеся принадлежащими к древнейшей эпохе земли — докембрийской — неожиданно «молодеют» на несколько геологических периодов. Повидимому образование их нужно отнести к мезозою».

и надо. Смотрю: как проехать? Никак... Сперва по железной дороге. Потом от станции такой то — в экипаже, потом верхом. Остаток пути — пешеходная тропка. Где же это мне в мои годы и со слабым здоровьем! Еще верхом я бы мог», — огорченно захлопывал он Путеводитель.

Только в Армении и в Коджорах несколько насытился его «горный голод». «Колких елок» и «диких пиков» здесь, правда, также не было, но в Армении их заменило ощущение «колыбели истории», величественный ритм Арарата, который господствует над всей страной. Пленили «золотые кони» Гехарда, — импрессия гигантских размывов золотисто-желтых пород, повиснувших над маленьким монастырем, утонувшим в глициниях, миндалях и белых акациях. Пленили и дымко-синие «стражи» Севана, — сумрачно прекрасные вершины хребтов, поднявшихся над этим чудесным озером-морем, высоко взнесенным на лад-Ереванским плато. И еще многое, многое.

А в Коджорах были неотразимы «просторы высот». Единственный, как говорили нам, по широте вид с коджорской вершины. Там, над взволнованным морем «хребтов и хребетиков», по краям горизонта ежедневно всплывали и таяли *новые* очертания *тех же* все горных цепей Армении, Дагестана, Кахетии, Большого Кавказа, Сурама. Намечался пролет Военно-Грузинской дороги. И тающим золото-розовым воздухом простиралась необозримая азербайджанская степь, чуть подернутая васильковым атласом Куры.

Было на что посмотреть. И Б. Н. выбрал Коджоры, как постоянное место «возврата», место, где он лучше и полнее всего «отдыхал». «Вернуться еще раз в Коджоры»... — оставалось горячей мечтой его до конца.

Клавдия Бугаева

С. В. РАХМАНИНОВ

ХАРАКТЕР С. В.

О характере С. В.-ча могу сказать, что это был благородный, добрый, исключительно честный и прямой в своих суждениях человек. Он был очень строг не только к другим, он требовал и от себя того же, что и от других. С. В. не боялся говорить самую жестокую правду другим в лицо, что нередко приводило меня в изумление и смущение. Он был очень нетерпелив и если надо было что-нибудь сделать, то он хотел, чтобы это было исполнено немедленно. С. В. был необычайно акуратен. Ни на поезда, ни на концерты, ни на приглашения в гости никогда не опаздывал. Никогда не делал из себя гранд-сеньора, заставляющего себя ждать. Был скромн в разговорах и поведении, но держал себя с достоинством. Не думаю, что он когда-либо забывал нанесенную ему обиду, хотя никогда не говорил о ней потом. Если он действительно был очень разсержен, то голос его прерывался и выражение лица становилось страшным. Я всегда могла судить о его настроении по его лицу, которое ничего не умело скрывать, главное по выражению его губ, которые я шутя называла барометром его восприятий и настроения. Голос у него был очень низкий, глухой, однотонный. Говорил всегда очень тихо, так что я часто замечала, что люди, видевшие его в первый раз, прислушивались, стараясь понять, что он говорит.

Живя в России С. В. обходился без секретаря, попав в Америку он не мог обойтись со своей корреспонденцией без помощи. Первые два или три года к нему ежедневно приходила молодая датчанка, любительница музыки, хорошо знавшая английский и немецкий языки и условия жизни в Америке. Когда она вышла замуж место секретаря занял Е. И. Сомов,

Мы печатаем второй отрывок из воспоминаний жены С. В. Рахманинова — Наталии Александровны. Первый отрывок см. кн. 100 «Н. Ж.» Рукопись этих воспоминаний передана нам С. А. Сатиной, за что мы приносим С. А. благодарность. РЕД.

которого мы все хорошо знали еще в Москве. Он был товарищем моего младшего брата в Университете. Последние три года, когда Е. И. Сомов помогал работе М. А. Чехова в его студии, секретарем С. В. был Н. Б. Мандровский.

С. В. был очень акуратен со своей корреспонденцией и каждое утро до начала своих занятий на ф.п. он проводил около часа со своим секретарем, проверяя и подписывая письма, продиктованные им накануне и переведенные на английский после его ухода секретарем. Потом он диктовал ответы на новые письма. После этого он играл часа два и уходил перед завтраком на пол-часа погулять.

Он много курил. Я постоянно умоляла его не курить, приставала к нему, чтобы он бросил, даже написала ему, живя в Дрездене, пропись: «брось курить — будешь здоров», поставила ее ему в рамке на письменный стол и в конце концов добилась своего. Он действительно перестал курить! Не курил в течение нескольких месяцев и уехал в Петербург играть в одном из концертов Зилоти. Каково же было мое разочарование, когда я после его возвращения опять увидала его курящим. Оказывается, по приезде в Петербург, встречавший его Зилоти первым делом предложил ему папиросу. На заявление С. В-ча, что он больше не курит Зилоти закричал: «Да брось эти глупости! На, вот тебе хорошая папироса!» Надо все-таки признаться, что пока С. В. не курил он часто бывал в плохом и каком-то угнетенном настроении.

Небольшой круг симпатичных ему людей был необходим для С. В. Он скучал без людей. Да ему конечно нужно было отвлечься, посмеяться, поговорить с друзьями после напряженной работы. В России у него было несколько друзей и приятелей-музыкантов, он часто ходил к ним или звал их к себе; были и просто друзья с которыми он любил поиграть в винт. Я устраивала ему такие вечера и в Москве и в Нью Йорке. Поиграв в карты садились обычно за простой холодный ужин и, поспорив и посмеявшись, мирно расходились по домам. В Нью Йорке за отсутствием друзей игравших в винт, С. В. играл обыкновенно в преферанс. Его часто приглашали А. В. Грейнер и его жена. «Александра Феоктистовна! А Александр Васильевич опять без двух на птичке остался», раздавался довольный голос С. В-ча.

Первые годы нашего пребывания в Америке С. В-ча очень

часто приглашали в гости американцы. Американцы ведь очень гостеприимны. Но это всегда очень утомляло С. В-ча. Он скоро начал отказываться от этих приглашений и редко появлялся в обществе. Исключение он делал лишь для директора фирмы Стейнвей и его жены, которых он очень любил. Там собирались обычно артисты и он с удовольствием проводил с ними вечера. Раз, во время пребывания Художественного Театра в Нью Йорке, г-жа Стейнвей пригласила нас всех на обед. В числе приглашенных были Станиславский, Москвин, Книппер, скрипач Ауэр с женой и др. Была очень теплая и уютная компания. После великолепного обеда с шампанским все пришли в веселое настроение, г-жа Ауэр села за рояль и стала играть. Кто-то потребовал «русскую» и моя дочь Ирина и Москвин начали плясать. Было очень забавно наблюдать за Москвиным, который плясал ухарски, изображая какого-то подмастерья. Все так разошлись, было так весело, что было жалко уезжать, когда нам объявили, что пора ехать на другой вечер, в другой дом. А там, когда жена Стейнвея рассказала про «русскую» и успех Москвина и Ирины, все гости начали упрашивать Москвина повторить танец. Москвин почему-то отказывался, отнекивался и так и не согласился несмотря на убедительные просьбы гостей. Мы узнали потом причину его отказа. При всем желании он не мог исполнить просьбы американцев, т.к. у него лопнул шов по всей важной части его туалета.

Азартных игр С. В. не любил и никогда в них не играл. Когда мы были с ним в Монте Карло, то он и в рулетку не играл. Пошел только раз да и то из-за меня. Я непременно хотела попробовать свою удачу. Он заранее решил поставить на три номера, как то вычислив их из года когда был написан его второй концерт, и выиграл на все три номера несколько тысяч франков. А я все время проигрывала. Когда настало время обеда я отказалась уходить. Он ушел вместе с Фоли, который был с нами, а я осталась проигрывать дальше.

По вечерам, после занятий С. В. любил раскладывать пасьянсы или старался складывать картинку распиленную и разрозненную на небольшие куски. С. В. любил иногда ходить в кино, но не выносил пошлости и вообще немедленно уходил домой если картина была не по его вкусу. Раз мы смотрели с ним фильм «Франкенштейн». В самом начале там

показывают могилу и крест. Как только он это увидел, так я услышала: «Ты оставайся, а я уйду». Мне кажется, что больше всего он любил смешные движения и смеялся до слез, например, когда Чарли Чаплин изображал человека первый раз катающегося на коньках.

Он очень любил добродушно поддразнивать людей, преимущественно дам. В особенности доставалось А. Ф. Грейнер. Он уверял присутствующих о ее увлечении каким-нибудь второстепенным артистом, игру которого она в присутствии С. В. недавно критиковала и чем больше она возмущалась его выдумкой, уверяя присутствующих, что это неправда, что артист этот ей совсем не нравится, тем больше он смеялся и радовался.

С. В. часто старался избегать фотографов, которые преследовали приезжавших и уезжавших артистов в Америке и Европе, и дома, и в отелях, и в концертах. Он сердился, когда снимающий его фотограф просил его принять к.н. вдохновенную или задумчивую позу.

В смысле еды С. В. был неприхотлив. Он очень любил русскую кухню, пельмени, блины, пироги с капустой, вареники со сметаной, любил леща с кашей, раков, но главным образом он обожал кофе. Был готов пить кофе со сливками круглые сутки. Как я его, бедного мучила, когда доктора посоветовали было заменить настоящее кофе т.н. «санка». От этого напиток он категорически отказывался и сердился, если мы пытались его обмануть.

Любимым развлечением С. В. в детстве было летом плавание, а зимой коньки. В молодости — верховая езда. Он очень хорошо и красиво сидел на лошади, вообще любил лошадей. Он побаивался собак, и в то же время обожал своего красавца леонберга Левку. Позже было увлечение автомобилями и моторными лодками. Последние три-четыре года в России он не на шутку увлекся сельским хозяйством. Разговоры в Ивановке шли только о пахоте, веялках, плугах, сноповязалках, посевах, полке, молотье и пр. Увлечение это было прервано революцией.

СЕНАР И ОТЪЕЗД ИЗ ЕВРОПЫ

В 1930 году в Клэрфонтен приехал О. О. Риземан, который собирался написать биографию С. В-ча. Он с таким восторгом рассказывал о жизни в Швейцарии и так уговаривал

С. В. купить там к.н. участок земли, чтобы проводить летний отдых в этой покойной стране, что С. В. решил съездить туда. Он давно тяготился ежегодными поисками дач в Европе и говорил о желании осесть в определенном месте, не мотаясь по дачам и курортам на старости лет. Мы поехали в Швейцарию в конце августа и остановились у друзей Риземана — проф. Крамер с женой живших на своей вилле на берегу Фирвальдштетского озера, недалеко от Люцерна. Мы разъезжали по всем окрестностям и тщательно осматривали предлагаемые участки. Наконец мы нашли хорошее место около Гертенштейна, принадлежавшее одной вдове. Место это очень понравилось С. В. и он сразу его купил. В этом имении был большой трехэтажный, очень старый дом. С. В. решил его снести и выстроить новый со всеми удобствами. Дом наш был выстроен на месте большой скалы, которую пришлось взорвать.

В течение двух лет пока строился этот дом мы жили в сравнительно небольшом флигеле. Рабочие приходили в 6 часов утра и начинали работать какими-то буравами. Адский шум не давал нам спать. С. В. был так увлечен строительством, что относился к этому снисходительно. Он любил рассматривать с архитектором все планы, с удовольствием рассказывал с ним по постройке и еще больше увлекался разговорами с садовником, который распланировывал сад. Весь пустой участок перед будущим домом пришлось заполнить на два с половиной метра глубины громадными глыбами гранита, оставшимися от взрыва скалы. Это было покрыто землей и засеяно травой. Через два-три года участок этот превратился в великолепный зеленый луг, расстилавшийся перед домом.

Крутой обрыв от дома к озеру пришлось из-за оползней выложить камнями, получилась настоящая стена, которая была прозвана Гибралтаром. Пока строился дом к нам во флигель нередко приезжали русские друзья: Горовиц с женой, скрипач Мильштейн, виолончелист Пятигорский и др. В эти дни было много хорошей музыки.

Наш новый дом был выстроен в стиле модерн, с тремя большими террасами, с видом на озеро, на гору «Пилатус» с одной стороны и гору «Риги» с другой. С. В. снес старую пристань для лодок и выстроил на этом месте новую для моторной лодки. Площадка около пристани была выслана гра-

нитными плитами, на ней две скамейки и от нее широкая лестница, спускающаяся прямо в озеро.

Дом был выстроен очень удачно. Он был красив и уютен. Одна из дверей большой прихожей вела в студию С. В., которая была расположена на западной стороне дома. Эта была большая комната с двумя громадными окнами, из которых лестница, спускающаяся прямо в озеро.

Что касается сада, то он был полон цветущих кустарников и только очень небольшой участок был оставлен незасаженным для земляники и небольшого огорода. С. В. с такой любовью сажал каждый куст и дерево. Приезжая весной в Сенар он первым делом обходил свои насаждения, смотря насколько они выросли с осени. К сожалению ему не пришлось увидеть Сенар после войны 1939-1945 г.г. Как он был бы поражен увидав как выросли все его посадки и как все было действительно необыкновенно красиво.

Хорошо было приезжать весной после концертного сезона и утомительных поездок по Америке и Европе к себе домой, в наш чудесный Сенар. Всем нам было там так уютно и хорошо. Красивый поместительный дом, со всеми удобствами, сад полный цветов, великолепное купанье, тишина... Только два раза мне пришлось уговаривать и убеждать С. В. ненадолго уехать из Сенара на курорт для лечения его пальцев, так как боль в одном из пальцев пугала его и немного мешала играть.

В первый же год по окончании работы в доме он сочинил, живя в Сенаре, одну из лучших своих вещей — Рапсодию для ф.п. с оркестром. Это было в 1934 г. Следующие два лета в Сенаре он работал и окончил свою третью симфонию. В 1938 г. ему хотелось отдохнуть и он ограничился только просмотром разных мелких вещей и выработыванием планов для будущей большой работы. Его глубоко огорчила смерть Шаляпина весной 1938 г. и он постоянно вспоминал о нем. Весной 1939 г. С. В. поскользнулся в столовой и тяжело упал. Я была рядом на террасе. Бывший с ним англичанин г. Локкарт временно исполнявший обязанности секретаря С. В.-ча, так растерялся, что даже не позвал меня. Но прибежала, услышав грохот, экономка и мы вдвоем отвезли на лифте, бледного как смерть, С. В. наверх и уложили в кровать. Из Люцерна был вызван доктор, который велел ему лежать; он

сказал, что повидимому перелома нет. Приехав на другой день доктор убедился, что кроме сильного ушиба и потрясения от падения ничего нет. Он сказал, что С. В. может встать и скоро ему можно будет начать играть. У С. В. все же долго болела левая нога, а рука около кисти была совсем синяя. Ушиб был настолько сильный, что в продолжение всего лета он гулял по саду прихрамывая и с двумя палками.

Когда позже мы поехали в Люцерн к хирургу Бруну, чтобы сделать рентгеновский снимок — С. В. беспокоился в особенности о руке. Брун сказал мне с восхищением, что за всю свою многолетнюю практику он не видал такой совершенной по форме руки.

Планы намеченные С. В. для работы над каким-то задуманным им сочинением не были осуществлены. Этому помешал Гитлер. С. В. очень волновался в ожидании войны. Ему очень хотелось немедленно вернуться в Америку. Он боялся в случае войны застрять в Европе. В этом отношении его успокоило предложение Пароходной Компании, которая много лет уже перевозила его из Америки в Европу и обратно. Уезжая из Нью Йорка С. В. обычно заказывал сразу обратные билеты и эта компания обещала ему теперь в течение всего лета просто переносить каждые две недели заказанные места на следующий пароход идущий из Парижа в Америку. Но, конечно, ему не давала покоя мысль, что дочь, Таня с внуком останется одна во Франции. Муж Тани, как французский гражданин в случае войны, будет призван в армию. Что будет с Таней? С. В. еще до отъезда в Сенар купил ей небольшое поместье недалеко от Парижа, куда она могла бы переехать, если из-за войны пришлось бы покинуть Париж.

Кроме беспокойства о Тане его отъезд из Европы задерживало обещание, данное еще ранней весной, что он выступит в августе в интересном Музыкальном Фестивале организованном в Люцерне. Этот музыкальный праздник, устраиваемый ежегодно в Европе, был из-за Гитлера перенесен в том году из Зальцбурга в Швейцарию. Нарушать обещанное было неудобно, тем более, что выступление было бесплатным. Там же играли Казальс, Тосканини, Горовиц и др. артисты.

Концерт этот состоялся 11-го августа с участием С. В. и дирижера Ансерме. С. В. играл 1-й концерт Бетховена и свою Рапсодию. Я радовалась, думая, что наконец мы будет свобод-

ны от всяких обязательств и можем спокойно выехать через день-два в Париж, чтобы проститься с Таней, но радость моя оказалась преждевременной. Среди наполнившей зал публики был магараджа Мизоре из Индии, занявший в зале со своей семьей и свитой 40 мест. Оказывается во время антракта он прошел в артистическую, выразил как полагается свое восхищение артистам и просил разрешения приехать со всей семьей в Сенар. С. В. не решился отказать ему в этой просьбе, но предупредил, что мы уезжаем через два дня.

На следующий день утром в 11 часов, предупредив предварительно по телефону, к Сенару подъехали два автомобиля — жена с двумя дочерьми, наследный принц с женой, секретарь и фотограф. Мы принимали их без угощения. Одеты они были все в национальные костюмы. Младшая дочь была очень красива в своем бледно-розовом платье обшитом золотом. Пробыли они довольно долго. Фотограф снимал нас во всех видах. Разговор велся только с помощью секретаря, говорившего по-английски. Когда они собрались уезжать, мы по русскому обычаю вышли все на крыльцо, гости уселись в автомобили, но почему-то не уезжали. Мы продолжали стоять на крыльце. Наконец секретарь обратился к С. В. с просьбой уйти с крыльца в дом, ибо по его словам по индийскому обычаю гости не могут тронуться с места, пока хозяева не войдут в дом. Мы, конечно, поспешили исполнить их просьбу и они укатили.

Но как только я поднялась наверх, чтоб укладываться, как к крыльцу подкатили опять две машины. На этот раз приехал сам магараджа со сворой борзых собак и с охотником. Появился опять фотограф, который снимал С. В. с магараджей во всех видах. Магараджа, уезжая, настоял на том, чтобы мы заехали к нему в Люцерн в отель Националь позавтракать в 8 часов утра по дороге в Париж. Он при этом просил С. В. послушать игру его дочери на ф.п. В отеле они занимали целый этаж. Нас угостили чудным брэкфэстом. Дочь сыграла две вещи. Играла она хорошо и С. В. искренно остался ею доволен. Она подарила ему свою карточку. Для развлечения нам показывали фильм — свадьбу наследного принца. Он на огромном белом слоне, покрытом драгоценностями и сам в белом парчевом костюме ехал к венчанию. Показывали и самую свадьбу. Жениха и невесту обводили три раза вокруг

жертвенника, как у нас вокруг аналая. Кроме того показывали охоту на слонов и обучение молодых слонов работе. Магараджа собирался приехать на следующий год в Америку, но этому помешала его смерть.

В Париже наш отъезд из за многих дел был отложен. Мы выехали в Америку на «Аквитании» 23-го августа. Несмотря на то, что война не была еще объявлена окна на пароходе были замазаны черной краской, ставни были покрыты занавесками, освещение в каюте было очень слабое. Все эти меры затемнения были приняты от возможного нападения подводных лодок. В день объявления войны мы пришли в Нью Йорк. С. В. все время беспокоился о Тане. Настроение его было ужасно подавленное. Мы провели на даче, снятой для нас сестрой, на Лонг Айланде пять недель, а потом переехали в Нью Йорк.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ С. В.

Во время войны мы проводили лето 1940 и 1941 г.г. на дачах недалеко от Нью Йорка. В 1942 г. С. В. решил провести лето в Калифорнии. Он написал С. Л. Бертенсону письмо с просьбой подыскать нам подходящую дачу. Скоро пришел ответ, что дача найдена. Это была вилла, принадлежавшая кино-артистке.

Дом этот стоял на горе и с террасы был дивный вид на Лос-Анджелес и всю окрестность. При вилле был большой бассейн для купанья. В саду пальмы, цветы. В студии С. В. стояли два рояля. Недалеко от нас жили Владимир Горовиц и его жена. Чтобы добраться до них надо было только спуститься с нашей горы. С. В. очень любил Ванду Горовиц за ее прямолинейность. С В. С. Горовицем он не раз с большим удовольствием играл на двух роялях. Играли они Моцарта, сюиты С. В., только что вышедшее переложение для двух ф.п. Симфонических Танцев С. В. и другие вещи.

Мы часто приглашали гостей вечером к ужину. На громадной террасе в этом доме были расставлены небольшие столики, на которых сервировалась еда. Все стены террасы были покрыты цветами и всюду горели лампы. Было очень красиво и удобно. Приезжали Бертенсон, Горовицы, Федя Шаляпин, Тамировы, Ратовы. Было очень весело и оживленно.

Приехал раз и Артур Рубинштейн с женой. Раз обедала чета Стравинских, в свою очередь пригласившие нас на обед. Были мы и у Тамировых, живших на ферме за городом. Помню хорошо один удачный вечер у Тамировых. Вместе с нами были Горовицы и бывший артист Художественного театра Лев Булгаков с женой. Это был очень веселый человек. Однажды у Горовица мы познакомились с Чарли Чаплиным, Рене Кларом, Де Миллсом и др. актерами. У Рубинштейна мы встретились с Шарлем Буайэ и Рональдом Колмансом. Артур Рубинштейн был превосходный рассказчик. Киноактеры часто советовали ему выступить в кино. В этот вечер он рассказывал что-то о двух птицах и представил одну из них так хорошо, что я до сих пор вижу его этой птицей. Рубинштейн сыграл нам также свою запись ф.п. концерта Грига, и привел в восторг С. В. и всех присутствующих. С. В. помнил Рубинштейна еще совершенно молодым человеком и всегда говорил о том, какой это талантливый пианист.

Живя в Калифорнии С. В. решил купить там небольшой дом. Он уже год или два говорил, что ему пора прекратить концертные поездки, выступать в концертах только изредка и заниматься главным образом сочинениями. Мы скоро нашли на 10 Элм Драйв в Беверлей Хиллс подходящий двухэтажный дом с палисадником при входе и небольшим садом позади дома. Перед домом — три больших дерева. Во дворе — гараж. Над гаражем мы решили построить небольшую изолированную от внешнего шума студию для занятий С. В. На первом этаже дома была прихожая, столовая, гостиная, кабинет С. В. с небольшим балконом, комната для прислуги и кухня. На втором этаже была спальня с большим балконом, выходящим в сад, будуар и две другие спальни. С. В. сам пошел к декоратору, заказав у него драпировки, сам выбрал необходимую мебель; часть купленного была доставлена немедленно, остальное должно было быть доставлено к весне 1943 г. Перед отъездом из Калифорнии мы пробыли в нашем новом доме два дня и получили на новоселье много цветов от друзей.

Я не верю в предчувствие, но мне не хотелось переезжать в этот дом и не хотелось уезжать из Нью Йорка. В эти два дня проведенных в новом доме я не могла отделаться от мрачных мыслей.

В октябре мы вернулись в Нью Йорк и С. В. начал вскоре свой ежегодный концертный сезон. Он скоро заметно осунулся и похудел. Он часто говорил мне во время поездки — «Си-и-л у меня нет». Меня это страшно беспокоило... В конце ноября мы были проездом в Чикаго. Там у нас был знакомый доктор, которого я просила рекомендовать нам хорошего специалиста по внутренним болезням, чтобы исследовать состояние здоровья С. В-ча. Эти два врача занялись вместе исследованием его и из присланного ими в Нью Йорк отчета было ясно, что ничего плохого они не нашли. Рождество мы как всегда провели дома. По утрам это время у С. В. сильно першило в горле и он довольно сильно кашлял. Т.к. от куренья у него это бывало и раньше я не особенно беспокоилась, но все же настаивала на том, чтобы он опять пошел к доктору. И этот врач не нашел ничего угрожающего.

Первого февраля 1943 г., двадцать пять лет спустя после приезда в Америку, мы приняли американское гражданство. Нам пришлось, конечно, держать экзамен; мы подготовились к нему, нас приняли не в очередь и все прошло хорошо, хотя я запнулась на каком-то легком вопросе. На другой день мы выехали опять на вторую половину концертного турнэ. 11 февраля С. В. играл в Чикаго под управлением Штока I-й концерт Бетховена и свою «Рапсодию». Зал был переполнен и при выходе С. В. оркестр встретил его тушем, а вся публика встала, приветствуя его. Играл он чудесно, но чувствовал он себя плохо, жаловался на сильные боли в боку.

Мы опять вызвали знакомого русского врача, чтобы поговорить с ним о недомогании С. В. Боль в боку доктор объяснил перенесенным С. В-м сухим плевритом, что меня очень удивило, т.к. я знала, что у С. В. плеврита никогда не было. «Я ясно слышу, что у Вас был плеврит», настаивал доктор. Он советовал С. В. отменить предстоящие концерты и зная, что мы попадем во Флориду, надеялся, что С. В., полежав и отдохнув на солнце, станет чувствовать себя лучше. Но до Флориды С. В. надо было дать два концерта в Луивилле и Ноксвилле, которые ему пришлось отменить перед Рождеством из-за ожога пальца. Отменив тогда по необходимости концерты, он хотел исполнить данное им местному мэнаджеру обещание, что он даст эти концерты в феврале. С. В. не любил «подво-

доть» местных агентов. Я умоляла его отказаться от этих двух концертов, но он опять повторял свою любимую фразу: «Ты меня возить в кресле не будешь, кормить голубей сидя в кресле я не буду, лучше умереть». И вот эти два концерта он играл уже совсем больной. Ему было больно двигаться. Нужна была вся сила его воли, чтобы выдержать эти концерты. На концерт в Луивилл приехал Л. Э. Конюс — товарищ С. В. по Консерватории, с которым он учился по композиции у Аренского. Это была их последняя встреча.

Отделавшись от этих двух концертов С. В. согласился отказаться от всех остальных и ехать прямо в Калифорнию в свой новый дом. Выехав утром из Нью Орлеанса в Калифорнию у С. В. во время кашля появилась кровь из горла. Мы оба сильно испугались. Я немедленно уложила его на кушетку и давала глотать кусочки льда. Мы послали телеграмму Феде Шаляпину в Калифорнию с просьбой встретить нас на вокзале в Лос Анжелес и предупредить доктора Голицина о нашем приезде. Кроме того, конечно, телеграфировали дочери, Ирине о случившемся. В поезде же мы получили ответ от нее. Она говорила с главным врачом больницы Рузвельта в Нью Йорке, который телеграфировал своему коллеге в госпиталь Лос Анжелеса прося его встретить С. В. на вокзале и поместить в госпиталь. Ирина умоляла нас последовать совету врача и со станции немедленно ехать в госпиталь.

Когда мы приехали наконец в Лос Анжелес, нас встретили Федя Шаляпин и Тамара Тамирова с креслом для передвижения. Тут же стоял амбуланс для перевозки С. В. в госпиталь и доктор, извещенный Ириной телеграммой о времени нашего приезда. Мы все так уговаривали С. В. ехать прямо в больницу, что он в конце концов подчинился нашим просьбам. В больницу мы попали около 12 часов ночи. Комната его была готова, его раздели и уложили в постель, а я уехала домой. Дома я застала Федю и Тамирову, приехавших труда прямо с вокзала, и доктора Голицина. Консилиум должен был состояться на другой день утром.

Утром я помчалась в госпиталь. Три врача осматривали С. В. Их внимание было обращено главным образом на небольшие опухоли появившиеся на лбу и на боку. Были опухоли и в других местах. Доктора настаивали на необходимости

вырезать часть опухоли для анализа. С. В. категорически от этого отказался.

Когда врачи вышли в корridor, где я дожидалась конца консилиума, я остановила главного врача и спросила его о результатах осмотра. Доктор находит — мне казалось, что он хотел уйти незамеченным — сказал мне, что ничего еще нельзя сказать определенного. Вероятно для врачей было уже тогда ясно, что у С. В. рак. С. В. все настаивал, чтобы его отпустили домой. Все же он пробыл в госпитале еще день или два. Приехавший к нему Голицин осмотрел его, уверил его, что его скоро отвезут домой, обещал пригласить для ухода за ним русскую сестру милосердия и что он дома будет лечить по-своему. Дома была уже заказана постель для С. В. с поднимающимся изголовьем и лампа для согревания с красным светом. Приехавшая сестра милосердия, Ольга Георгиевна Мордовская, оказалась очень милым и хорошим человеком.

Наконец, на амбулаторной машине С. В. привезли домой. Мы уложили его на новую постель, грели красным светом и смазывали опухоли ихтиоловой мазью. На другой день его переезда домой приехала из Нью Йорка Ирина, через неделю сестра Соня, а за ней и Чарлз Фоли, который очень нам помог в эти страшные дни. Еще в госпитале, когда совещающиеся доктора ушли, С. В. поднял свои руки, посмотрел на них и сказал: «Прощайте, мои руки».

Дня через два или три С. В. почувствовал себя несколько лучше и даже захотел посидеть в кресле. Мы посадили его около окна и он начал раскладывать пасьянс. Мы воспряли духом. Но скоро С. В. устал и предпочел свою постель. У него не было ни малейшего аппетита. Ирина готовила ему пищу, но он смотрел на еду с отвращением и с трудом удавалось уговорить его проглотить ложку-две какого-нибудь супа. Жаловался он только на боль в боку. Сестра милосердия продолжала согревать его опухоли красным светом, но это уже не приносило облегчения. Появился кашель, мешавший ему спать. Я не выходила из его комнаты ни днем, ни ночью, спускаясь вниз минут на пять к обеду и завтраку. В 8 часов мы тушили свет и давали ему прописанную врачами снотворную пилюлю.

Когда С. В. заметил, что здоровье его не улучшается он захотел позвать еще одного врача для совета. По рекомендации

Т. Тамировой мы пригласили профессора Мура (я не помню в точности его имени). Он настоял на том, чтобы вырезать часть одной из опухолей для анализа, убедив С. В., что это не будет болезненной операцией. Несмотря на местную анестезию С. В. сильно стонал. Профессор обещал сообщить результаты анализа на другой день, что он и сделал, сказав мне откровенно, что у С. В. рак, что никакой надежды на выздоровление нет. На мой вопрос как долго это может продолжаться, он ответил, что это форма молниеносного рака, что у молодых людей болезнь протекает очень быстро, а у пожилых людей болезнь затягивается иногда на месяцы. Профессор пытался утешить меня, что при помощи морфия он не будет сильно страдать. Уколы эти делались три раза в сутки, малейшая доза была достаточна, чтобы привести его в спокойное состояние.

Мы так боялись, что С. В. догадается о своем положении, что умолили профессора сказать ему, что у него воспаление «нервных узлов». Профессор исполнил нашу просьбу. Придя к С. В., я сказала ему: «видишь какая у тебя редкая болезнь». «Ну, что же, значить надо терпеть» — ответил он мне. С. В. мог быть таким скрытным, что меня и теперь все мучает вопрос, знал ли он, что умирает или не знал?

Не могу забыть до какой степени была мучительна мысль, что я должна желать ему скорой смерти, я, которая так его любила.

С. В. приходили навещать многие из наших друзей: Федя Шаляпин, Тамировы, Горовиц с женой и другие. Но болезнь быстро шла вперед и скоро кроме Феди к нему уже никого не пускали. Так как С. В. не выносил когда у него отрастали волосы, то он попросил Федю остричь его как всегда под машинку. Как-то в полусне С. В. потребовал, чтобы доктор приезжал к нему каждый день и мы, чтобы он не подумал, что его положение так тяжело, просили доктора Голицина исполнить его желание.

За все время его болезни С. В. улыбнулся только один раз, когда мы по его просьбе помогали ему сесть в постели, обкладывая его со всех сторон подушками и поддерживали его. Ирина спросила его чему он улыбается. «Наташа не хочет, чтобы кто-нибудь трогал меня кроме нее», ответил С. В.

Болезнь прогрессировала так быстро, что даже посещаю-

щий его ежедневно доктор Голицин был удивлен. Есть он уже совсем не мог. Начались перебои в сердце. Я просила доктора сказать нам когда следует причастить С. В. Как-то в полузабытии он спросил меня: «кто это играет?» «Бог с тобою, Сережа, никто здесь не играет». — «Я слышу музыку». В другой раз С. В., подняв над головой руку, сказал: «Странно, я чувствую точно моя аура отделяется от головы».

26 марта доктор Голицин посоветовал вызвать священника для причастия. Отец Григорий причастил его в 11 часов утра. Он же его и отпевал. С. В. уже был без сознания. 27-го около полуночи началась агония и 28-го в час ночи он тихо скончался. У него было замечательно спокойное и хорошее выражение лица. Люди из похоронного бюро быстро увезли его утром, а затем перевезли в церковь. Это была чудная маленькая церковь Иконы Божьей Матери Взыскание Погибших где то на окраине Лос Анжелеса. Вечером была первая панихида. Собралось очень много народу. Церковь была полна цветами, букетами, венками. Целые кусты азалий были присланы фирмой Стейнвей. На отпевание мы привезли только два цветочка из нашего сада и положили их на руки С. В. Гроб был цинковый, чтобы позднее, когда-нибудь, его можно было бы перевезти в Россию. Хорошо пел хор Платовских казаков. Они пели какое-то особенно красивое «Господи помилуй». Целый месяц после похорон я не могла отделаться от этого песнопения. Священник сказал очень хорошее слово, потом мы простились, и Ирина и сестра увезли меня домой. Я не могла смотреть на то как запаивали гроб.

Мне нельзя было уехать домой в Нью Йорк еще в течение целого месяца из за разных формальностей. Гроб С. В. был временно помещен в городской мавзолей. В конце мая мы с Ириной вернулись в Нью Йорк, и нам удалось скоро купить на кладбище в Кенсико участок земли для могилы С. В. Похороны состоялись первого июня. Служил митрополит Феофил, пел большой русский хор. На похороны приехало очень много народа — музыканты, друзья, русские и американские поклонники Рахманинова, были и представители Советской России, приехавшие из Вашингтона. Фоли удалось устроить для удобства публики, приехавшей на похороны, специальный вагон, который был прицеплен к поезду. На могиле, у изголовья,

растет большой развесистый клен. Вокруг вместо ограды были посажены хвойные вечно-зеленые кусты, а на самой могиле — цветы. На могиле большой православный крест под серый мрамор. На кресте выгравировано по-английски имя, даты рождения и смерти С. В.

После смерти С. В-ча Музыкальное Общ. А.С.К.А.П. устроило в начале июня большой концерт «Памяти Рахманинова».

Так кончилась моя совместная жизнь с самым благородным, талантливым и дорогим мне человеком.

Н. Рахманинова

МЕЛЕТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЫКОВ

К ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Не об одном активном участнике ОДНР военных лет так много не писалось вымыслов, как о М. А. Зыкове. Диапазон приписываемых ему действий был чрезвычайно широк — от инициатора Освободительного движения до... советского шпиона. Особенно много неправды писали те, кто не знал его лично. Мне на долю выпало первым из русских встретить З. в Берлине, а затем не раз беседовать с ним по службе и общаться в частной жизни — играть в шахматы, покер и слушать музыку. И все же, должен честно сказать, Мелетий Александрович остался и для меня не до конца понятным человеком. Он был так умен и сообразителен, так умел маскировать свои намерения, цели бесед и тех или иных произносимых им фраз, что мне трудно было — в конкретных случаях — делать выводы об его искренности и правдивости. Однако, в общей политической честности З. — убежденного антикоммуниста — у меня никогда никаких сомнений не возникало. Создавшееся убеждение (при первых встречах с З.), что он — бескорыстный антисоветский политик очень крупного масштаба, не преследующий никаких личных выгод — оставалось у меня до его трагического конца.

Дата прибытия З. в Берлин и начала его деятельности в ВПР-4 ОКВ (Управление военной пропаганды Главного командования — отдел полковника Мартина «Активная пропаганда») имеет определенное значение. Некоторые авторы воспоминаний об ОДНР (включая и немецких) определяют эту дату неправильно и приписывают З. участие в работах, которых он делать не мог, так как его еще не было в Берлине. Поэтому я остановлюсь на более точном установлении этого факта.

I. «Экономическое бюро».

В самых последних числах июля 1942 г. я, вместе с двумя своими сокамерниками, прибыл в Берлин из Офлага-57 (лагеря военнопленных в Белостоке). По распоряжению комендатуры Шталага ЗД, мы были направлены в специальное отделение этого лагеря, размещавшегося в самом Берлине на улице Шлифенуфер д. № 7. В комнатах этого трех- или четырех-этажного здания, охраняемого постом у подъезда, находилось 200-300 пленных военнослужащих английской, французской, югославской и советской армий, главным образом, офицеры. Между прочим, в этом лагере был и полковник Кайгородцев — начальник артиллерии 2-й Ударной армии генерал-лейтенанта А. А. Власова. Мне приходилось часто разговаривать с ним и я пришел к выводу, что полковник не являлся антикоммунистом, хотя он и не высказывал особых симпатий к советскому режиму. Видимо, А. Власов, зная с этой стороны Кайгородцева, поэтому и не предложил ему участвовать в РОД. Некоторые авторы статей об ОДНР пишут, что А. Власов по каким-то личным причинам не хотел освобождения Кайгородцева из плена, однако сам полковник, говоря со мной о своем командующем, никогда не упоминал о плохих отношениях с ним.

Очень вероятно, что это отделение Шталага ЗД находилось в непосредственном ведении одного из отделов Абвера, занимавшегося экономической разведкой. Часть пленных, ежедневно, в сопровождении немецких конвоиров, куда-то уходили и возвращались только после обеда. Из разговоров с ними выяснилось, что они «работают» в каком-то немецком военном учреждении, где немецкие офицеры, прекрасно владеющие русским языком, опрашивают их об экономическом потенциале Советского Союза, военных и гражданских заводах, железных дорогах, электростанциях и т.д.

Недели через две, т.е. к середине августа 1942 г., был вызван в это учреждение и я. Немецкий офицер уже был знаком с моей биографией, но не задал мне ни одного вопроса по моей военной специальности, а поскольку я был родом из Петербурга (Ленинграда) просто спросил меня — как мне нравится Северная Пальмира? Работа в Абвере меня не прельщала — я стремился участвовать в вооруженной борьбе с

большевизмом — и потому, зная наперед какой эффект произведут мои слова, ответил: «Я предпочитал курить «Казбек» и «Северную Пальмиру» покупал редко...» Это был первый и последний вопрос ко мне. Немецкий офицер потерял всякий интерес допрашивать меня и после того как я съел миску довольно приличного супа, меня отправили обратно в лагерь. Больше в это «бюро» меня не вызывали.

Через несколько дней в наш лагерь прибыл майор А. С ним мы довольно часто встречались по службе в Красной армии. Я не знаю о его судьбе и потому не привожу фамилии. Он, полковник авиации Тарасов, майор Герасимчук¹ разместились в маленькой комнате с двумя двухярусными койками. Я спал в соседней — бóльшей комнате. В конце августа или в самом начале сентября 1942 г. в наш лагерь прибыл Зыков.

Ю. Торвальд в своей книге «Кого они хотят погубить» пишет, что З. прибыл в Берлин на Викториаштрассе 10 уже 26 апреля 1942 г. Свен Стинберг в книге «Власов — патриот или изменник?» отмечает, что З. попал в плен в апреле — под Батайском. Это не соответствует действительности. Бои под Ростовом начались в конце июля и Ростов был взят немцами 28 июля 1942 г.

2. Первая встреча.

Поздно вечером — я сидел на койке майора А. и разговаривал с ним — дверь комнаты открылась и вошел немецкий унтер-офицер с военнопленным, одетым в форму Красной армии. Он проводил его в соседнюю, очень маленькую комнату с одной койкой. Когда унтер-офицер вышел, мы позвали этого военнопленного к себе и долго разговаривали с ним.

Прежде всего следует отметить, что военнопленный носил знаки различия «батальонного комиссара» и красная звезда политработников не была спорота. Обмундирование выглядело непоношенным и даже не помятым. Офицерские хромовые сапоги были начищены. Военнопленный был побрит и не был истощен, следовательно, в плену находился недолго. Никаких вещей у него не было, даже шинели. На вид ему можно было дать не более 35 лет.

¹ Полковник Тарасов позже был известен как начальник резерва у ген. Кестринга в Лотцене, а майор Герасимчук стал помощником ген. Буняченко по материальной части.

А. Казанцев в своей «Третьей силе» пишет, что он увидел З. на Викториаштрассе «в потрепанном и замазанном красно-армейском обмундировании со стоптанными, разваливающимися сапогами». Это — неправда.

Среднего роста (а не маленький, как пишет Торвальд), коренастый и сравнительно полный, З. производил впечатление человека с примесью азиатской или даже негритянской крови. Очень широкие, полные губы. Почти черные, густые и вьющиеся волосы. Довольно широкий, несколько вздернутый нос. Темнокарие, внимательные глаза под широкими темными бровями. Спокойное, широкоскулое лицо. Не частые, самые необходимые жестикуляции. Негромкий, но выразительный голос мягкого тембра, чуть картавящий и без всякого акцента. Твердая походка, но без особой военной выправки, показывала, что З. не был кадровым командиром.

Не знаю почему, но у меня и у майора А. сразу же сложилось впечатление, что З. еврей. Позже, от многих людей (русских и немцев) мне приходилось слышать, что они тоже считали З. евреем. Я останавливаюсь на этом только потому, что в условиях нацистской Германии того времени национальность З. приобретала особое значение.

Батальонный комиссар представился нам как Мелетий Александрович Зыков. Он сказал, что только несколько дней тому назад попал в плен на Ростовском направлении и прибыл сегодня в Берлин на самолете. Ни в каких лагерях военнопленных он не был. Привезли его в Берлин по распоряжению Геббельса и завтра он должен быть у него. Зачем его вызвал Геббельс — он не знает.

О своем прошлом З. тогда рассказал очень немного. Упомянул, что работал в редакции газеты «Известия», в 1937 г. был арестован и сослан. В 1941 г. реабилитирован, восстановлен в партии, аттестован на звание «батальонного комиссара» и назначен заместителем военного комиссара стрелковой дивизии, в качестве какового и попал в плен.

Рассказ З. об обстановке на фронте и в тылу показался нам объективным и не содержал обычной советской пропаганды. З. произвел впечатление умного, наблюдательного и знающего человека, скорее антисоветски настроенного, чем нейтрального. Правда, мы с майором А. не скрыли от него своих анти-коммунистических взглядов.

З. совершенно не знал положения в лагерях военнопленных и живо интересовался им, расспрашивая нас о всяких подробностях жизни военнопленных. Мы считали нужным предупредить его, что нацисты, как правило, уничтожают политработников, если они евреи. Было заметно, что расспрашивая об известных нам случаях истребления евреев, З. был явно встревожен, однако он не сказал нам, что он еврей, а мы его прямо об этом не спросили.

Наконец, уже поздней ночью, мы разошлись спать. На другой день, майор А. рассказал мне про уход З. Рано утром, когда мы еще спали, пришел немецкий фельдфебель и подойдя к койке З. начал его будить. Тот спросонок вскочил и на своем ломанном немецком языке стал объяснять фельдфебелю, что он не пленный, а перебежчик и имеет соответствующий «аусвайс». Через минуту, придя в себя, З. оделся и спокойно прошел через комнату майора А. вслед за фельдфебелем.

Больше мы З. не видели. Не видели его пленные и в «экономическом бюро» — он там не работал.

3. Вторая встреча.

В декабре 1942 г. я был в Вульхайде, под Берлином, на курсах пропагандистов, заканчивая курс обучения. З. дважды приезжал к нам, одетый уже в гражданское платье. Его сопровождал капитан Штрик-Штрикфельд. З. тогда уже работал в отделении «Россия» капитана фон Гроте отдела полковника Мартина — связного офицера Министерства пропаганды. Видимо, З. действительно был в Министерстве пропаганды и от туда был направлен в ВПр-4.

З. сделал нам доклад о зарождающемся Русском Освободительном Движении, рассказал о программе организующегося Русского Комитета и сообщил, что скоро выйдет новая газета для военнопленных «Заря», которая заменит прежнюю газету «Клич», издававшуюся организацией «Винета» Министерства пропаганды. О составе Русского Комитета З. ничего не сказал и никаких фамилий не назвал.

После доклада я подошел к нему. Узнав во мне своего ночного собеседника на Шлифенуфер, З. в течение нескольких минут (отведя меня в сторону от пропагандистов) говорил со мной на политические темы и в частности о Русском Комитете,

но опять-таки не назвал ни одной фамилии. Тогда я прямо спросил его, что, вероятно, председателем Комитета станет генерал-лейтенант А. Власов (слухи об этом как-то дошли до меня). И на этот раз З. не стал откровенничать, ответив мне: «Почему Вы так думаете? Есть ведь и другие кандидаты!»

Второй раз З. приезжал специально для отбора из числа пропагандистов нескольких человек для работы в редакции газеты «Заря». Между прочим, именно тогда он отобрал и будущего капитана РОА М. Самыгина. В это время генералы Благовещенский и Малышкин, находившиеся в Вульхайде, уже выехали в Берлин — они вошли в состав Русского Комитета.

4. Третья встреча.

В марте 1942 г. я был вызван в Дабендорф из Шталага ІВ, где работал старшим пропагандистом, и назначен командиром 2-й офицерской роты Курсов пропагандистов РОА. Там я снова встретил З. — уже редактора газеты «Заря» (и др.). Помню, что я был очень удивлен, увидев его в форме РОА и с капитанскими погонами. Я даже спросил его — почему он не майор, как полагалось бы по его прежнему званию «батальонного комиссара»? Он шутливо ответил, что чин капитана удобнее...

В апреле 1942 г. З. организовал первую антибольшевицкую конференцию военнопленных — военнослужащих Красной армии — и предложил мне выступить на ней с небольшой речью. Основной доклад делал генерал-майор В. Малышкин. Я согласился и тогда мы стали беседовать о том, что по его мнению мне следовало бы сказать на конференции. Говорил З. прямо и весьма определенно — он уже знал мои убеждения. Конечно, я не помню точно его слов, но смысл их остался в памяти:

«Мы не можем желать победы Советского Союза, ибо тогда неизмеримо усилится коммунизм. Последуем примеру Ленина и будем стремиться к поражению своего правительства. Для этого у нас есть только одно средство — использование внешнего врага СССР — Германии. Только Германия сейчас заинтересована в поражении коммунистического правительства Советского Союза. Конечно, мы не можем доверять нацистскому руководству Германии — у нас слишком много

фактов, свидетельствующих о враждебности нацистов к русскому народу. Но у них нет другого выхода — без нас, без участия русских в борьбе против большевизма, Германия не может победить СССР. Теперь это уже ясно — поражение немцев под Москвой и Сталинградом прямое доказательство этому. Следовательно, немцы будут вынуждены поддерживать и развивать Освободительное движение, как это и не противоречит интересам нацистов, тем более, что число сторонников развития РОД среди не нацистов все время растет. У нас уже появились друзья среди таких немцев — они будут помогать нам. Окупировать Советский Союз не сможет ни одна страна в мире — 22 миллиона квадратных километров! Следовательно, даже нацисты будут вынуждены согласиться с организацией временного русского правительства в оккупированных областях, помочь ему создать армию с тем, чтобы это правительство продолжало борьбу с большевизмом, оттесняя его за Урал к берегам Тихого океана.

Конечно, немцам нужен наш хлеб, сырье, промышленные изделия и рабочая сила. И мы должны будем поделиться этим с Германией. Но если аппетиты нацистов будут чрезмерно велики, а мы сумеем создать сильную армию — мы всегда сможем их урезать... В этом нам помогут и теперешние союзники Советского Союза. Особенно, когда они убедятся в том, что у нас создано демократическое государство, ибо коммунизм ведь и их враг.

Мы знаем, что народы СССР тоже стоят на пораженческих позициях — это доказывает число пленных. За срок менее двух лет войны — в плен к немцам сдалось более 5.000.000 военнослужащих Красной армии. Но это пассивное пораженчество. Часть семидесятимиллионного населения оккупированных немцами областей Советского Союза и часть пленных — до миллиона наших соотечественников включилась и в активную борьбу — с оружием в руках — против большевизма. Но для того чтобы поднять на эту борьбу народные массы нужна ясная политическая программа с конечной целью создания новой России — без большевиков и капиталистов. Мы дали основу этой программы — 13 пунктов Русского Комитета. Мы не социалисты и признаем принцип частной собственности, но мы против крупных капиталистических объединений и монополий. Земля должна принадлежать крестьянам.

Это обеспечит нам поддержку многомиллионных масс колхозников. Кроме того, мы декларировали, что не допустим никаких реставрационных попыток со стороны немцев и белой эмиграции — помещики и фабриканты своей земли и заводов не получат. Следовательно, за нами пойдут и массы рабочих. Многие из нас пострадали от репрессий советской власти, но никакой политики мести за прошлую деятельность власти мы не допустим. Конечно, мы будем преследовать чекистов и сотрудников других карательных органов за их бесчеловечную деятельность, но это не коснется широких масс населения. Значит и интеллигенция будет поддерживать нас.»

В заключение З. дал мне совет вообще не упоминать о том, что лично я был репрессирован советской властью, а главный упор в моей речи сделать на нашу непримиримость и принципиальную неприемлемость коммунизма, которую разделяет и большинство населения Советского Союза.

В самом начале апреля 1943 г. в Дабендорфе состоялась эта конференция, прошедшая с большим успехом. Полтора-часовая речь генерала Малышкина не раз прерывалась аплодисментами и возгласами одобрения. Я не удивился, услышав в речи Малышкина и лозунг «Россия — без большевиков и капиталистов». Значит, не только З., но и сам А. Власов и др. руководители движения приняли этот лозунг.

5. Последующие встречи.

В конце мая 1943 г. я был назначен начальником Подготовительных курсов РОА в Люкенвальде и до ноября сравнительно редко бывал в Дабендорфе и не часто видел З. В ноябре 1943 г. я стал помощником начальника Курсов пропагандистов РОА в Дабендорфе (по строевой части). Теперь я почти каждый день встречался с З. Очень часто я присутствовал на ежедневных утренних докладах З. начальнику Курсов генералу Ф. Трухину. З., помимо иностранных газет, получал и секретные для всех сводки советских радиопередач, а также советские газеты, документы, выписки из опросов перебежчиков и т.п. В своих устных докладах генералу Трухину о политической и военной обстановке, З. всегда давал и свои общие выводы. Я не помню, чтобы кто-нибудь еще присутствовал на этих докладах — ген. Трухин делал исключение для меня

потому, что мы были знакомы по службе в Красной армии с 1930 г. Вероятно, эти ежедневные утренние посещения генерала Трухина и дали повод говорить про З. что он был как-бы «политкомиссаром» Курсов.²

З. никогда не отказывал в своей помощи в отношении составления методических и учебных разработок Курсов, но непосредственного участия в учебной жизни Курсов не принимал и в нее не вмешивался. Тем более, что его отношения со старшим преподавателем А. Зайцевым и др. лицами, принадлежавшими к организации НТС, были весьма натянутыми, если не сказать более резко. К НТС З. относился весьма недружелюбно и резко критиковал их программные установки, в частности «Схему НТС» (1944 г.), в которой были антисемитские пункты. З. стоял на платформе полного равенства всех народностей России. Очень плохие отношения были у З. и с А. Казанцевым.

Из немцев наилучшие отношения у З. были с капитаном Штрик-Штрикфельдом, с другими немцами З. старался не общаться и вообще их не любил.

С генералом Трухиным у З. были самые хорошие отношения и генерал чрезвычайно ценил З., но личной дружбы не было. Может быть мешала и тогдашняя принадлежность Федора Ивановича к НТС, он вышел из НТС только в 1944 г. Вообще, у З. не было личных друзей, если не считать его переводчика Ножина, который и жил вместе с ним. Из редакционных сотрудников ближе всего к З. стоял Н. Ковальчук (псевдоним Гранин) — его заместитель. Упоминая Ковальчука, следует отметить, что именно он и написал основной текст Пражского Манифеста.

В те времена мне довольно часто приходилось говорить с З. по вопросам воинской дисциплины и внутреннего порядка. Сотрудники редакций «Зари» и «Добровольца» в порядке гарнизонной службы, так как они жили в Дабендорфе, подчинялись начальнику Курсов пропагандистов РОА и, следовательно, я имел прямое отношение к этим вопросам. Помню, как в начале 1944 г. один из сотрудников, князь Г. в пьяном виде выхватил свой пистолет и хотел не то застрелиться сам,

² «Новый Журнал», кн. 19. Б. Николаевский. «Пораженческое движение и генерал Власов».

не то застрелить кого-то. Мне пришлось его обезоруживать, так как других он к себе не допустил. З. всегда при служебных разговорах с ним держал себя корректно и мы приходили к общему решению. Конечно, этому способствовали и наши личные отношения. Мы часто встречались за игрой в шахматы, причем З. почти всегда выигрывал у меня, хотя я и был категорным игроком. З. любил музыку и собрал хорошую коллекцию патефонных пластинок, прослушивать которые приглашал и меня.

Обращало на себя внимание желание и большое стремление З. к приобретению хорошей офицерской формы — он не хотел быть одет хуже немцев. В РОА З. был капитаном и всегда отклонял предложения А. Власова повысить его в чине. Не раз и я, по поручению генерала Трухина, говорил с З. о желательности производства его в чин подполковника, на что З. с усмешкой отвечал, что он доволен и чином капитана. «Меньше будут завидовать, придираются и мешать работе», — добавлял он. Между прочим, такое решение З. повлияло и на меня. Два раза А. Власов подписывал приказы о производстве меня в чин генерал-майора и оба раза я вычеркивал свою фамилию из подлинников этих приказов, выдвигая других кандидатов. Тогда я был начальником Командного отдела Штаба и приказы о производстве проходили через этот отдел.

Генералы А. Власов и Ф. Трухин считали, что З. был еврей. В своей книге «Против Сталина и Гитлера», капитан Штрик-Штрикфельд приводит разговор с Власовым, когда последний спросил его: «Могли бы немцы оставить З. на долгое время в живых несмотря на то, что он еврей?» Капитан ответил, что фон Гроте, которому была подчинена группа З., обещал сохранить его. Тогда Власов сказал Штрик-Штрикфельду, что для него очень важно, чтобы З. был с ним: «З. единственный, которого я нашел здесь до сих пор и было бы очень трудно найти второго З. Даже в СССР мало людей такого калибра».

6. Прошлое Зыкова

З. никогда не скрывал, что был членом коммунистической партии и что эта его фамилия — псевдоним. О настоящей его фамилии он никому не говорил, она осталась неизвестной. Правда, Б. Николаевский в своем письме в редакцию «Нового

Журнала» (книга 20-я) пишет: «В настоящее время можно считать, повидимому, установленным, что Зыков был евреем. Его фамилию удалось установить, но опубликовать её преждевременно».

З. всегда очень коротко и отрывочно говорил о своем прошлом. Родился он вероятно в 1903-1904 году, в семье литератора социал-демократа (меньшевика). Рано примкнул к коммунистической партии и добровольно вступил в Красную армию, приняв участие в гражданской войне в качестве политработника. Несмотря на его молодость, это не может вызвать удивления — Маленков, например, был в 15 лет комиссаром дивизии. Позже, З. стал тоже литератором и одно время редактировал областную газету в Узбекистане. Затем, перешел на работу в редакцию «Известий». Женился на дочери Бубнова — члена Военного Совета СССР и комиссара просвещения. Преподавал историю русской литературы в университете имени Герцена (Москва). Редактировал некоторые труды по истории литературы, но сам никаких книг не написал. После ареста Бухарина и Бубнова в 1937 г. был сослан на 4 года и в 1941 году реабилитирован, восстановлен в партии и назначен заместителем военного комиссара стрелковой дивизии. Во время боев под Ростовом перебежал к немцам. Будучи антикоммунистом, видимо, написал какой-то доклад об организации борьбы с большевизмом и был вызван в Берлин — к Геббельсу. О своей первой встрече с Геббельсом З. никогда не говорил, но очень вероятно, что он с ним встретился и им был направлен для работы в Отдел «Активная пропаганда» полковника Мартина — офицера связи Министерства пропаганды и Управления военной пропаганды ОКВ. Официально З. был в ВПр-4 подчинен капитану фон Гроте — начальнику отделения «Россия», но часто имел дело и с самим полковником Мартином, который с ним весьма считался, видимо, имея соответствующие указания Геббельса. Об этом можно судить по абсолютно независимому поведению З. и даже небрежности отношения его с немецкими офицерами отдела пропаганды.

7. Политические взгляды Зыкова.

З. не отрицал, что по своим философским взглядам был материалистом. Поэтому неудивительно, что он ни разу не был в Берлине или Дабендорфе в церкви на богослужении.

Многие приписывают З. не только социализм, но и марксизм. Штрик-Штрикфельд пишет, что «З. был страстным противником Сталина, но не системы, как таковой». Свен Стинберг прямо отмечает, что З. был марксистом. А. Казанцев уже обобщает и пишет: «З. и окружавшая его немногочисленная группа молодежи были правочерными и убежденными марксистами», сознательно набрасывая этим тень на редакционных сотрудников З. — политических противников Казанцева.

При чем Казанцев пишет явно тенденциозные вещи, говоря, что «их критика советского строя была робкой, неуверенной. Кто-то из друзей (т.е. — солидаристов, ВП) определил их отношение к сталинизму, как бунт против него, но бунт на коленях. Будущее Освободительного Движения им представлялось как борьба за исправление искаженной Сталиным партийной линии и за возвращение на путь завещанный Лениным.» («Третья сила»). Назвать марксистами и ленинцами Зыкова, Ковальчука, Самыгина, Глинку, Гаркушу, Ахминова, Духанина и др. мог только солидарист, старавшийся скомпрометировать их хотя бы задним числом за то, что они не разделяли взглядов НТС. Живые сотрудники редакции «Зари» могут сами постоять за себя, но З. погиб... Восстановление исторической правды о нем — наша обязанность.

З. сравнительно старый член коммунистической партии и вращался он в обществе заслуженных и крупных большевиков. Ему, конечно, были известны «тайны» партии... Поэтому совершенно неосновательно предполагать, что З. не знал или плохо понимал суть партии, её тактики и советской системы. Знал он, несомненно, и основные положения Ленина о внутрипартийной дисциплине, о диктатуре генерального секретаря партии... Он прекрасно понимал, что Сталину именно партия дала диктаторские полномочия и что всякий другой генеральный секретарь имел бы точно такие же права. З. знал, что дело не в Сталине, не он является основным виновником всех бед народов России, в частности, и массовых репрессий. Поэтому личной ненависти к Сталину у З. не могло быть. З. винил во всем партию, советскую систему и её создателя — Ленина.

13 пунктов Русского Комитета, которые З. сформулировал вместе с А. Власовым и В. Малышкиным, доказывают неприемлемость советской системы для З. Правда, Штрик-Штрикфельд пишет, что эти пункты были даны фон Гроде и З. толь-

ко отредактировал их. Но так далеко «русскость» фон Гроте пойти не могла! Даже А. Казанцев отмечает («Посев», № 29, 1950 г.), что (в отделении фон Гроте, ВП) «песни были исправлены: «Волга русская река» была переделана в «Волга широкая река», «Сибирь ведь, тоже русская страна» в «Сибирь ведь, тоже славная страна» и т.д.»

Ю. Торвальд в своей книге «Кого они хотят погубить» приводит слова З., сказанные им оберлейтенанту Дюрксену: «Я враг Сталина и теперешнего режима на родине. Но я не готов сотрудничать с вами пока я точно не узнаю какую роль и судьбу вы готовите русскому народу. Я русский патриот и буду делать только то, что принесет пользу моей родине». Свен Стинберг тоже отмечает, что на совещании у эсэсовца Д'Алквена З. заявил, что «он русский патриот». Это подтверждает и ротмистр Э. фон Деллингсхаузен, бывший на этом совещании, указывая в своих воспоминаниях, что тогда З. прямо сказал, что «он русский националист». Не стоит доказывать, что русский патриот или националист не может быть марксистом.

Многие авторы отмечают, что у З. были враги не только среди немцев, но и среди русских. Штрик-Штрикфельд пишет: «З. не пользовался всеобщей любовью. Он мог быть жестким, иногда безжалостным, проверяющим вынесенные решения». Однако, не это создавало ему врагов среди русских. Штрикфельд приводит слова З., сказанные А. Власову в присутствии капитана, когда однажды Андрей Андреевич, устав от постоянного сопротивления немцев, сказал, что может-быть лучше ему уйти в лагерь военнопленных... «Мы — русские конспираторы. Что немцы думают о нас — очень мало значит. Но если вы выпустите узду из своих рук, черные реакционеры и оппортунисты возьмут дело в свои руки. И это будет концом русской борьбы за свободу. Не поддавайтесь иллюзиям, Андрей Андреевич! Среди наших соотечественников есть нацисты хуже немецких! Они только и ждут, чтобы Вы ушли, для того чтобы занять Ваше место. Уже слышны лозунги черной реакции: «Бей жидов — спасай Россию». Это будет черным днем для русских, когда эта реакция придет к власти... Есть и достаточно таких людей, которые не верят в свободу России и которые продали себя немцам. Вы, Андрей Андреевич, этого

никогда не сделаете, как не делает никто из нашей маленькой конспиративной группы».

Свен Стинберг тоже отмечает, что у «З. были враги в Дабендорфе и группа русских обратилась к А. Власову с просьбой заменить З. в предстоящей акции «Скорпион». Власов отклонил это предложение, ценя З. — человека выдающегося духа и патриота».

Ротмистр Э. фон Деллингсхаузен также пишет, что «назначением З. были недовольны известные круги, не только немцев, но и русских».

Из этих русских кругов и сыпались обвинения З. не только в социализме, но и в том, что он еврей и марксист. Например, уже после войны, в июньском номере журнала «Часовой» за 1950 г. были напечатаны очерки А. Алымова «Ставрополь-Берлин», в которых приведены отрывки из дневника некоего капитана Петрова. В одном из них — от 24. 5. 1944 г. — говорится: «Месяца три тому назад я познакомился с майором Зыковым. Человек вполне культурный, но я в полной уверенности, что это — сталинский агент». Далее, уже автор очерков, от своего имени, продолжает: «Позже майор Зыков был действительно расшифрован, как большевицкий агент, но успел скрыться». И это пишет человек, который не знал З. и не видел его, так как перепутать майорские и капитанские погоны довольно трудно! Особенно, бывшему офицеру, каким был А. Алымов... Обвинение З. в шпионаже настолько смехотворно, что и опровергать его нет нужды. Даже такие немцы, как капитан фон Гроте, официально ручались за З., не говоря уже о Штрик-Штрикфельде, Деллингсхаузене, Дюрксене, немецкой журналистке Видеман и мн. других.

8. Исчезновение З.

В апреле 1944 г. я был назначен старшим русским офицером пропаганды Северной группы немецких армий и с небольшим штабом выехал на фронт. Вернулся в Дабендорф в октябре 1944 г. и от генерала Трухина узнал об исчезновении З. и его переводчика Ножина. Позже, ротмистр Деллингсхаузен, проводивший расследование этого таинственного дела, передал мне написанное им заключение.

Накануне отъезда группы, возглавляемой Г. Жиленковым и М. Зыковым, участвовавшей в акции «Скорпион» на Южном

фронте, вечером, З., жившего в деревушке Рансдорф, позвали к телефону — в местный ресторан. Его сопровождал Ножин. Из опроса жителей выяснилось, что недалеко от ресторана стояла легковая машина, к которой подошли З., Ножин и 2-3 немца, причем З. громко и взволнованно говорил что-то. Все сели в машину и уехали. Домой Зыков и Ножин не вернулись.

Ротмистр Деллингсхаузен пишет: — «Меня поразила незаинтересованность чиновника гестапо. Во время осмотра окрестности, он больше интересовался природой и земляникой, чем делом. Потом уже мне один служащий гестапо рассказал, что это было дело их рук, т.е. той группы, которая не верила русским, а в З. видела большевика и еврея. Зная его способности, они боялись, что З. своим пребыванием на фронте нанесет большой вред. На Д'Алквена же они не могли воздействовать, так как он был слишком силен».

Версия, что З. был похищен советскими агентами, распущенная немцами, или, что З. был советским шпионом и сбежал сам — не соответствует действительности. Нет никаких оснований не верить показаниям ротмистра Деллингсхаузена. Штрик-Штрикфельд тоже пишет, что З. похищен врагами Д'Алквена, т.е. группой СС, враждебной политике Д'Алквена. Говоря о похищении З., Штрикфельд отмечает: — «Он был борцом по натуре и из всех в маленькой группе, возглавлявшей РОД — наибольшим западником. Вместе мы прошли тяжелые времена и З. всегда был верным и лояльным товарищем. Его потеря и сознание собственного бессилия совершенно разбили меня».

Для А. Власова, по словам Штрикфельда, похищение З. было сильнейшим ударом и позже, когда составлялся Манифест, А. А. очень недоставало этого независимого и проницательного советника.

9. Роль З. в развитии РОД.

Конечно, З. сыграл крупную роль в развитии РОД, особенно в его начальный период. Однако, З. не был инициатором движения. Идея движения возникла еще в 1941 году — и среди военнопленных, и среди жителей оккупированных немцами областей СССР. Штрик-Штрикфельд описывает факт подачи в 1941 г. меморандума Смоленским комитетом само-

управления о формировании освободительной армии и временного русского правительства. Схожий меморандум подали А. Власов и В. Боярский 3 августа 1942 г. в Виннице. В сентябре 1942 г. А. Власов написал листовку с политической программой, которая позже была положена в основу 13 пунктов Русского Комитета. Всё это было еще до перехода 3. фронта...

В сентябре 1942 г. З., уже в Берлине, написал свой меморандум, который Торвальд назвал «Организационным планом практического использования русского народа против сталинской системы». З. предложил создание новой газеты «Заря» в декабре 1942 г., руководил её редакцией и лично подобрал нужных сотрудников. З. являлся основным советником А. Власова и неоднократно оказывал ему свою моральную поддержку в тяжелые минуты, когда А. Власов собирался уйти в лагерь военнопленных, не доверяя больше немцам.

З. принадлежит идея создания Русского Комитета и именно он окончательно сформулировал 13 пунктов — политическую программу Русского Комитета. (В основе эти пункты уже были даны А. Власовым в его листовке от сентября 1942 г. еще в лагере военнопленных в Виннице). З. являлся политическим советником и генерала Ф. Трухина, оказывая таким образом влияние и на работу Курсов пропагандистов Роа в Дабендорфе. З. организовал первую антибольшевицкую конференцию военнопленных и, вероятно, помог генералу В. Малышкину подготовить его программную речь на этой конференции, повторенную позже в Париже. З. вел непрерывную борьбу с проникновением НТС в Освободительное движение с целью использовать его в своих партийных целях. З. решительно сопротивлялся попыткам нацистов внести в Освободительное движение антисемитизм и опорачивание «англо-американских плутократов».

Зыков отдал свою жизнь в борьбе за идеи Освободительного движения и его имя навсегда вошло в историю этого движения, вместе с именами А. Власова, В. Малышкина, Ф. Трухина и тысячами погибших участников ОДНР.

В. Поздняков

НА СЛУЖБЕ В СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКЕ В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ

Наступала весна. Наши свидания теперь происходили очень поздно, т.к. дни становились все длиннее и почти до 9 часов еще было светло. Как-то в конце апреля, Михайлов вынырнул из темноты оживленный и улыбающийся: — «Ну, поздравляю, — начал он, — из центра (так они называли Москву) получили вам благодарность за вашу работу, особенно об эмиграции — можете о своей судьбе не беспокоиться», — закончил он стереотипной фразой и пожал мне руку. Когда я приехал домой и рассказал жене о полученной «награде», она раздраженно сказала: — «Ты не очень-то им верь, Михайлов больше всего радуется этим похвалам, потому что он на тебе делает карьеру, вот, мол, какого человека мне удалось завербовать, видите как работает! Небось Гантимурова не спасли? Вовремя не предупредили? Наплевали».

Я молчал, что было отвечать? У жены от моей работы нервы совсем расходились и после истории с Гантимуровым пропало всякое к ним доверие. Боялась она и за сына, который после сталинградской битвы, спал и видел как красная армия входит в Берлин, а потом разбивает японцев. Он не сомневался в победе союзников, как впрочем и все его товарищи по институту. Вся эта молодежь ужасающе боялась мобилизации. Дело в том, что ходили слухи, что японцы собираются русскую молодежь, «белых», призвать на военную службу в армию Маньчжу-Ди-го. На станции Сунгари 2-ая, на южной линии, в двух часах езды от Харбина, японцы основали военное училище для подготовки офицеров в армию Маньчжу-Ди-го из русской молодежи. Юношей от 21 до 25 летнего воз-

раста брали в принудительном порядке. Отсрочка давалась только учащимся. Поэтому все старались попасть или в политехнический институт или на богословский факультет или, наконец, уехать за границу, если у кого оказывались там родственники. Словом желающих почти не было. Тем не менее, японцам удалось сформировать два курса — около 200 человек. Начальником школы был по началу майор Асано, почему школа и получила названия «школы Асано», но затем японцы нашли, что это несколько одиозно, а потому назначили русского полковника из военной миссии генерального штаба Я. Я. Смирнова. Его помощником был, тоже из военной миссии, войсковой старшина Михайлов, и были назначены курсовые офицеры. Форму они надели армии Маньчжу Ди-го. Начальник военной миссии ген. Дои, преподнес Смирнову полную форму и японскую саблю. В консульстве очень интересовались этой школой и я дал Михайлову подробные сведения.

Как-то все тот же Боков, сообщил мне о гибели молодого парня Хомичука. Боков был в курсе жандармских дел и не без удовольствия рассказал о молодом Хомичуке. Он, оказывается, тоже служил сотрудником консульства СССР. Под влиянием побед стал очень неосторожен, кому-то из своих «приятелей» что-то сболтнул, тот оказался «стукачем» и Хомичука ночью забрали, мучили, а затем расстреляли. Я спросил Михайлова о Хомичуке. — «Кто это вам сообщил»? — спросил он. Я сказал. — «Советую вам с Боковым быть осторожным», — ответил Михайлов и больше не сказал ни слова. Я понял, что он отлично знает и о Хомичуке, как знал и о Гантимурове. «Завтра замучают меня, — подумал я — и он отнесется также и ко мне».

Теперь моя работа заключалась главным образом в том, чтобы сообщать о настроении японцев. Михайлов наконец-то поверил мне, что Япония не нападет на СССР.

Все русское население, со всеми этническими группами, чем дальше, тем больше проникалось патриотическими чувствами. Все были возбуждены, непрестанно говорили о советских победах. «Родина», которая каждый вечер, ровно в 6 передавала сводку боевых действий на германском и тихоокеанском фронтах, причем ругательски ругала японцев, пророчила и немцам и им полный разгром. Японцы мобилизовали всю свою разведку и всех «стукачей», но поймать станцию

так и не удавалось. Лишь только стрелка часов подходила к 6, как в радио-аппарате на длинной волне, раздавалось: «Говорит Родина. Говорит Родина». Боков мне говорил, что «по его сведениям» — «Родина» — это несколько человек, которые в районе города имеют передвижную станцию радио-передач и каждый вечер, из разных мест, передают сводку, которую им дает консульство, поэтому-то их так трудно поймать и японцы никак не могут засечь эту передачу.

Я как-то спросил Михайлова про «Родину». Он сделал вид, что очень заинтересовался: — «Непременно к следующему свиданию опишите впечатление, которое эти передачи производят на эмигрантов и что говорят японцы». — Боков и князь У-ский много мне помогли, чтобы добросовестно выполнить это задание.

Когда я в следующий раз встретил Михайлова — я очень удивился, увидя, что ко мне идут два человека. Одну минуту мне показалось, что выследили меня, но тут же я убедился, что это Михайлов с каким-то незнакомцем. — «Тов. Демин, — представил он незнакомца, — вот теперь будете работать с ним, я уезжаю в отпуск, в Москву, через месяц вернусь». — Демин оказался молодым человеком лет 35-40, брюнетом, среднего роста, довольно красивым.

Это происходило в феврале 1945 г. Дни Германии были сочтены, союзники один за другим капитулировали, немцы агонизировали. Произошел трагикомический эпизод: в день капитуляции Италии, на Пристани, в коммерческом собрании был назначен концерт в программу которого входило «Итальянское каприччио» Чайковского. И вот, часа за два до начала концерта, срочное распоряжение из жандармского управления: «В виду капитуляции Италии, Итальянское каприччио снять с программы». Так и было сказано: — «В виду капитуляции Италии...»

Свидания наши теперь происходили много реже: 1-2 раза в месяц. Особо срочных вопросов не было. Мне даже казалось, что связь со мной поддерживают «на всякий случай». Задания все носили общий характер. Главным образом, они касались описания работы японских учреждений, или фирм, переписи японских торговых предприятий и т.д.

Шла весна, пришел апрель. Советские армии неудержимо катились к Берлину. Теперь и в военной миссии никто уже больше не сомневался в победе союзников. Демин был весел. Как и Михайлов, прощаясь со мной, он всегда повторял: — «Ну теперь т. К-нен можете о своей судьбе не беспокоиться». — Он восхищался операциями советских маршалов, рассказывал, как он раз взял машину с русским шофером и как шофер, узнав, что он из консульства, начал поздравлять его и с восторгом отзываться о победах советской армии. Интересно было то, что теперь японцы совершенно прекратили наружную слежку за консульством и сотрудниками консульства. Наоборот: они вдруг принялись необыкновенно ухаживать за консульством — посылали белую муку, сахар, рис. Демин много смеялся над этой наивностью и часто повторял: — «В центре очень оценили ваши сообщения, вы были правы».

Все союзники немцев капитулировали. Конец приближался: 1 мая Жуков входил в Берлин, а 9-го Германия Гитлера безоговорочно капитулировала. Это было тяжелое время для русского населения Маньчжурии.

Никто ничего толком не знал. Гадали, чем все кончится? Было ясно одно — Япония, конечно, сопротивляться не может, а раз и она капитулирует, «что будет с нами»? В военной миссии шли разговоры, как советские расправляются с эмигрантами в Болгарии, Румынии, Сербии. На очередной явке я спросил Демина: что будет с нами? Он неопределенно ответил, даже с ноткой нетерпения в голосе: «Вам уже говорили, что о своей судьбе вы можете не беспокоиться».

Между прочим последнее время Демин очень интересовался так называемыми «легитимистами». В Харбине была небольшая группа человек в 25, которые были за Кирилла Вл. и объединялись с младороссами, которые находились в Париже. У легитимистов был свой устав, в котором, между прочим говорилось, что они на стороне СССР в вопросе войны с Германией и ее союзниками. Всё это я легко узнал от председателя этих легитимистов полк. Дубинина, с которым был в добрых отношениях и он, зная мои взгляды, вполне мне доверял.

Ночью, около 3 час. с 8 на 9 августа, мы с женой были разбужены отдаленным грохотом и характерным гудением са-

молета. — «Это наверное американцы», — воскликнул я и быстро, кое-как одевшись, выскочил на улицу. Я прошел к берегу. Была тихая звездная ночь. Нигде ни души. Где-то далеко, слышался шум пропеллера — словно летел ночной жук. На том берегу, над спящим городом, расстилалась золотая дымка электрического освещения. Вправо, далеко в стороне, поднималось к небу зарево пожара. И вдруг неподвижный воздух разорвали протяжный вой сирены, гудки фабрик и заводов. Это были сигналы противовоздушной обороны. Японцы опоздали по крайней мере на полчаса. Самолета давно и след простыл. Когда я вернулся домой, застал жену и сына уже на ногах. Сын волновался и высказывал самые фантастические предположения. По его мнению самолет был американский разведчик и вот-вот американский воздушный флот начнет бомбить Харбин, а затем последует воздушный десант парашутистов.

Спать никому не хотелось, был пятый час утра. Мы с сыном решили как можно раньше отправиться в город. В 7 час. мы вышли из дому. Мой лодочник уже нас ждал. В Китае, всякий торговец, будь то лавочник, разносчик, рикша, старьевщик — создают себе «клиентуру» и имеют определенный круг потребителей. Два-три раза переехали на лодке, или на толкай-толкай, и в толпе лодочников вас поджидает «ваш», другие не вступают с ним в спор, не предлагают свои услуги, ибо само собою разумеется, что вы сядете в лодку «вашего» лодочника.

Не успели мы отъехать от берега, как наш китаец заговорил: — «Его советский войну объявляй, ночью аэроплан шибко высоко летай, бомбу около фабрики Лопато бросай». «Как советские? Американцы», — воскликнул мой сын. — «Моя говори советские, китайские люди хорошо знай, его японские люди скоро контрами ю» — («контрами» — погибнуть, умереть, «ю» -глагол. есть) Эта таинственная почта всегда меня поражала в Китае. Китайцы обыкновенно все знали. И действительно, не успели мы сесть в трамвай, чтобы ехать в Новый Город, как узнали, что СССР объявил войну Японии. По улицам шли японские роты, на перекрестках улиц устанавливали легкие полевые пушки, в скверах устанавливались самоходные противозаэропланские батареи. Город имел вид разтревоженного муравейника. Все куда то шли, торопились. Только

китайцы-разносчики, со своими корзинками на коромысле, все также деловито выкрикивали свой товар, как будто ничего и не случилось. Я пошел к себе в «Нью-Харбин», а сын отправился в институт. Когда я подошел к подъезду тут стояли японские часовые. Я протянул свое удостоверение. Его долго рассматривал один из них, затем начал звонить. Вышел офицер, взял мое удостоверение и куда то исчез. Наконец минут через 10 он появился и меня впустили. Оказывается, весь первый этаж с залом и рестораном, занял какой-то штаб. Все жильцы гостиницы были выселены. Спустившись вниз в свою комнату я взял кое-какие вещи и вышел. Отправился к Кондо. По дороге встретил Бокова — он был совершенно растерян: — «Какие идиоты, — начал он быстро говорить, — всё прозевали. Вы подумайте не знали, что советские сосредотачивают на границе армию? Где же была их разведка? В три часа ночи тяжелая артиллерия красных открыла на Пограничной ураганный огонь, а они спали. Через полчаса после налета спохватились объявить тревогу. Черт знает что такое».

В конторе у радио сидели два наших русских служащих. Говорил русский диктор: — «Японское командование призывает эмигрантов к спокойствию, ниппонская армия непобедима, надо прочно сплотить свои ряды и вместе с Ниппон идти к победе...»

Днем «Харбинское Время» выпустило срочное сообщение о начале военных действий: — Ниппонская авиация господствовала в воздухе. Армия отбила все атаки красных и сама перешла в наступление. Население призывалось к спокойствию, т.к. нет никаких оснований опасаться за исход войны. Тут же была напечатана карта Маньчжу-Ди-го и черными стрелами указаны направления наступления красной армии. Среди русских в военной миссии царило уныние. На следующий день я виделся с Деминым, он просил встречаться каждый день, требовал «освещать» настроения русских, японцев, что говорят в военной миссии и т.д. Японцы опять принялись за аресты. Попали многие знакомые. Молодежь волновалась и ликовала, сын целые дни пропадал, жена чрезвычайно беспокоилась. Боков, также как и все русские служащие полиции, начали спустя рукава относиться к своим обязанностям. Я со многими из них говорил. Все в один голос повторяли: — «Ну, ждать недолго — скоро за нас примутся». —

К 10 августа, наступление красной армии полностью обозначилось. Японцев ждал разгром. В Корею высадился десант, который советские спустили с моторных катеров. В продолжении 4-х лет американцы, имея свой гигантский флот, не могли захватить Корею с моря.

Ночью, часов около 10, поднялся сильный ветер, настолько сильный, что временами переходил в бурю. Сунгари бушевала. Я вышел с сыном на берег и мы долго наблюдали, как на чернеющем горизонте, полыхали зарницы — повидимому где-то там, далеко, шли бои и вспышки артиллерийских залпов освещали горизонт. О переправе на тот берег не могло быть и речи. И вот странное явление: как стало впоследствии известно, именно в эту ночь советское командование сосредоточило 500 бомбовозов, для налета на Харбин. Предполагалось Харбин «стереть с лица земли». Помешала буря, налет отставили.

В связи с этим вспомнился рассказ про одно предсказание. В 1920 году, когда остатки белой армии Колчака пришли в Харбин, в городе появился безвестный старичек, вроде какого-то странника, он ходил и проповедовал: — «Никакое бедствие не постигнет Харбин, все несчастья минуют его».

И действительно, много потрясений, войн, революций шумело вокруг Харбина, а он стоял словно оазис в пустыне во время самума и ничто его не задевало. Спасла его буря и на этот раз. 11 августа по радио было передано обращение Микадо, в котором он оповещал о капитуляции Японии. Я в это время был на Пристани и видел как в некоторых японских школах школьники плакали.

Когда я приехал на завод я застал Иноуэ у себя в кабине. Здороваясь со мной, он сказал: — «Ну, теперь Японии будет плохо — и прибавил: — очень большие дураки». К кому относилось «очень большие дураки» я так и не узнал.

Завод не работал. Китайцы не скрывали своего враждебного отношения и я посоветовал Иноуэ ехать домой. — «Да, да, конечно, я понимаю, вы пожалуйста оставайтесь, надо завод закрыть». Мы с ним простились, чтобы больше никогда не увидеться. Что было с ним дальше я не знаю, но ничего кроме хорошего у меня в памяти об этом японце не осталось. Я прослужил с ним много лет и ни разу у меня с ним не было ни одного недоразумения. Это был культурный, европейски образованный человек. В нем не было и тени шовинизма и я

был прав, подозревая в нем отрицательное отношение к японской военной клике, затеявшей всю эту авантюру, приведшую к катастрофе.

Завод и контору я закрыл, сказал Мише, чтобы он объявил рабочим, что с ними через несколько дней рассчитаются.

К вечеру стало известно о многих самоубийствах японцев. Японцы совсем растерялись. Русские организовали «дружины» для поддержания порядка. В эти дружины вошло много молодежи. Захватили у японцев грузовики и на них разъезжали по городу. Начался неприкрытый грабеж. Подъезжали к японскому магазину, складу, аптеке или аптекарскому магазину и забирали товар. Тоже проделывали с частными квартирами японцев. Потом награбленное делили. В несколько дней много людей сделали себе состояние. Их потом прозвали «трофейщиками».

Всех арестованных выпустили, зато теперь китайцы ловили японцев на улицах и отводили в полицию, где чины «дружины» их запирали в опустевшие камеры.

17 августа разнеслась весть, что части красной армии входят в город и что в Ямато-отеле уже советские офицеры. Мы с сыном отправились туда и увидели советских офицеров, которые группой стояли на подъезде, а один из них, окруженный толпой харбинцев, оживленно рассказывал о военных действиях и жизни в СССР и о том как они победили японцев.

Поздно вечером мы с сыном попали домой. День был полон волнений и радостных впечатлений. По улицам тянулись батареи, артиллерийские парки, обозы. На передках, зарядных ящиках сидели русские солдаты, которых я не видел почти тридцать лет. Энтузиазм охватил не только русское население, но и китайцы были в подлинном восторге. Они толпились около проходивших частей и подняв правую руку с вытянутым большим пальцем кричали: — «Су-лянь-хо» — (Сулянь — старший брат, хо — хорошо) Называть кого-либо «старшим братом» у китайцев считается большим почетом.

Ночью из города доносилась стрельба. В разных концах города раздавались то отдельные выстрелы, то короткие очереди из автоматов. Мы почти не спали, нервы были натянуты.

Рано утром я сразу отправился в консульство. Теперь все почти чины консульства сменились, из старых почти никого не осталось. В консульстве творился бедлам. Масса народа в

приемной и в зале. Первых кого я увидел — мать и дочь Гантимуровы. У матери было заплаканное измученное лицо. Не успел с ней поздороваться, как она быстро заговорила: — «Слыхали о моем сыне? Как вы думаете, жив он или нет? Вот тут мне вицеконсул Савченко сказал, что им ничего неизвестно... Я ему говорю, а кому же известно? А он отвечает, что не один он исчез, надо подождать, может-быть впоследствии удастся выяснить, что с ним произошло. И знаете, — добавила она, — жить нам трудно, муж не работает, дочь тоже нигде не устроена, а они тут так для нас ничего и не сделали».

Мельком видел Демина, он куда-то спешил: — «мы вас известим наднях», — бросил находу и куда то исчез.

Много старых железнодорожников пришли «устраиваться» опять на дорогу. Как всегда ходило масса нелепых слухов — каждый что-нибудь сообщал. То и дело пробегали сержанты и старшины — они тоже чем-то были заняты. Я вышел наружу. Большая, круглая, пирамидальная клумба перед подъездом багровела чудесными каннами, стояли прекрасные августовские дни. Мне живо вспомнилось, как мы с Михайловым въезжали сюда и как отсюда выносились на консульской машине, словно бандиты, опасаясь погони, и вспомнилась та ночь когда жизнь висела на волоске и я чудом ушел от японского застенка. Как быстро все изменилось. Гантимуров, Хомичук и сколько еще заплатили за это жизнью? Я уцелел. Посмотрим, что будет дальше?

Город был необычайно оживлен. По большому проспекту, грохотали огромные танки, они входили с юга. Все время встречались военные. В бывшем штабе японских войск теперь разместились комендатура. Комендант — ген. майор Белобородов. На столбе вывешено объявление: на завтра в 9 час. утра на площади назначается парад войск.

Дома застал жену в слезах, оказывается укладывает чемодан сыну. Он был тут же в невероятно возбужденном настроении: командир какого-то соединения сегодня отправляется в Чаньчунь и пригласил сына в качестве переводчика китайского и японского языков. Добиться от него более подробных сведений нам так и не удалось — какая часть? что за командир? Он отвечал, что никаких сведений дать не может, но что его долг служить родине. На этом мы с ним и прости-

лись. Могло ли нам придти в голову, что мы видели его в последний раз?

На следующий день, на площади, против собора, где когда-то происходили смотры и парады заамурцев, был парад советских войск. Танки, «катюши», генерал в новенькой гимнастерке с золотыми погонами и в бриджах с красными лампасами, в новеньких начищенных сапогах. Приехал в автомобиле ген. консул с командующим войсками. Поздравляли с победой, кричали ура.

Дома я застал извещение из консульства — приглашали на завтра к 12 час. в консульство. Ночью грохотали в разных концах города выстрелы, гулко сотрясали воздух взрывы. Утром узнал, что взрывали японские памятники и часовню, против собора, построенную японцами в память Натарова, который был убит под Номонханом, куда отправился добровольцем. Начались грабежи. Советские принялись отнимать часы у встречающих на улицах.

В консульстве, в приемной, попрежнему была масса народа. Меня встретил Демин, который провел меня к консулу. Мне была вручена медаль в память победы над Японией и паспорт. Я поблагодарил и сказал, что в настоящее время остался без работы, на что была произнесена все та же стереотипная фраза: — «О своей судьбе не беспокойтесь». При прощании был приглашен на банкет. На мой вопрос, как относительно отъезда в СССР — вицеконсул Савченко ответил, что «пока» об этом ничего неизвестно.

Видел Гантимуровых — мать и дочь — эта несчастная мать все не хотела верить, что сына нет в живых, а в консульстве ей каждый раз говорили, что им еще ничего неизвестно. Гантимурова-отца устроили на небольшое жалованье конторщиком при кооперативе КВжд.

Епископа Нестора, телеграммой из Москвы, патриарх Алексей назначил экзархом православной церкви в Маньчжурии. Теперь я понял почему им так интересовалось консульство. Нестор получил великолепный автомобиль и с красным флажком на радиаторе, разъезжал по всему городу. Нестор был очень импозантен: смуглый брюнет, с аккуратно подстриженной бородкой, с красивыми черными глазами, в высоком черном клобуке и черной рясе — он собенно производил эф-

фект когда появлялся весь в белом. В церкви он был настоящим актером и вел службу словно это был театр. Человек он был совершенно беспринципный, готовый служить кому угодно. В обществе это был очаровательный собеседник, не прочь поддержать компанию за рюмкой водки. Он бесподобно рассказывал еврейские анекдоты и имитировал евреев. У него, разумеется, было немало поклонниц женского пола, многие «несторианки», как их называли, были просто в него влюблены. В приемной его покоев постоянно толклись дамы, а стол и подоконники всегда были уставлены тортами и пирогами приношением «поклонниц».

Став во главе Маньчжурской епархии, после смерти Мелетия (который долго не прожил после своего воззвания — не поклоняться богини Аматерасу) — Нестор начал немедленно жестоко преследовать Филарета, лишив его прихода за то, что тот подписал воззвание. Филарет был очень популярен среди православного населения и преследование его вызвало сильное осуждение Нестора. Вообще, несмотря на весь свой блеск, в массе русского населения, Нестор не пользовался популярностью — многие его прекрасно понимали, называя комедиантом, бабником, Распутиным.

Дёмин просил меня подробно «осветить» впечатление на русских, произведенное назначением Нестора. Я все откровенно изложил, в чем мне много помогла жена.

Вскоре в консульстве был устроен банкет, на который были приглашены несколько человек, в том числе и я. И вот здесь я встретился с тремя организаторами радио-передач «Родина». Это были полковник Д-ин, майор армии Маньчжун-Ди-го, армянин Н-ен, прекрасно говорящий по-китайски, и некий И-ев. Я, конечно, их всех знал, но никогда не подозревал о их деятельности. Все они принадлежали к легитимистам и младороссам. Полковник Д-ин был их председателем. Теперь я понял, почему Михайлов так интересовался их деятельностью и их уставом.

Мне стоило большого труда добыть именно этот «устав», т.е. «наказ» Вел. Кн. Кирилла Владимировича. Пришлось пойти даже на некоторый обман, войти в их объединение, пользуясь тем, что полк. Д-ин чрезвычайно ревностно относился к своим обязанностям представителя В. К. Кирилла Вл. и очень старался завербовать как можно больше членов. Японцы отно-

сились весьма отрицательно к младороссам и легитимистам и в начале войны двух главных представителей Вел. Князя — ген.-м. Акинтиевского и полк. Жадвоина, по прозвищу «жадный воин», выслали из Харбина.

Консульство с полным одобрением отнеслось к легитимистам, т.к. в их программе стояло на первом месте война до победы и Советский Союз пользуется полной поддержкой легитимистов и младороссов.

И вот, за год до окончания войны, после того как главные члены объединения были хорошо «освещены» — была организована радио-передача. Радио-аппарат помещался в автомобиле. И-ев был за шофера, Н-ен настраивал передачу, полк. Д-ин составлял сводку и говорил. Машина выезжала около шести вечера, ехали за город, всегда в разные места и оттуда вели передачу.

Банкет был великолепный: с икрой, балыками, семгой, замечательной кулебякой, фазанами, пломбиром. Были все консульские во главе с консулом. Меня приветствовали как латыша, который, только что получил советский паспорт. О моей деятельности не было сказано ни слова, я остался «засекреченным».

Консул произнес речь, поздравляя с победой, говорил о замечательной жизни, которая теперь всех нас ждет и т.д.

Теперь у меня не было никакого дела. Меня оставили как электромонтера при гостинице «Нью-Харбин», где расположился штаб армии и мне выплачивали 3 тысячи юаней — новые деньги, которые были введены с приходом совармии, но в гостиницу меня не допускали, т.к. никто посторонний доступа туда не имел. На это жалование едва можно было существовать и мне приходилось подрабатывать частной работой.

Между тем, в городе начались аресты. Приходили на дом офицеры НКВД или «Смерша» и забирали людей. Брали и прямо на улице по указке местных «стукачей». Часто приходили по несколько раз, т.к. работало сразу несколько разведок. За Боковым, например, являлись 9 раз. Конечно кн. У-ский, Д-ский и чины военной миссии были арестованы в первые же дни.

Между тем, жизнь становилась все труднее. Цены росли и существовать на мое жалование было крайне трудно. О сыне мы ничего не знали. От него было лишь одно письмо, в ко-

тором он писал, что живет хорошо и собирается вместе с армией в СССР.

Мы с женой тоже решили ехать в СССР, я решил просить, чтобы нам дали разрешение уехать в Латвию.

В консульстве застал большие перемены — из прежних служащих никого почти не осталось, Михайлов так и не вернулся и когда он говорил, что уезжает только в отпуск на месяц, он явно обманывал. Исчез и Демин. Меня принял новый вице-консул Колбасьев. Он сказал, что «пока» еще не получено разрешение из «Центра» давать разрешение на отъезд в СССР. Я ему пожаловался на трудность жизни, в ответ он сказал: — «Ничего, потерпите, скоро все выяснится».

В приемной встретил сестер Хомичук, очень милостивых девушек. Они жили с матерью. О том, что брата расстреляли они знали точно, но хотели, чтобы консульство навело справки, где могила брата. Консульство обещало «постараться», но говорили, что они «этого дела не знают».

Хомичук жаловались на трудную жизнь — обе жили уроками и содержали мать. Еще хуже было положение Гантимуровых. Сам Гантимуров недолго служил конторщиком — всего несколько месяцев. Его разбил паралич — возможное последствие того, что они пережили. Теперь мать и дочь остались совсем без ничего и как они существовали было совершенно непонятно.

Между тем, в конце апреля мы с женой, переправившись на ту сторону, с удивлением узнали, что советской армии больше в городе нет. Вся подготовка к эвакуации и сама эвакуация — происходили в такой тайне, что буквально никто не заметил, как армия словно исчезла — вечером по городу разгуливали красноармейцы, а на утро никого — словно их и не было.

«Нью-Харбин», когда я туда пришел, чтобы посмотреть, что там делается, оказался занятым штабом «Палу», т.е. 8-ой китайской коммунистической армией.

Теперь я перестал получать и свое жалование как электромонтер гостиницы. Надо было куда-то устроиться.

Между тем, открылось новое советское учреждение «Экспортфильм» — оно помещалось в большом кинотеатре «Москва». Во главе этого «экспортфильма» был некий т. Нескубо. Нескубо я застал в его кабинете. Обо мне доложила его се-

кретарша — девушка из местных. «В чем дело, товарищ?» — приветствовал он меня.

Я рассказал о моем положении, а также и о моей связи с консульством во время войны. Выслушал меня Нескубо довольно равнодушно: — «Ничего, к сожалению, товарищ, сделать не могу. У меня у самого вот-вот начнутся сокращения, а что касается монтера и кинооператора, так они имеются... так-то вот». Я разозлился: — «Значит, т. Нескубо, можно выходить на улицу и с голоду подыхать, так что-ли?» — «Ну, что-ж, можно и на улицу», — ответил он. Я встал — «Благодарю и на этом», — бросил я и вышел. Положение создавалось тяжелое. Что делать?

По улицам шли, под охраной, толпы японцев — женщины с детьми на спине, ребята, девушки, мужчины. У каждого в руках была небольшая сумка со снедью и больше ничего. Из вещей только то, что на самих. Это шла «эвакуация» японского населения из Китая — выселяли всех отобрав решительно всё и движимое и недвижимое имущество. Разрешено было остаться желающим врачам и некоторым инженерам. Я вспомнил моего милого Иноуэ, он исчез бесследно тогда, в тот памятный день капитуляции.

Я смотрел на это шествие и меня поражало одно удивительное явление: китайцы не испытывали ни малейшей ни злобы, ни мстительности в отношении своих поверженных мучителей. Ведь чего только японцы не проделывали с китайцами? Били, истязали в застенках, замучивали за горсть риса, лупили резиновыми палками по головам, при чем не скрывали своего презрения к китайцам. И вот разбиты японцы, и на другой же день смотрю — на базаре стоит японка, рядом с китайцем и тоже чем-то торгует. Китайцы проходят и... ничего. Все озлобление продолжалось всего лишь несколько дней во время капитуляции.

На следующий день был в городе, заходил к некоторым знакомым, приходилось подумывать о приискании какой-то работы. Встретил одного из преподавателей политехнического института. Рассказал ему о своем положении. Он очень близко принял к сердцу мой рассказ и посоветовал сейчас же обратиться к директору института майору Обручеву. Майор, по его словам, был хоть и грубоватым, но очень порядочным человеком, а в институте, по его словам, не хватало лаборантов.

Я отправился к майору. Он принял меня в своем большом кабинете. Это был коренастый, широкоплечий человек, с простым и грубоватым лицом. Он молча меня выслушал и сказал: — «Ну, что-ж, служили нашей родине, помогали нам, это хорошо, я вас принимаю, но только к сожалению лаборанты у нас уже есть, а вот преподавателей русского языка нехватка — я думаю вы справились бы с младшим классом?» — Я ответил, что хотя никогда не преподавал, но русский язык знаю хорошо и думаю, что смог бы преподавать. — «Ну, в таком случае я вас принимаю», — сказал он и с этими словами позвонил. Вошла молодая девушка — местная — которая, оказывается, ведала кадрами. — «Дайте т. К-нуну заполнить анкеты, — сказал он, — и отправьте начальнику кадров управления дороги на утверждение, а вы товарищ, — обратился он ко мне, — отправляйтесь в институт и обратитесь к т. Куксюку, заведующему кафедрой, он вам укажет класс. Ну, привет. Начинайте!» — закончил он, подавая мне руку.

Обручев произвел на меня самое хорошее впечатление и я возвращался домой в радостном волнении. Однако, дома жена отнеслась скептически к моим восторгам: — «Еще неизвестно чем все кончится, — говорила она, — небось и Михайлов и Демин чего не наобещали: о своей судьбе не беспокойтесь — повторяли, а вот теперь не «беспокоишься» — ходишь пороги околачиваешь».

Дело в институте у меня пошло хорошо. Заведующий кафедрой Куксюк был старый профессиональный учитель. До прихода советских он 20 лет преподавал в гимназии ХСМЛ, учительницей была и его жена. Оба они, впрочем как и многие другие собирались в СССР и ждали только разрешения на выезд.

Куксюк был очень порядочный и хороший человек. Он сразу мне много помог. Представил меня классу, разъяснил как надо начинать преподавать, что именно требуется и т.д. Мой класс состоял из 16 молодых китайцев, которые ни одного слова не знали по-русски. Учителя все были бывшие эмигранты, теперь получившие советские паспорта. Заведующий факультетом был китаец, хорошо говорящий по-русски.

И вот через две недели, когда я совсем освоился со своим положением, меня вызывают в канцелярию, к заведующему факультетом. Китаец говорит мне, что ему только что звонили

из управления дороги и сообщили, что меня начальник кадров дороги, майор ж.-дорожной службы Недосекин не утвердил: — «Я очень хочу, чтобы вы оставались, студенты вами очень довольны, поэтому я подожду вас увольнять еще неделю, а вы за это время постарайтесь это дело уладить», — сказал мне Лю.

Я ничего не мог понять? Необычайно был удивлен и Куксюк. Он тоже считал, что это какое-то недоразумение.

Я отправился в кадры управления дороги. Когда я вошел к секретарше, она, увидя меня, порылась в бумагах и, протягивая мне анкету сказала: — «Вас не утвердили». На моей анкете крупным почерком, наискось стояло — «Отказать. Недосекин». Я просил о себе доложить. Он немедленно меня принял: — «Здравствуйте. Садитесь. В чем дело?» — «Почему вы меня не утвердили?» — «Вам 62-ой год, а на дорогу и в институт принимают мужчин до 60 лет, а женщин до 55-ти и поэтому утвердить я вас не могу» — «Но в институте есть и старше меня, затем в СССР, я сам читал, преподаватели и преподавательницы есть и 75 и даже 80 лет, да, наконец, я уже преподаю две недели, мною довольны и сам зав. факультетом хочет чтобы я остался» — «Что хочет зав. факультетом меня не касается, а относительно возраста теперь решено старше 60 лет не принимать. Что же касается вашего преподавания в продолжении 2 недель, так вы не имели права преподавать не будучи утверждены». — Тут я ему рассказал про свою деятельность во время войны и как мне говорили Михайлов и Демин, чтобы я о своей судьбе не беспокоился.

Недосекин молча меня слушал и на его красивом, довольно тонком лице ничего нельзя было прочесть. Было ему на вид лет 35-38. Он был очень хорошо одет, а на вешалке висело его отличное пальто, с воротником и лацканами из выдры, на темном хорьковом меху. — «К чему вы все это мне говорите? Я ведь сказал вам почему я вас не утвердил?» — «Вы что ж, т. Недосекин, считаете, что за всю мою работу я не могу получить скромного места преподавателя? Тем более, что место это я сам нашел, меня приняли и, больше того, находят, что я нужен». — «Все это меня не касается, ищите себе работу, где возраст не играет роли».

Было ясно, что я ничего не добьюсь у этого подлеца. Я только не мог понять, в чем дело и почему он не взлюбил

меня? — «Обратитесь в китайский учебный отдел, там кажется нужны преподаватели русского языка», — напутствовал он меня, когда я поднялся.

Я решил пойти в консульство. Там уже кроме Зюкина никого не было — весь состав консульства переменился. Я просил доложить обо мне консулу. Он почти сразу же принял меня в своем огромном великолепном кабинете. Исполняющий обязанности консула (нового ждали) был невысокий человек, почти квадратный, еще молодой, с симпатичным открытым лицом. Я без утайки все ему рассказал. Он внимательно меня выслушал. «Вот как мы сделаем, — сказал он, — напишите мне письмо, изложите ваше поступление в институт, работу и затем просьбу о вашем оставлении. Можете письмо подать завтра утром».

Дома жена была возмущена до глубины души. — «Он садист, — говорила она, — настоящий садист этот Недосекин, поэтому он и начальник кадров. Вот посмотрим, что делает твой консул?»

Утром я повез письмо. Дежурный сотрудник сейчас же его отнес консулу. Через минуту он вернулся и сказал, что консул просил подождать. Через полчаса раздался звонок и сотрудник вынес мое письмо с резолюцией консула, написанной на письме: «Товарищу секретарю принять меры для устройства т. К-нена». Этот последний сейчас же взял трубку телефона и соединился с адъютантом управляющего дорогой, молодым парнем — «Володей». Разговор был короткий. Секретарь и я, уверенный, что все сделано, отправился в институт. Однако, прошел день, два, три — перемен никаких не произошло. Китаец Лю вызвал меня и сказал, что дальше оставлять меня не может, т.к. не имея разрешения он не в состоянии меня зачислить в штат.

Как мне не было противно — пришлось снова идти к Недосекину. Он принял немедленно. — «Вам адъютант управляющего передал о просьбе консула?» — спросил я. — «Консул тут не при чем, начальник кадров я, вы напрасно хлопочете т. К-ен, я уже все сказал», — ответил Недосекин.

Говорить больше было не о чем и я, не протрившись, вышел. Решил сделать еще последнюю попытку, обратиться к управляющему дорогой генералу Груничеву. Это был послед-

ний управляющий КВЖД. С час я ждал в приемной Груничева, пока секретарша не сказала мне: — «Проходите».

За большим письменным столом сидел массивный, высокий человек в черной тужурке с серебряными пуговицами и серебряными генеральскими погонами. Лицо у него было широкое, немного скуластое, с копной каштановых волос на голове. — «Садитесь», — вместо всякого приветствия сказал он. Я ему изложил всю мою историю, начиная с первого дня встречи с Михайловым. Он внимательно выслушал и сказал: — «Хорошо, я наведу справки, завтра зайдите в кадры».

На другой день я зашел в кадры. Секретарша, увидев меня, сейчас же сказала — «т. К-нен вам окончательно отказано». Я плохо помню, как попал домой. Жены не было дома. Я прилег на кушетку и первый раз в жизни заплакал — заплакал от злости, обиды, бессилия.

Через два дня я получил из консульства повестку: — «явиться к 11 часам к т. Зюкину».

Зюкин меня сразу принял. Разговор был недолгий: — «Садитесь. Вы знаете как исчезают люди?» — начал он без всякого предисловия. — «Да, знаю т. Зюкин», — ответил я. — «Ну, так вот, имейте в виду, что исчезнете и вы, если будете ходить и всем рассказывать о своей работе, о связи с консульством и т.д. Мне звонил т. Недосекин и просил принять меры против ваших выступлений. Понятно? Иначе будет плохо».

Итак я остался без ничего. Попытался написать еще письмо в Корею, в советское посольство Михайлову — мне говорили, что он теперь там в качестве вице-консула, но ответа никогда не получил.

На этом заканчивается повествование А. Я. К-нена, латвийца по национальности, работавшего во время войны в разведке СССР. Оставшись совершенно без работы, он зарабатывал на жизнь «частной практикой» т.е. проверял и исправлял радио-аппараты, чинил электропроводку. Много и долго хлопотал, чтобы узнать о сыне, но ничего добиться так и не мог. Через два года после окончания войны он внезапно умер от так называемого «маньчжурского» тифа.

Рассказал он мне всё это подробно, а потом как-то зашел и передал свои разрозненные записки и заметки: — «Может быть когда-нибудь напишете», сказал он. *И. С. Ильин*

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

ОТЪЕЗД ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ В РОССИЮ

Наступил февраль 1917 года. Все ждали событий в России. Судя по дебатам в Государственной Думе было видно, что в Петербурге пахнет переворотом. Помню, я был в типографии, готовил выпуск очередного номера своей газеты. Ко мне подошел наборщик и показал «Нью-Йорк Джернал» с большим аншлагом на первой странице: «Революция в Петербурге». Я даже не захотел читать эту телеграмму, потому что эта газета была тогда на стороне Германии и чуть ли не с первого дня объявления войны, не переставала предсказывать революцию в России. Но когда я кончил работу, взял газету и прочел телеграмму из Берлина: «В Петрограде вчера произошел переворот. Депутат Гронский назначен директором Петербургского Телеграфного Агентства». Это уже не газетная утка — подумал я, — ибо если б это была выдумка, то не сообщали бы о депутате Гронском, а писали бы, что Родзянко занял место царя, или что Милюков стал президентом и тому подобное. Я сразу же пошел вниз посмотреть выпуски нью-йоркских вечерних газет. В ближайшем киоске я увидел и в других газетах телеграммы уже не из Берлина, а из Петрограда: — там действительно произошел переворот, Николай II отрекся от престола и т.д.

Незадолго до этого моя жена серьезно заболела и я не мог ходить в редакцию «Нового мира», не посещал собрания, на которых Троцкий выступал, как главный оратор. Я не мог следить за «Новым миром». Я читал «Нью Йорк Ворльд» и «Нью Йорк Таймс» и у меня не было никакого интереса даже заглянуть в «Новый мир» и узнать, что там пишут о революции Троцкий или Бухарин.

Но через несколько дней после отречения царя и образования Временного равительства, я встретил в кафе известного бундовского публициста А. Литвака. «Что, вы придете на

сегодняшнее массовое собрание?» — спросил он меня. «Какое собрание?» — переспросил я. «Да там будут выступать Бухарин, Троцкий и другие ораторы из «Нового мира», сказал он. Я решил пойти на это собрание. Когда я пришел в Бетховен Хол, где это собрание состоялось, зал был уже набит битком, настроение было праздничное. Все лица сияли. Огромное большинство собравшихся состояло из мало развитых русских, вернее говоря, белорусских рабочих, часть которых были анархисты, другие сторонники «Нового мира».

Троцкий и его жена стояли сзади, у последнего ряда стульев. Я подошел к ним и поздравил их с победой революции. Не помню, что он мне ответил, но я прекрасно помню, что мне тогда пришло в голову то, что один старый русский социал-демократ и сотрудник «Форвертса» Г. Бургин, в моем присутствии, рассказывал моему другу Григорию Зиву о впечатлении, которое Троцкий произвел на него в первый раз, когда он брал у него интервью для «Форвертса».

«В 1912 году — сказал Бургин — я интервьюировал Льва Дейча, когда он приехал в Нью-Йорк редактировать «Новый мир». Какой контраст между ним и Троцким! В то время, как Дейч, это сама искренность и простота, с ним чувствуешь себя с первой же минуты, как с равным товарищем, несмотря на большую разницу в возрасте — в присутствии Троцкого, вы все время чувствуете себя, как будто вы говорите с высоким сановником, который ни на минуту не дает вам забыть о расстоянии, которое существует между ним и вами». (Сам этот Бургин в 1918 году стал коммунистом, много лет занимал большой пост в партии и умер коммунистом, но впечатление его от Троцкого было правильное).

В зале, на трибуне сидел служащий конторы «Нового мира», большой почитатель Троцкого, который и вел собрание. Один из сотрудников «Нового мира» говорил, но мало кто прислушивался к нему. Перед тем, как он кончил, к Троцкому подошел один из его «лейтенантов» и спросил, кто дальше должен говорить. Троцкий назвал имена следующих ораторов. И они один за другим говорили. Наконец наступила очередь самого Троцкого. Его собравшиеся встретили шумными аплодисментами. Я в те дни как я уже говорил, не читал «Нового мира» и не знал о позиции занятой Троцким.

Троцкий начал свою речь очень красочным описанием

событий, которые привели к революции. Но потом, резко начал нападать на Временное Правительство. «Кто такие эти члены Временного Правительства? — говорил он. — Это представители буржуазии и помещиков, которые после революции, сделанной рабочим классом, захватили власть в свои руки. Кто такие эти министры? Милюков, который назвал красное знамя «красной тряпкой», Гучков, который Столыпинские виселицы назвал «столыпинскими галстуками». Потом он дошел до Керенского. «Керенский — почти кричал он — тоже социалист! Когда революционный народ на улице узнал Сухомлинова, бывшего царского военного министра, и хотел его растерзать, Керенский стал своей грудью его защищать».

Один из присутствовавших профессор И. А. Гурвич, старый бывший марксист, который тогда даже сочувствовал «интернационалистам», не удержался и крикнул Троцкому — «Фуй, какая гадость!». Но Троцкий, конечно, продолжал свою речь в том же духе и ему аплодировали. Закончил Троцкий словами: «Я горжусь тем, что принадлежу к тому классу, который бросил горящий факел в пороховой погреб всех империалистических государств». (Я цитирую эти слова из воспоминаний о Троцком доктора Григория Зива, который был другом юности Троцкого и который там замечает: «Какой класс тогда имел в виду Троцкий, журналист и сын богатого еврейского колониста, он своим слушателям не сказал»). В моей памяти остались последние слова Троцкого: «Долой контрреволюционное Временное Правительство! Долой войну! Да здравствует всемирная социальная революция!»

Многие из почитателей Троцкого были разочарованы его речью, у других она даже вызвала сильное возмущение. Но огромное большинство шумно аплодировало. Когда он сошел с трибуны и подошел к своей жене, он с большим триумфом кивнул мне головой: «Ну? — как будто хотел он сказать: — Что вы теперь скажете?» Я не удержался и сказал ему: «Если бы я был Милюковым, (который был тогда министром иностранных дел во Временном Правительстве) я бы вас в Россию не впустил теперь». Троцкий с возмущением воскликнул: «Мы, интернационалисты, все время говорили, что когда ваши Плехановы получают власть, они нас будут вешать». — «Вешать, по моему, не надо никого, — сказал я. — Я против смертной казни, но вы в 1905 году погубили первую рус-

скую революцию, а теперь едете погубить вторую. Для России и для революции, было бы гораздо здоровее, если бы вы на все время войны остались здесь, в Соединенных Штатах». Троцкий отвернулся от меня и больше я его уже никогда не видал.

С первой партией политических эмигрантов Троцкий уехал в Галифакс — Канаду — с тем, чтобы оттуда пароходом ехать в Россию. Но англичане его задержали и интернировали. Через несколько дней после того, как Троцкий оставил Нью-Йорк, я зашел в русский книжный магазин Гуревича на Ист-Бродвее. Доктор М. Гуревич тогда был видным деятелем «Бунда». Там же я застал Тимофея Копельзона одного из пионеров «Бунда» и Союза русских Социал-демократов за границей. Он меня встретил словами: «Вы слышали? Англичане задержали в Галифаксе Троцкого и не дают ему ехать в Россию?» «Браво! — воскликнул я громко и начал аплодировать. «Тише, тише, — сказал Копельзон с хитрой улыбочкой, — люди могут еще услышать, что вы радуетесь этому». «Я, конечно очень рад этому и меня не беспокоит, что кое-кто из ваших друзей меня объявит реакционером», ответил я. Доктор Гуревич и Копельзон тогда оба были противниками Троцкого, но они были левыми социалистами и считали, что социалист не должен открыто солидаризироваться с буржуазными англичанами, которые задержали социалиста Троцкого. (Доктор Копельзон через несколько лет после этого уехал в Россию, там вступил в коммунистическую партию и вскоре умер в Москве).

Как известно П. Н. Милюков, под давлением петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов, во главе которого тогда стояли меньшевики и социалисты-революционеры, потребовал от английского правительства освобождения Троцкого и просил не мешать ему приехать в Россию. И английское правительство освободило Троцкого. Троцкий приехал в Петербург опять со своим «складным стулом», то-есть, не примкнул ни к одной партии, потому что все главные места во всех партиях были уже заняты. Председателем Совета был меньшевик Николай Чхеидзе, умеренный «интернационалист», а главным вождем Совета был меньшевик Иракий Церетели, тоже умеренный «интернационалист». Из других трех, наиболее влиятельных членов Совета, были Абрам Гоц, социалист-революционер, Марк Либер, бундовец и Федор Дан, меньше-

вик. Все они, как и Церетели были умеренными «интернационалистами», но они все-же были за коалицию социалистов с либералами и против сепаратного мира с Германией.

На них Троцкий особенно нападал. Что же касается маленькой группки «левых интернационалистов», которые были против коалиции с буржуазными партиями и за то, чтобы война была сейчас же прекращена, то их лидером был Мартов. К нему Троцкий тоже не хотел примкнуть. Он в то время был гораздо ближе к Ленину. Но вступить в большевицкую партию и играть там вторую или третью скрипку он тоже не хотел, потому что второе место в большевицкой партии занимал тогда Григорий Зиновьев. Поэтому Троцкий, вступил в «межрайонную группу», которая в нелегальные времена состояла в своем большинстве из большевиков, отделившихся от официальной большевицкой партии.

Там Троцкий сразу же занял почетнейшее место и в эту группу вступило большинство сотрудников Троцкого по парижской газете «Наше слово», которые вернулись после революции в Россию, — Луначарский, Рязанов, Лозовский, Мануильский, Раковский и другие. Там же были и все «интернационалисты» из «Нового мира», которых Троцкий взял с собой из Нью-Йорка, или они приехали в Россию вслед за ним: — Григорий Мельничанский, В. Володарский, Григорий Чудновский, Сергей Зорин, Александр Менсон и другие. Сначала они стали членами «межрайонной группы» или «Межрайонки», как тогда ее называли, но фактически вели ту же агитацию, что и большевики. Очень скоро часть из них примкнула к большевицкой партии.

Троцкий же все еще сидел на своем «складном стуле», и только после провала июльского восстания, когда Временное Правительство обвинило Ленина, Зиновьева и других большевиков в измене, в получении денег от немецкого правительства, Троцкий открыто, письмом в редакцию газеты Горького «Новая жизнь», солидаризировался с Лениным и вместе со своими сторонниками официально вступил в большевицкую партию. Там он скоро начал играть первую скрипку, став самым близким человеком к Ленину. Почти все троцкисты из «Нового мира», тоже играли большую роль в большевицкой революции.

Григорий Чудновский, бывший меньшевик, сын старого революционера семидесятых годов, Соломона Чудновского,

вместе с Антоновым-Овсеенко арестовали в Зимнем дворце членов Временного Правительства. Через несколько месяцев Чудновский был убит, будучи военным комиссаром на Киевском фронте. В. Володарский, (настоящая фамилия его была Гольдштейн), мало развитой, бывший меньшевик, но большой демагог с острым языком, был одним из организаторов большевицкого переворота. Впоследствии он был редактором петербургской большевицкой газеты «Красная газета». Володарский дирижировал толпой пьяных большевицких матросов и солдат, которые в ночь с 18-го на 19-ое января 1918 года орудовали в Таврическом дворце, где происходило первое и последнее заседание Всероссийского Учредительного собрания, разогнанное Лениным. Потом Володарский был назначен комиссаром печати Петрограда и он конечно, по указке Ленина, закрыл все социалистические и либеральные газеты и журналы, которые существовали в России.

На собраниях и также в своей газете он неустанно натравливал погромным языком солдат и матросов на анти-большевицкую интеллигенцию и на меньшевиков и социалистов-революционеров и поэтому летом 1918 года был убит социалистом-революционером. Сергей Зорин, — настоящая его фамилия была Гомберг — добродушный, мало развитой, молодой парень, в Нью-Йорке работал, как маляр, и мог произнести неплохую речь перед невежественной толпой. В России, до приезда в Америку, он был социалистом-революционером, потом в Америке стал меньшевиком, а позже под влиянием Троцкого — «интернационалистом». Когда большевики захватили власть, Ленин назначил его председателем первого петербургского Революционного Трибунала. Он был «либеральным» большевиком и потом играл большую роль в Петроградской Коммуне. В тридцатых годах Сталин сослал его в Сибирь, а потом ликвидировал вместе с другими старыми коммунистическими оппозиционерами.

Георгий Мельничанский за несколько лет до войны был сослан в Сибирь. Оттуда бежал в Америку и был активным членом «Нового мира». Он был по профессии ювелир. Лев Дейч его особенно не выносил. Он для него не имел другого имени, как «фельдфебель». Когда в России большевики захватили власть, Мельничанский по рекомендации Троцкого, был назначен главным комиссаром над всеми советскими профсоюзами.

Мельничанского Сталин тоже позже ликвидировал. Александр Менсон, настоящая фамилия которого была Минкин, был наборщиком в типографии «Нового мира». После большевистского переворота Ленин и Троцкий назначили его управляющим русской государственной типографией в Петрограде, которая печатала ассигнации и другие ценные бумаги. Потом Менсон одно время был консулом в одной из азиатских стран. Что с ним случилось, дальше не знаю. Вернулся в Россию также рабочий-металлист Николай Янсон, о котором я писал в одной из предыдущих глав. В 1907 году он приехал в Америку ярким большевиком. Потом его большевизм «выветрился». Однако во время войны, под влиянием «Нового мира», а главным образом Бухарина и Троцкого, он стал «интернационалистом» и по приезду в Петроград, вновь вступил в большевицкую партию. Это был искренний идейный человек. Он был потом комиссаром юстиции РСФСР и одно время председателем Контрольной Комиссии в Петрограде. Ленин питал к нему большое доверие. Он умер, кажется, еще до воцарения Сталина.

Таким же идейным человеком был Алексей Пионтковский, с которым, как и с Янсоном, я подружился еще в 1908 году в Филадельфии. Он уехал в Россию в том же поезде, что и Бухарин. Жена его была анархисткой. Я с ними дружил и провожал их на вокзале. Он принимал активное участие в большевистском перевороте, а во время гражданской войны погиб на украинском фронте. Счетовод «Нового мира» Фриман потом был управляющим конторой московской «Правды». Как и другие американские троцкисты, он при Сталине был арестован, многие годы сидел в разных тюрьмах и канцлагерях. Выжил ли, не знаю.

Фишелев, кажется бывший меньшевик, родом из Полтавы, бежавший из Сибири в Америку, и принявший деятельное участие в ассоциации «Нового мира», по возвращении в Россию играл большую роль в большевистской революции. Потом он был деятельным членом троцкистской оппозиции, был сослан в Сибирь и там погиб.

Когда я в 1918 году в разговоре с покойным лидером американской социалистической партии Морисом Хилквитом рассказал ему о той большой роли, которую члены «Нового мира» играют в большевистской революции, Хилквит с улыбкой заметил: «Мне кажется, что для того, чтобы стать комиссаром

в Советской России, надо было раньше подметать пол в «Новом мире». И это, действительно, было так.

Иначе сложилась судьба Ив. Элерта (Николая Накорякова), бывшего редактора «Нового мира». Когда вспыхнула война, он сразу стал оборонцем, сторонником победы Союзников. Так как «Новый мир» агитировал против войны, хотя еще и не был большевицкой газетой, то Элерт считал своим долгом оставить «Новый мир» и поступить на аммуниционный завод, где производили аммуницию для Англии и союзников. Когда вспыхнула революция, он уехал в Петроград и примкнул к группе Плеханова — «Единство». Потом был отправлен не то в качестве военного комиссара или помощника комиссара на фронт, где агитировал среди солдат в пользу защиты родины. Когда большевики захватили власть, Элерт вступил добровольцем в армию Корнилова. Когда Корнилов был убит, он оставался в армии Деникина. Когда большевики захватили Харьков, они арестовали там Элерта-Накорякова. Ему грозил расстрел. Но там как раз была женщина, которая работала в Ассоциации «Нового мира» вместе с Элертом. Была она большевичка и уехала в Россию с партией Бухарина. Она потом была какой-то комиссаршей. Но еще в Нью-Йорке она была равнодушна к Элерту. Когда она узнала, что он арестован, она немедленно не то телеграфировала Ленину, не то вызвала его по телефону и сказала, что Элерта собираются расстрелять. Ленин приказал, чтобы его немедленно доставили в Москву. В Москве, после встречи и разговора с Лениным, Элерт-Накоряков был освобожден, вступил в коммунистическую партию со стажем 1903 года и скоро был назначен директором Госиздата. О дальнейшей его судьбе я знаю, что еще в начале 60-ых годов он был жив и был пенсионером.

В самом начале революции Временное Правительство постановило вернуть из ссылки и эмиграции всех русских революционеров, которые при царском режиме были сосланы за политические преступления или вынуждены были, во избежание ареста и ссылки, бежать за границу. Временное Правительство разослало распоряжение всем русским консульствам за границей снабдить каждого русского политического эмигранта необходимыми денежными средствами, чтобы он мог беспрепятственно вернуться в Россию. С этой целью, в каждом большом городе в Европе и Америке, где проживало много

русских граждан различных национальностей, были образованы специальные комитеты из представителей русских революционных партий, которые и должны были установить, кто из эмигрантов имеет право на получение от русского консульства необходимой суммы для проезда в Россию.

Я не помню создан ли был в Нью-Йорке такой комитет еще до отъезда Троцкого и его ближайших «лейтенантов» или через короткое время после этого. Помню только, что я был в этом комитете одним из двух представителей Российского Социал-демократического Общества в Нью-Йорке. Другим представителем нашего «Общества» был Я. М. Джемс. В комитете также были представители нью-йоркской группы партии социалистов-революционеров, «Бунда», русских «интернационалистов», анархистов и, кажется, латышской социал-демократии и социал-демократии Польши и Литвы. Я присутствовал только на первом заседании комитета. Так как из-за болезни жены я не мог посещать собрания Комитета, то мое место в Комитете занял Д. Рубинов, старый социал-демократ. Помню, когда недели через три-четыре после моего ухода из Комитета, я пошел на вокзал провожать моего приятеля, уезжавшего с партией политических эмигрантов, я среди «политических эмигрантов» заметил много лиц, которые в моих глазах выглядели просто хулиганами или немецкими и австрийскими шпионами.

Когда я рассказал об этом Рубинову, он сказал, что на собраниях Комитета неоднократно возражал против выдачи денег на путевые расходы в Россию целому ряду лиц, ибо был убежден, что они никогда ничего общего не имели с революционным движением. Но большинство Комитета, которое тогда уже состояло из анархистов и левых социалистов, сочувствовавших большевикам, голосовало за них. Когда большинство главных большевиков, «интернационалистов» и анархистов уехали в Россию, главным заправилой Комитета стал «Бил» Шатов, один из лидеров русских анархистов в США. О нем его земляки, которые его хорошо знали, рассказывали, что в России он действительно сидел в тюрьме, но не за политическое преступление, а за чисто уголовное. Некоторые идейные анархисты его даже подозревали в провокации. Так или иначе, Шатов в Нью-Йорке был очень популярен среди анархистов, и как главный заправила Комитета, отправлял в Рос-

сию кого только хотел и когда сам уехал, то обнаружилось, что он присвоил себе значительную сумму денег Комитета.

Моя близкая приятельница, революционерка, должна была уехать в Россию вместе с нашими друзьями, Пионтковскими через Японию и Сибирь. Но когда она узнала, что ее друзья М. Терман, А. Литвак и другие едут пароходом в Стокгольм, а оттуда поездом в Петроград, она позвонила по телефону Шатову, сказав что откладывает поездку на несколько недель и поедет с партией едущей пароходом в Стокгольм. Через неделю сам Шатов уехал в Россию. Когда моя приятельница потом пришла в Комитет для получения, полагавшейся ей суммы на поездку, ей там сказали, что она эти деньги уже получила и показали в книгах ее собственную расписку. Подпись, конечно, была поддельная. Деньги, которые были предназначены для нее, Шатов присвоил себе и он же расписался за нее. Лишь когда я и Терман гарантировали ее абсолютную честность и доказали, что подпись ее в комитетской книге фальшивая, ей выдали деньги на поездку в Россию.

Лишь через месяц-два после приезда в Америку профессора Бориса Бахметева, нового русского посла в Соединенных Штатах, когда ему рассказали о том, что творилось в Комитете, он распустил Комитет и назначил несколько заслуживающих абсолютного доверия лиц, которые должны были решать, кто из эмигрантов имеет право вернуться в Россию за счет Временного Правительства. Но до этого большевики и разные Шатовы успели отправить несколько сот новоиспеченных «большевиков», «интернационалистов» и «анархистов», которые к революционному движению никакого отношения не имели. Среди них были даже такие, которые России никогда в глаза не видали: были родом из Галиции и Румынии. Я лично знал некоторых и все они потом приняли деятельное участие в большевицком перевороте, а многие занимали высокие посты в Советском правительстве. Сам Шатов одно время был большевицким «диктатором» Петрограда.

ПРИЕЗД Б. А. БАХМЕТЕВА В АМЕРИКУ

19 июня 1917 года в Нью-Йорк прибыл из Петрограда первый посол свободной России профессор Борис Александрович Бахметев. Он приехал с целым штабом представителей русской армии и флота, а также с представителями главных ми-

нистерств. Первому послу Свободной России городская администрация Нью-Йорка оказала торжественную встречу. В честь его и членов его миссии был устроен парад на Бродвее. Большинство членов Русского Социал-демократического Общества, группы социалистов-революционеров и других русских организаций в каретах и в открытых автомобилях сопровождали Бахметева и его штаб из Саут Фери до здания городского самоуправления, где мэр города Митчел приветствовал представителей свободной России.

Я в самом параде почему-то не участвовал, но был у здания городского самоуправления, когда мэр Митчел от имени нью-йоркского населения приветствовал представителя «новой свободной России». Когда публика начала уже расходиться, я натолкнулся на доктора С. М. Ингермана, председателя нашего Русского Социал-демократического Общества. Он сразу спросил меня: «Почему вы не пришли приветствовать Бориса Александровича Бахметева?» — «Я не люблю проталкиваться в первые ряды, — ответил я. — Я знал, что и без меня будет достаточно «знатных людей». — «Но он же ваш старый знакомый?», — сказал Ингерман. — «Как так?» — спросил я удивленно. — «Вы же ведь с ним были хорошо знакомы, когда он был в Нью-Йорке?». — «Когда? Где?» — недоумевал я — «Да разве вы не знаете, что профессор Бахметев это наш старый «товарищ Юрьев», который в 1904-м году приезжал сюда из Швейцарии, как представитель Российской Социал-демократической Рабочей партии и в 1904-1905 годах был деятельным членом нашего «Общества», вы же на наших собраниях часто с ним спорили...»

Я был буквально ошеломлен и очень жалел, что не пошел приветствовать его. Встретился я с Бахметевым лишь через 4-5 месяцев, когда в России у власти были уже большевики. Тогда же я впервые в Нью-Йорке познакомился с М. М. Карповичем, который при Бахметеве был первым секретарем посольства. Много лет спустя Карпович стал профессором русской истории в Гарвардском университете, а впоследствии и редактором «Нового Журнала». В день приезда Бахметева в Нью-Йорк «Американское Общество друзей русской свободы», одним из основателей которого был знаменитый Марк Твэн, устроило в большом зале торжественную встречу новому российскому послу. Председательствовал на митинге нью-

иоркский мэр Митчел, а главными ораторами были: бывший президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт и Самуэль Гомперс, президент Американской Федерации Труда. Я, конечно, пошел на собрание. Зал был набит битком, по преимуществу американцами. На этом митинге дело чуть не дошло до драки между Рузвельтом и Гомперсом. Рузвельт в своей речи очень хвалил Временное революционное правительство особенно за то, что оно уравнило в правах все национальности Российской империи. — «Революционная Россия, — сказал Теодор Рузвельт, — знать не хочет больше о каких-нибудь национальных и расовых дискриминациях — не так как у нас в Соединенных Штатах, где юнионы не принимают в свои ряды чернокожих рабочих и часто даже бастуют против предпринимателей, которые принимают на работу негров». При этих словах Гомперс вскочил со стула и прервал Рузвельта оскорбительными выкриками по его адресу. Рузвельт был готов броситься в рукопашную с Гомперсом. Председателю собрания с большим трудом удалось разнять их и восстановить порядок.

Через день-два Бахметев со своим штабом уехал в Вашингтон. Там он выступил на соединенном заседании членов Палаты Представителей и Сената, устроенном в его честь. Бахметев был прекрасный оратор, прирожденный дипломат и хорошо владел английским языком. Его речь в Конгрессе на всех произвела большое впечатление.

От С. М. Ингермана, который дружил с Бахметевым еще после первой русской революции и часто встречался с ним в Петербурге, когда они оба там жили, я узнал, что Юрьев-Бахметев сразу же после объявления амнистии в России в октябре 1905 года уехал из Америки в Россию и там принимал деятельное участие в меньшевицкой партии. На знаменитом Лондонском съезде РСДРП, весной 1907 года, он заочно был избран, как один из представителей меньшевиков, в Объединенный Центральный Комитет. Но потом он оставил революционные ряды, закончил свое образование и стал профессором не то петербургского, не то московского высшего учебного заведения.

Через неделю-две после прибытия Бахметева в Америку нью-иоркские русские социалистические группы, вместе с другими прогрессивными организациями организовали Бахметеву

грандиозный русский митинг-встречу в старом нью-иоркском Мэдисон Сквер Гардене вмещавшем больше 20-ти тысяч человек. Это было самое большое и самое импозантное собрание русских революционеров и друзей Свободной России, на котором я когда-либо присутствовал. Не помню кто были главные ораторы, помню лишь, что председателем был известный социалист-революционер Петр Рутенберг. Рутенберг в 1904-1905 гг. в России был членом Боевой Организации Партии социалистов-революционеров. Но после разоблачения провокации Азефа Рутенберг устранился от всякой революционной работы, уехал в Париж, а потом в Италию, где работал как крупный инженер. В начале 1916 года он приехал в Нью-Йорк с планом созыва еврейского конгресса, который создал бы Временное Еврейское Правительство и, чтобы это правительство на будущей мирной конференции представляло еврейский народ и требовало бы для евреев Палестину. Еще будучи в Италии, Рутенберг об этом написал брошюру, которую и привез с собой в Америку.

Я с Рутенбергом познакомился вскоре после его приезда в Нью-Йорк. Брошюры его я не читал, но он вкратце передал мне ее содержание. К нему лично я относился с большим уважением, но не разделял его пессимизма насчет будущего еврейского народа в России, поэтому его планы казались мне в высшей степени утопическими. Лишь через четыре десятка лет я прочитал эту брошюру Рутенберга и убедился, что он вовсе не был таким утопистом, как я в 1916-м году думал. Он был гораздо дальновиднее большинства еврейских социалистов его поколения.

«Я социалист, — писал Рутенберг в своей брошюре в 1915-м году, — и я отдаю себе полный отчет, что иду помогать осуществлению сионизма, то-есть, создания капиталистического еврейского государства, в котором рай на земле не так скоро будет осуществлен. И там у нас будут богатые и бедные, всякие неурядицы, несправедливости и жестокости, но все это будет *наше*, еврейское, как у всех других народов».

Если не ошибаюсь, Рутенберг позже агитировал за создание в Америке Еврейского легиона, который пошел бы в английской армии освобождать Палестину. Такой Легион действительно был создан. Среди этих легионеров, между прочим,

были: Давид Бен-Гурион и Исаак Бен-Цви, будущие создатели государства Израиль.

Большого успеха пропаганда Рутенберга в Америке тогда не имела, но идеи, которые он более столетия тому назад проповедывал в своей брошюре — «Национальное возрождение еврейского народа» — через четыре десятка лет восторжествовали, хотя и не в такой форме и не в таком масштабе, как Рутенберг тогда себе представлял.

Когда в марте 1917 года в России победила революция, в Рутенберге вновь проснулся старый русский революционер и он, через несколько дней после митинга-встречи Бахметева в Мэдисон сквер Гардене, уехал в Петроград.

На собрание в Мэдисон Сквер Гарден в честь Бахметева пришли также многие молодые и старые социалисты, которые были противниками войны. Когда один из ораторов от имени его организации, приветствуя посла Свободной России, сказал, что он надеется, что Временное Правительство будет продолжать войну до тех пор пока немецкие войска не будут изгнаны с чужих территорий, которые они захватили, в зале поднялся страшный шум, но Рутенбергу скоро удалось прекратить шум и он представил гостя профессора Бахметева. Бахметев произнес очень умную дипломатическую речь, ему аплодировало даже большинство социалистов противников войны. Митинг-встреча Б. А. Бахметева в Мэдисон Сквер Гарден оставил у всех неизгладимое впечатление.

Д. Шуб

ЭПОХА НИЗОСТИ

O tempora! O mores!
Cicero

Кажется, один только блестящий Бернанос осмелился заговорить об «эпохе низости» (*époque de la bassesse*) в применении к нашему времени, но без особого успеха. Правда, «гошисты» («леваки») его не убили и даже не искалечили, что очень в нравах нашего времени, но случилось нечто худшее для такого большого писателя и мыслителя: его замолчали, на его предостережение просто не обратили внимания. Да и как могло быть иначе?

Тем, кому впору говорить и писать на подобного рода темы, давно уже заткнули рты, они просто оттеснены от печатного станка, если не убиты или не замучены — (тем или иным способом); палачей ведь всегда сколько угодно, да и вообще человек улицы, то-есть огромное большинство человечества, с невероятной легкостью и даже, как бы играя, переходит от роли палача к роли жертвы и обратно — и это особенно в наше время. На это, между прочим, неоднократно указывал Н. А. Бердяев, он вообще считал это характернейшей особенностью человечества в его т.н. «падшем состоянии».

Но кто теперь станет говорить о «падении», о «грехе», об «испорченности», о «коренной порче человека», хотя бы даже вместе с Кантом? Да и кто теперь читает Канта, особенно такие его вещи, как «Религию в пределах одного только разума»? Уже священники, конечно, менее всего, да и немецкий язык мало кто знает, за редкими исключениями, особенно среди философов и богословов. Поэтому никто и не поймет что значит грозное выражение — *das radikal Böse* («радикальное зло»). Собственно даже опасно знать немецкий язык и читать по-немецки, или цитировать немецких авторов: вас сейчас же «привлекут к ответственности», или же попросту объявят нацистом.

А то, что Кант жил на грани XVIII и XIX вв. и был человеком во всех смыслах противоположным какому бы то ни было шовинизму, нацизму и проч., что он всю жизнь мечтал о вечном мире и написал замечательную книжечку на эту тему — этого тоже не хотят знать и ведать. Да и кроме того, наша эпоха не только есть эпоха низости, непорядочности, неджентльменства (теперь просто смешно говорить о джентльменах, как и о давно уже не существующих «барышнях» и «дамах»), но еще наша эпоха есть эпоха поголовного, лютейшего невежества, поголовного отсутствия влечения к незаинтересованному знанию, поголовного безпамятства, словно какой-то злой и глупый великан раз и навсегда ударил по общей голове человечества и отшиб всем память. Кажется, сбылось желание глупого и злого Калигулы: человечество в нашу эпоху коллективизма имеет общую голову и общую шею. Не для того ли, чтобы какой-нибудь будущий «сверх Калигула» одним ударом разделался со всем скопищем «двуногих человекоподобных»? Ведь сейчас безумцы вроде Калигулы весьма в моде.

Современный человек — «двуногое человекоподобное» и уже не *homo sapiens*, а *homo stupidus*, согласно формулировке некоторых биологов еще в XIX в. Нынешний молодой сорванец — дубленая кожа, медный лоб и жулик стал не только пределом негодяйства и уродства, но еще, парадоксальным образом, по причине неуместной гордости и хрюкающего самодовольства коллективно воспроизводит знаменитую сцену в Ауэрбаховском погребке (в I части «Фауста» Гёте) и орет оглушительно на всю планету:

Нам каннибальски хорошо
Как пятистам кабанам!

Отметим, что все этого рода выродки и их сторонники (а их бесчисленное множество) очень чувствительны к иронии и сатире, и чрезвычайно обидчивы — не по чину, то-есть, не по «их» чину. Современный «медный лоб» и современная «дубленая шкура» и «пяточок на конце носа» не выносит теперь (как впрочем и раньше) ни иронии, ни сатиры. И несомненно Сократ был убит именно за свою философскую иронию, а Иисус Христос — за обличительную речь, за которой непосредственно и последовало распятие, также как позже после-

довало побиеение камнями первомученика архидиакона Стефана: и его обличительной речи не вынесли: такая чувствительность и деликатность!.. Да где там им стерпеть иронию и сатиру, им самая доброжелательная критика и то невыносима.

Если любимыми героями толпы и ее вожаков (поводырей тож) всегда были Ноздрев с Хлестаковым, то теперь эти вкусы только усилились и симпатии к названной паре удесятились, а Чацкий окончательно приговорен к казни или, во всяком случае, к сумасшедшему дому, в то время как настоящие безумцы не только на свободе, но еще заправляют всеми делами — до науки, философии и искусства включительно. Это можно назвать ПЕРИОДОМ ДИКТАТУРЫ ЭЛИТЫ НАВЫВОРОТ, ЭЛИТЫ СНИЗУ. Некогда в древнем Риме, когда вечному городу и его народу грозила опасность, Сенат и римское народное собрание давали консулам поручение: — «Да следят консулы за тем, чтобы государство не потерпело ущерба». Ныне же, увы, вожакам толп, больших и малых, навязывается нечто бесконечно менее благородное и героическое: «да следят вожаки и заправила за тем, чтобы посредственность (или бездарность, вообще все низкопробное во всех отношениях) не потерпело бы ущерба». Человечество влачит в огромном большинстве случаев жалкое существование и погибает от двух пороков-грехов: I. ОТ ГЛУПОСТИ — БЕЗМЫСЛИЯ, БЕССМЫСЛИЯ И ОТ ПРЯМОГО И КЛИНИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ. II. ОТ ЗЛОБЫ, ОТ ВРАЖДЕБНЫХ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, связанных как правило с ОТВЕТНЫМИ И ВОЗВРАТНЫМИ РЕАКЦИЯМИ самого безобразного, мстительного характера. В этом отношении особенно характерны постулаты «нации». Согласно Геббельсу — «тысячу зубов за один зуб» и «тысячу глаз за один глаз».

Можно себе представить, до каких пропорций это бессмысленное нагромождение злых акций и реакций может дойти и до какого дикого безумия нарастёт хаос смертей и разрушений. Однако самое ужасное — это то, что ЛЮДИ НИКАК НЕ ХОТЯТ РАССТАТЬСЯ С ГНУСНЫМИ ПОРОЧНЫМИ УДОВОЛЬСТВИЯМИ И МЕРЗОСТНЫМИ НАСЛАЖДЕНИЯМИ, ДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГЛУПЫМИ И ЗЛЫМИ ПОСТУПКАМИ — в огромном большинстве случаев, во всех смыслах крайне невыгодными, даже просто пагубными, гибельными. Тут, повто-

ряем, нечто гораздо более худшее. Так напр. Н. А. Бердяев* во вторую половину своей жизни, не только ВОЗНЕНАВИДЕЛ ЛЮБОВЬ, но еще стал наслаждаться самыми неблагоприятными свойствами революции, и написал книгу, которая фактически и с некоторыми оговорками (по соображениям, может быть, «дипломатическим» и «житейским») является самоусладительным приятием всего самого худшего, что связано с революцией. Что сюда входят элементы мести своим политическим и идеологическим противникам («либералам» и «правым»), равно как и соображения популярности у крайних левых, как в СССР, так и за его пределами в этом для меня нет сомнения. В общем из его прямого поклонения английскому капитализму и империализму наряду с марксизмом следует нечто совсем неблагородное, на джентльменское, ибо дело ведь шло о массовом принятии преступления и бесчестия, бессовестности.

Если с такими людьми как Бердяев приключилось подобного рода чудовищное падение, то что же говорить о людях менее щепетильных. Впрочем возможно, что здесь все это связано с тем что даже такие люди, как Н. А. Бердяев, страдали таким чудовищным, прямо-таки «анаксиологическим» дефектом, как полное непонимание и нежелание понять высокую ценность ПРАВОВОГО СТРОЯ И СУБЪЕКТИВНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ВООБЩЕ. Об этом у Н. А. Бердяева нигде ни строчки. И в этой глухоте и слепоте к праву, что так ярко характеризует нашу эпоху, есть нечто поистине весьма злое. Н. А. Бердяеву не только в голову никогда не приходило, что такое высшее сокровище, как СВОБОДА, рыцарем которой он себя считал,

Воплощенной укоризной
Он стоял перед отчизной

— что свобода эта должна быть не звуком пустым и не материалом для литературно-философских декламаций, но что она

* Я считаю этого мыслителя блестящим и гениальным, а его проповедь персонализма, свободы и творчества великим и полезным деянием, особенно в наше темное время. Единственный и самый большой упрек, который я сделал и теперь делаю этому мыслителю, это то, что он в том или ином виде отрекался от самого себя во имя скрытого или даже открытого марксо-коммунизма, которым он начисто вычеркивал дело своей жизни. **В. И.**

должна быть реализована, проводима в жизнь и защищаема в принудительно правовом и даже в полицейском порядке. Куда там! При малейшем только намеке на это с Бердяевым и ему подобными делаются судороги.

Это совершенно в том же духе как неприятие наказания, в качестве имманентно связанной с преступлением инстанции. Такие люди, как Бердяев, в его последней стадии, не только стремятся освободить преступника от наказания, но готовы проповедовать крестовый поход против суда, следствия и даже готовы требовать в отношении публичных властей — их революционного свержения, хотя в отношении преступников они не только категорически отказываются применять «высшую меру наказания», но совершенно забывают знаменитое правило: «Отмена смертной казни? Превосходно! Но только пусть начнут отменять ее сами господа преступники и убийцы...» Где там! Убийство и вообще преступление считается теперь привилегией убийц и преступников вроде Раскольникова или Петра Верховенского. Только один раз Бердяев прислушался к голосу Достоевского в этом смысле — именно в одной из лучших своих книг, в «Миросозерцании Достоевского». Но от нее позже он с негодованием отрекся также как и от «Философии неравенства». А в какое безумное бешенство приводила всегда Бердяева, и ему подобных, знаменитая XIII гл. послания св. ап. Павла, который в качестве римского гражданина берет под свою защиту меч принудительного правопорядка (который, кстати сказать, не может быть не принудительным).

Мыслителям и публицистам этого рода даже в голову не приходит, что у преступника сперва должна быть отнята публичными властями возможность вредить и убивать, а потом уже филантроп и прогрессист, в случае духовной возможности, может вступить в разговор, в диалектику, если угодно. Но, повторяем, только в случае если у преступника имеются уши, чтобы слышать и связаны руки чтобы не убивать беседующего и вступающего с ним в диалог. Но в огромном большинстве случаев положение «филантропа» оказывается куда затруднительнее, чем положение укротителя зверей, ибо каторжник, как правило, согласно Достоевскому, «страшнее медведя». Теперь (впрочем уже давно) в отношении особенно **закоренелых** злодеев положительно господствует мания, ко-

тору можно назвать НЕПРОТИВЛЕНЧЕСКИМ МАЗОХИЗМОМ, что ничего общего с Евангелием и христианством не имеет.

МАЗОХИЗМ ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕ МЕРЗОСТЬ КАК И САДИЗМ. Здесь людям вроде Бердяева не мешало бы лучше изучить современную психопатологию, судебную медицину и криминальную антропологию. Тогда такой изучающий мог бы в иных случаях не без удивления открыть, что прогрессивный гуманист в отношении к преступнику не редко есть МАЗОХИСТ — ОБРАТНАЯ И СООТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА САДИЗМА, ВЛАДЕЮЩЕГО ЧУВСТВАМИ И ПОСТУПКАМИ ПРЕСТУПНИКА. Этим и объясняется почему немалое количество т.н. «интеллектуалов» предпочитают страдания и смерть отказу от отвратительных и уродливых наслаждений доставляемых глупыми, злыми и безумными поступками, предпочитают лжеучителей проповедующих глупость, злобу и безумие — истинным учителям, старающимся насадить ум, доброту и сердечные, здоровые отношения людей друг к другу.

Конечно драгоценнейшая сущность христианства состоит в том, что ему одинаково ценны последние судьбы святых и гениальных людей и грешных бездарностей и глупцов, не говоря уже о том, что большая греховность может сочетаться и сочетается с разными ступенями одаренности.

Но все дело в том, что речь идет о спасении глупца, злодея, равно как и безумца, для вечности, а следовательно освобождения его от пагубных последствий действия темных сил, как бы мы эти темные силы себе не представляли. Но это уже совершенно особая тема, ничего общего не имеющая ни с либеральным гуманизмом ни тем менее с растленным, душепагубным для человеческого общества МАЗОХИЗМОМ.

Есть люди — и теперь их исключительно много — и число их с каждым днем возрастает — автоматически с возрастанием населения на земном шаре — которых не спасает ни священническое облачение, ни форменная одежда государственного служащего, ни кресло академика, ни партийная принадлежность («своя шейка — копейка, а чужая головушка — полушка»), которые сами становятся на злые и темные пути, самовольно и безмотивно считая их чем-то положительным и даже превосходящим душевное здоровье и одаренность, которой ныне весьма остерегаются.

На наших глазах происходит в этом отношении трагедия во многих действиях и с большим количеством действующих лиц и жертв. Хороший вкус и блага внешней цивилизации при этом могут даже иногда казаться возросшими в своей утонченности и капризной требовательности; но рано или поздно, через травмы, наносимые жизнью, зловещий образ ЭПОХИ НИЗОСТИ все более и более дает себя знать и жизнь становится все более уродливой, сопровождаясь нарастанием самых диких и черно-мистических злодеяний, самоубийств и всякого рода социально политических коллизий подобно нарастанию водоворотов и хаотических движений по мере все ускоряющегося течения «РЕКИ ВРЕМЕН» в направлении к гудящему вдали срыву и катастрофе.

Некоторым нередко кажется, что здесь есть нечто абсолютно фатальное, чего удержать нельзя. Но это не совсем так. В начале и в середине этого процесса стремления к финальной катастрофе есть много моментов зависящих от воли человека, где мы являемся ВЛАСТЕЛИНАМИ СУДЬБЫ, мы или некоторые героические личности. Но при сильном развитии того, что можно назвать, ВОЛЕЙ К ГИБЕЛИ и ВОЛЕЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ САМОУБИЙСТВУ, конечно, не помогут никакие коллективные или индивидуальные тормоза. Однако не надо забывать, что если не совсем, то в значительной степени: — ВЕДЬ СУДЬБА — ЭТО Я.

Мы назвали наш очерк ЭПОХА НИЗОСТИ, и настаиваем на таком заглавии, но мы готовы еще добавить: — ЭПОХА СНИЖЕНИЯ. Пожалуй всего удачнее об этом сказал покойный, блестящий проф. Б. П. Вышеславцев в своих двух книгах посвященных критике современности («Кризис индустриальной культуры» и «Философская нищета марксизма»). Вышеславцев говорит в них, главным образом, о ДУХОВНЫХ ценностях. При этом любопытно, что никакого особого выигрыша от такого снижения духовных ценностей для ценностей материальных не получается, скорее наоборот. Об этом ярко говорит Достоевский в «Бесах». Да так оно и должно быть и не может быть иначе.

Если внять до сих пор острой и пронзительной «Похвале глупости» Эразма Роттердамского, то глупость есть не только преобладающее свойство рода человеческого, но положительно царица человечества. А между тем это свойство далеко не

такое невинное, каким оно может показаться с первого взгляда. Глупость есть бич, зло, пагуба и вполне стоит вровень с пороками и преступлениями самого тяжелого типа, она способна деформировать лик человеческий до неузнаваемости, до полного скотства, до полной утраты образа Божия в человеке, как сказал бы богослов. Не даром у гениального Франциско Гойи в его «Капризах» и других этого типа гравюрах огромное большинство «рож» и «харь» поражают своим необычайным сочетанием полного обезчеловечения, «дегуманизации», полного отсутствия мысли. В крайнем случае это — бесовская злобная хитрость, соединенная с полным отсутствием способности (и желания) постигать сущность вещей, какая-то пропитанность антифилософским духом. Отсюда отсутствие интереса к самому себе — и все это в сочетании с беспредельным эгоизмом.

Из этого, между прочим, вытекает органическая связь эгоизма и глупости: глупец прежде всего эгоист и эгоист прежде всего глупец. Умных по настоящему эгоистов не бывает. Но характернейшее свойство нашего времени, это как раз сочетание чудовищного эгоизма с беспредельной глупостью. Отсюда также и безумие. Как это очень хорошо показали все углубленно мыслящие люди — подлинный источник подлинного ума есть сердце — духовно символическое средоточие любви, которая во всё проникает, всем интересуется, всё понимает. Ненависть же и злоба ничем не интересуются, ни во что не входят и ничего не понимают, скользя всегда по поверхности. Как ни тяжеловесны они порой бывают (по видимости) на деле они всегда поверхностны, легкомысленны и пошлы. Наше время — время сверхпошляков, таких сверхпошляков, что оторопь берет и самые отпетые пошляки прошлых литературных времен кажутся идеалом человеческого благолепия и духовной одаренности. С человеком наших времен очень часто невозможно говорить даже о погоде. Что же касается таких выражений как восхищение, энтузиазм и др. в этом роде, то они совсем вышли из употребления за отсутствием соответствующих им переживаний. Приятель пишущего эти строки однажды высказался в том смысле, что ему лишь теперь стали понятны мрачные стихи великого русского поэта Фета:

Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?

Вернись же смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты, застывший труп земли,
Лети, неся мой труп по вечному пути.

Подобного рода настроения овладели великим поэтом-шопенгауэрианцем особенно прочно во вторую половину его жизни. Это вполне отчетливые настроения человека, задумавшего самоубийство, хотя с точки зрения философии Шопенгауэра «самоубийство есть совершенно безцельный и бессмысленный поступок».

Однако все дело тут в том, что является трагедией БОГО-ОСТАВЛЕННОСТИ. Во «Второзаконии» мы читаем: «отвращу от них лице Мое и посмотрю какова будет гибель их». Предел скорби от БОГООСТАВЛЕННОСТИ, когда создается даже у очень духовных и верующих людей такое чувство «как если бы Бога не было». В Библии обоих Заветов проступают очень отчетливо эти мотивы БОГООСТАВЛЕННОСТИ. Особенно они подавляют и потрясают в Книге Иова. Несомненно мы живем в такое время и приходится удивляться дубленным козам и медным лбам рядового духовенства, порою самого высокого сана, а также строчилам всевозможных «Апологетик», которые не уловили, не поняли того, что проф. С. Л. Франк назвал СКОРБНЫЙ АТЕИЗМ, который отнюдь не есть простое безбожие глупцов, бездарностей и пошляков, которым что называется море по колено и вообще «на все наплевать». «Лишь были б жолуди — ведь я от них жирею». И они жиреют, а на всё прочее им наплевать. Наймут — они болтают с кафедры общедоступное благочестье... Трагедия богооставленности праведника и углубленно мыслящего философа и богослова содержит в себе нечто непонятное, содержит в себе тот самый АБСУРД, о котором уже в достаточной степени было сказано в наше время, когда откопали из гроба или может-быть лучше сказать, когда из гробов вышли Иов и Киркегоор и заговорили о ВЕЛИКОМ АБСУРДЕ. Они-то ведь не знали то, что ныне известно всякому читающему Библию: что речь шла о споре Бога с Дьяволом по поводу Иова, или что еще хуже, что Иов был или стал как бы козырной картой в споре Бога с Дьяволом. Теперь такой картой стала вся Россия и уже давно, с самого начала революции.

Нам однажды во время наших размышлений все на ту же тему пришлось написать очерк «Трагедия неслышанной молитвы», ибо тут шла речь о величайшей трагедии, о богооставленности сына Человеческого. Эта трагедия дана в предсмертной беседе Кириллова с Петром Верховенским, то-есть, с до конца «обесовленным» и совершенно утратившим образ Бога и человека Петром Верховенским (в «Бесах» Достоевского). Можно даже думать, что мысль об окончательной БОГО-ОСТАВЛЕННОСТИ РАСПЯТОГО и БЫЛА ПРИЧИНОЙ САМОУБИЙСТВА КИРИЛЛОВА, одного из симпатичнейших и трагичнейших персонажей русской и мировой литературы.

Приближается столетие со дня рождения величайшего трагика русского романа Ф. М. Достоевского. Мы не знаем будет ли затронута на торжествах ему посвященных тема богооставленности и возникшего на этой почве «скорбного атеизма» на должной высоте, хотя бы не отставая в этом отношении от Романо Гуардини. Но что вторая русская революция самым фактом своего возникновения и своим трагизмом поставила эту тему в духе Достоевского — в этом не может быть никакого сомнения для всякого «имеющего уши чтобы слышать». И уж, конечно, не приходится сомневаться в том, что религиозно метафизическая тематика в русской философии занимает преобладающее место и во все стороны распространяет свои светлые и темные лучи. Ведь совершенно ясно, что тема борьбы не на жизнь а на смерть со всякой религией и особенно с христианством и со всякой метафизикой глубины есть основное и по существу единственное задание партийной шайки, захватившей в бывшей России власть. Все остальное, то есть социально-экономическая проблематика и рабочий вопрос — просто более или менее удачно (или неудачно) выбранный защитный цвет на основной проблеме «штурма небес» у входа в «философские глубины». Всякая глубина комшайке ненавистна, в том числе и социально-экономическая, также как и всякий ревизионизм, хотя бы он состоял всего лишь в углублении от поверхности внутрь их собственной тематики. Ясно также еще, повторяем, что им прежде всего и после всего нужно создать человека глупца, обезьяну и попугая, бессмысленно и безмысленно повторяющего азы элементарной агитационной политграмоты, которую полагается глотать не жуя и не выплевывая, хотя — выплюнуть, это самое лучшее что

только можно сделать с этой «духовной пищей» предлагаемой «массам» партийной шайкой, представляющей вместе с субъ-ектами вроде Брежнева т.ск. «низы низов» и глупость глупцов, пошлость пошляков, словом «элиту снизу». Ее единственная задача — стянуть всё человечество до своих собственных низин, до своего собственного остолопства и меднолобия, до своей собственной пошлости и бездарности, а нежелающих — ПОПРОСТУ ИСТРЕБИТЬ с помощью мировой чеки.

Так или иначе, но тема эта стопроцентно духовная, конечно, черно красно духовная. Ни физика, ни экономика, ни рабочий вопрос, повторяю, здесь не при чем, кроме разве того, что комшайка хочет и из рабочих сделать остолопов и злодеев по своему образу и подобию. Это в известном смысле и очень легко и очень трудно, даже невозможно. Очень легко по той причине, что достаточно рабочего поманить обещаниями социально-политической мести, всевозможных конфискаций, ссылок и массовых уничтожений социально-политических противников, чтобы они пошли на это с величайшей охотой, кадры партийных рабов и партийных палачей, тюремщиков и красной полиции никогда не иссякали. Они готовы даже для этой цели помириться с отсутствием элементарных удобств: иголок, булавок, спичек, с хроническими голодовками, очередями, с супом из гнилых селедочных головок (как в этом мы успели уже убедиться в первые годы гражданской войны и военного коммунизма).

Однако большие трудности тут в том, что рабочим действительно хочется быть, как и крестьянам, — хозяевами, а не рабами, которых держат в черном теле (политически и экономически). Хочется разнообразия, хочется иногда почитать запрещенную литературу, хочется даже посмотреть на то, как страдают рабочие в странах капиталистической и империалистической реакции — хотя бы по соображениям компролетарского патриотического самодовольства, — не говоря уже о том, что среди «пролетариата» есть вполне неглупые головы, отлично отдающие себе отчет в истинном положении вещей. Кроме того «пролетариат» пописывает и прозу и стихи и ему хочется писать о другом, не только по поводу гигантских успехов героев комстроительства. Кое-кто влюбляется не только на почве всякого восхищения Марксом, Ильичем, Сталиным, Брежневым. Кое-кто страдает от неразделенной любви, от за-

висти, низости, мерзости. Как дать выход этим чувствам? Словом, вещь известная. Но самое главное, что в стране торжествующей компартии порою переживаются со всей остротой религиозные и религиозно-идеологические кризисы и опять встает тот ужас, что «смерть Сократа и распятие Иисуса Христа вместе с его богооставленностью принадлежат к самым характерным признакам человечества», по выражению Шопенгауэра (хотя в СССР строжайше запрещено говорить и о Сократе и о Иисусе Христе и о Шопенгауэре). Но тут ведь тоже масса непредвиденного. И хотя уже в самом начале «великой социалистической октябрьской» по цензурному списку 1923 г. тщательно удалялось и истреблялось всё несозвучное Ильичу, но на деле получалось не так и желающий по-настоящему просвещаться и развиваться, хотя бы и с опасностью для карьеры и жизни, все-таки раздобывал «запрещенное», да и в «дозволенном», если голова была на плечах и сердце в груди, всегда мог найти предлог для настоящей, а не марксо-энгелевской диалектики. Да вообще человек, по природе своей, совсем не марксист, как этого бы хотелось товарищам — откуда и идет их поголовное человеконенавистничество с желанием массовых казней и ссылок.

Словом в пореволюционное время создалось гораздо более проклятых вопросов, чем их было до революции, а главное они стали гораздо более жгучими и более простыми уж в действительном, а не фигурально-реторическом смысле слова. И на первом месте все та же БОГООСТАВЛЕННОСТЬ и выдача лучших экземпляров человечества ГОЛОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРАГАМ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО — С ПОЛНЫМ КАК БУДТО МОЛЧАНИЕМ НЕБА. И не только с полным молчанием, но с переходом очень значительного большинства служителей Церкви на службу к ее же палачам и безбожникам — и опять-таки с тем же глухим и страшным молчанием «ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ЗАКРЫТЫХ НЕБЕС», с полным как будто бы безразличием к этому факту высших сил — «если только есть кому отвечать», как говорит об этом все та же жуткая и наэлектризованная до смертных ударов книга Иова, столь много давшая литературе и религиозно философской мысли, в частности, Достоевскому, книга без которой не было бы грандиозной, глубокой и мрачной поэзии «дурных дней» Страстной Седмицы, как о ней выразился в своих великолепных стихах Пастернак.

Но разве небольшое подобие людей, по выражению Гоголя, чем-нибудь проберешь? И что сказать о них? «Он поет, он посвистывает, он доволен собой», как истый парижский сутенер, торговец живым товаром, живущий за счет женщин и подрабатывающий уголовщиной. Разница только та, что «живым товаром» для него, для главаря (или одного из главарей) компартии являются тьмочисленные рабочие и уличная... как бы это так поделикатнее выразиться. Впрочем, читатель меня поймет.

И «скандал» в том, что свистун победил, а небо по горько ироническому выражению покойного автора «Тайны святых» П. К. Иванова — «спряталось в щелку». Эта тема молчащего и заключенного неба поставлена, и в своем роде не оставлена без намека на возможное решение в «Дон Жуане» А. К. Толстого. Ангелы просят Бога губящему и гибнущему Дон Жуану «явить свой грозный лик» и получают насмешливый и иронический ответ от духа тьмы, в то время как Сам Всевышний продолжает молчать:

На эти чудеса Господь довольно скуп
И скромно прячется за тучу
Пока гремит...

Вл. Ильин, Париж. 13. 5. 71

ЛЕНИН И ЦК*

ПЕРВЫЙ КРИЗИС В ЦК ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ ВЛАСТИ

Переворот большевиков встретил сопротивление с трех сторон: 1) Керенский организовал поход командира 3-его конного корпуса генерала Краснова на Петроград, взял Гатчину (27 октября), Царское село (28 октября), находясь таким образом на подступах к Петрограду; 2) в самом Петрограде против большевиков образовался «Комитет спасения родины и революции», куда вошли меньшевицкие и правоэсеровские фракции II съезда Советов, ЦИК Советов старого созыва, представители Всероссийского исполкома железнодорожного профессионального союза (Викжель), Городской думы. Комитет возглавил видный лидер эсеров Гоц. Борьба этого комитета против большевицкого захвата власти ограничилась рядом платонических заявлений, без попытки оказать большевикам вооруженное сопротивление; 3) наиболее эффективное сопротивление большевикам оказал Викжель, который выдвинул платформу создания «однородного социалистического правительства» из всех советских партий и в ультимативной форме, в случае отказа большевиков, угрожал всеобщей железнодорожной забастовкой. Ультиматум Викжеля вызвал раскол в ЦК партии большевиков и в советском правительстве.

Позиция Викжеля угрожала не только параличем жизни страны, но и срывом посылки большевицких частей из Петрограда против наступающего генерала Краснова. В телеграмме, разосланной «Всем, всем, всем», Викжель писал: «В стране нет власти... образовавшийся в Петрограде Совет народных комиссаров, как опирающийся только на одну партию, не может встретить признания и опоры во всей стране. Необходимо создать новое правительство...» (Протоколы ЦК..., стр. 270). В это «новое правительство» Викжель предлагал включить

* Глава из готовящейся книги.

представителей всех социалистических партий от большевиков до правых «народных социалистов» включительно. Положение стало настолько угрожающим, что ЦК большевиков решил обсудить требования Викжеля на специальном заседании ЦК, которое и было созвано 29 октября (11 ноября) 1917 г.

Присутствовало 11 членов ЦК во главе с Рыковым, Каменевым и Свердловым. Ленин, Троцкий, Зиновьев и Сталин почему-то отсутствовали. По поводу требования Викжеля о создании правительства с участием всех социалистических (советских) партий в протоколе ЦК сказано: «1) Ставится на голосование: ЦК признает необходимым расширение базы правительства и о возможном изменении его состава (принято единогласно)» (там же, стр. 122). В пункте пятом постановления ЦК сказано: «Голосуеться предложение: мы не делаем ультиматума из вхождения в правительство всех советских партий до народных социалистов включительно. За — 7, против — 3» (там же, стр. 122). Таким образом, ЦК большевиков в отсутствие Ленина и вопреки Ленину принимает ультиматум Викжеля о создании коалиционного правительства из всех социалистических партий «до народных социалистов включительно».

Так как лидеры меньшевиков и эсеров условием своего вхождения в советское правительство ставили устранение из правительства виновников переворота — Ленина и Троцкого, то ЦК обсуждал и этот вопрос. В примечании от редакции «Протоколов ЦК РСДРП(б)» сказано по этому поводу следующее: «В подлинной секретарской записи далее следует зачеркнутый текст: *«и соглашается (ЦК) отказаться от кандидатур Троцкого и Ленина, если этого потребуют (принято)»* (там же, стр. 122). Этот якобы «зачеркнутый текст» на самом деле был принят в общей редакции в следующем шестом пункте постановления ЦК. Там сказано: «6. Голосуеться предложение: допускается право взаимного отвода партийных кандидатур. Принято: 5 за, 1 против, 3 воздержались» (там же, стр. 123). Для участия в совещании с Викжелем об организации нового правительства ЦК выделил Каменева и Сокольникова, а ВЦИК в свою очередь тоже выделил для той же цели делегацию в составе Свердлова, Рязанова, левого эсера Закса и др.

ЦК большевиков продолжает стоять на точке зрения со-

здания коалиционного правительства даже ценою вывода из правительства своих ведущих вождей — Ленина и Троцкого. Контроль над ЦК на время переходит к т.н. демократическому крылу в лице Каменева, Зиновьева, Рыкова, Ногина, Милютин. Официальное положение каждого из них (Каменев — председатель ВЦИК, Зиновьев — председатель Петроградского Совета, Ногин — председатель Московского Совета, Рыков и Милютин — наркомы) делают их исключительно опасными соперниками диктаторского крыла Ленина и Троцкого. Причем большевицкая фракция нового парламента — ВЦИК голосует за предложение группы Каменева «по вопросу о численном и персональном представительстве нашей партии в составе правительства». Тогда Ленин обвинил группу Каменева в том, что этого решения большевицкой фракции ВЦИК она добилась вопреки и «за спиной ЦК» (Ленин, ПСС, т. 35, стр. 48). И Ленин с большим упорством работает над тем, чтобы объявить новое большинство в ЦК «оппозицией» и изолировать его от руководства. Для этого в ход пускаются испытанные методы: созыв с подобранным составом расширенного заседания ЦК наверху и партийных активов в столицах, а также в крупных центрах страны.

Так 1 ноября 1917 г. созывается расширенное заседание ЦК, на котором присутствует 23 человека, из них членов ЦК — 12 чел., а 11 человек — это «актив» (представители Петроградского комитета, Военной организации, профсоюзов, 3 члена правительства, но не члены ЦК). На этом заседании Каменев докладывает об условиях меньшевиков и эсеров по созданию коалиционного правительства (вместо Ленина они выдвигают премьером лидера партии эсеров Чернова или Авксентьева, а вместо ВЦИК — создать «Народный Совет», перед которым ответственно правительство).

Выступая по докладу Каменева, Троцкий заявил: «Из доклада ясно только, как партии, в восстании участия не принимавшие, хотят вырвать власть у тех, кто их сверг... Ясно, что мы не можем дать права отвода, точно также мы не можем уступить председательство Ленину; ибо отказ от этого совершенно недопустим» (Протоколы ЦК..., стр. 125). Дзержинский говорит, что «мы не допускаем отвода Ленина и Троцкого». Тоже самое говорит и Урицкий. В ответ на упреки, что он торговался с анти-большевицкими партиями насчет кандидатур

Ленина и Троцкого, Каменев оглашает решение прошлого собрания и доказывает, что делегация не обсуждала кандидатур, не торговалась, а только заслушала мнение других; «рвать (переговоры) было не на чем» (там же, стр. 125). Ленин резко заявил: «Политика Каменева должна быть прекращена в тот же момент. Разговаривать с Викжелем теперь не приходится. Нужно отправить войска в Москву» (там же, стр. 126). И Ленин добавляет: «переговоры должны быть как дипломатическое прикрытие военных действий» (там же, стр. 127). Зиновьев не связывает вопроса о создании коалиционного правительства с именами Ленина и Троцкого. Он говорит: «Для нас ультимативны два пункта: наша программа и ответственность власти перед Советом ЦИК, как источником власти» (там же, стр. 127). Каменев, Милютин, Рязанов стоят за продолжение переговоров.

После широких прений ЦК голосует принципиальное предложение: прервать переговоры. За голосуют — 4, против — 10. В протокол записывается: «ЦК постановляет: переговоры продолжать. Заявить что для нас ультимативна *Программа*» (там же, стр. 129-130). Значит, ультимативны не Ленин с Троцким, а программа партии. Из протокола ЦК далее видно, что заседание отклонило более решительную резолюцию Ленина о переговорах с Викжелем (там же, стр. 129), приняв компромиссную резолюцию Троцкого. В ней говорилось: «ЦК постановляет: разрешить членам нашей партии, ввиду уже состоявшегося решения в ЦИК, принять сегодня участие в последней попытке левых эсеров создать так называемую однородную власть с целью последнего разоблачения несостоятельности этой попытки и окончательного прекращения дальнейших переговоров о коалиционной власти» (там же, стр. 130). Группа Каменева голосовала против этой резолюции, несмотря на ее компромиссный характер. Она считала, что переговоры надо вести для действительного создания коалиционной власти, тогда как Ленин и Троцкий рассматривали переговоры только как «дипломатическое прикрытие» для подготовки военных действий.

2 ноября (по старому стилю) Ленин созвал новое заседание ЦК с присутствием 15 членов ЦК (из 23). Протокол этого заседания не сохранился, но сохранились принятая там резолюция и заметки Ленина об итогах голосования по каж-

дому пункту резолюции. Резолюции предпосланы следующие вводные слова: «ЦК признает настоящее заседание имеющим историческую важность и потому необходимым зафиксировать две позиции, обнаружившиеся здесь» (Протоколы ЦК... стр. 131). Не дожидаясь исхода переговоров с советскими партиями, предусмотренных постановлением ЦК от 29 октября (11 ноября), Ленин по существу ставит вопрос о пересмотре этого постановления. Более того. Бывшее большинство ЦК искусственным маневрированием он превращает в оппозицию меньшинства, тем более, что под личным давлением Ленина и Троцкого некоторые из бывших сторонников Каменева переходят на сторону Ленина.

Идя по этому пути, Ленин и само заседание ЦК от 2 ноября превращает в суд над сторонниками Каменева. В предложенном Лениным проекте постановления ЦК, первые три пункта посвящены оппозиции меньшинства, то-есть бывшему большинству ЦК. В этих пунктах говорится: «1) ЦК признает, что сложившаяся внутри ЦК оппозиция целиком отходит от всех основных позиций большевизма... 2) ЦК возлагает всю ответственность... за преступные в данный момент колебания на эту оппозицию... 3) ЦК подтверждает, что без измены лозунгу Советской власти нельзя отказываться от чисто большевистского правительства...» (там же, стр. 131). Но как раз эти три пункта были опущены из постановления ЦК, опубликованного в «Правде» от 4 ноября 1917 г. Были ли они отвергнуты заседанием ЦК в порядке компромисса с оппозицией? Имеющиеся документы не дают возможности ответить на этот вопрос. В примечании от редакции Полного Собрания Сочинений Ленина по данному вопросу очень лаконично сказано: «Первые три пункта резолюции в рукописи перечеркнуты» (Ленин, там же, т. 35, стр. 452).

В остальном резолюция ЦК выдержана в компромиссных тонах при чем в шестом пункте сказано: «ЦК подтверждает, что не исключая никого со II съезда Советов, он и сейчас вполне готов вернуть ушедших и признать коалицию этих ушедших в пределах Советов, что следовательно, абсолютно ложны речи, будто большевики ни с кем не хотят разделить власти» (там же, стр. 45). Поскольку резолюция написана Лениным, то ее надо признать чистейшим тактическим маневром. Ленин не собирался делить власть ни с кем, хотя был

готов на время принять в правительство представителей левых эсеров, но при гегемонии большевиков.

3 ноября Ленин переходит в решительное наступление, узнав, что «Вчера на заседании в ЦИК большевицкая фракция, при прямом участии членов ЦК из состава меньшинства, открыто голосовала против постановления ЦК (по вопросу о численном и персональном представительстве нашей партии в составе правительства)» (Ленин, там же, стр. 48). Действительно резолюция большевицкой фракции ВЦИК хотя и вытекала из решения ЦК от 2 ноября, но шла вразрез с линией Ленина и Троцкого на сохранение чисто большевицкого правительства. Резолюция большевицкой фракции ВЦИК требовала продолжения переговоров о коалиционной власти со всеми партиями, входящими в Советы. В резолюции говорилось о предоставлении половины мест в правительстве эсеров-меньшевикам, о расширении ВЦИК с добавлением в его состав еще 245 представителей: от губернских крестьянских комитетов (75 чел.), от войсковых комитетов (80), от профсоюзов (40), от петроградской городской думы (50). Эта резолюция была принята ВЦИК (6 против и 1 воздержался). ВЦИК создал комиссию в составе Каменева, Зиновьева и Рязанова от большевиков и Карелина и Прошьяна от левых эсеров для продолжения переговоров по составлению нового правительства (Протоколы ЦК... стр. 275-276).

Все это приводило Ленина в ярость. Власть, завоеванная восстанием, мирным путем начала ускользать из его рук. Ленин единолично принял решение предъявить ультиматум Центральному Комитету, то-есть навязать свою волю большинству ЦК. Вот что рассказывает об этом большевицкий источник: «По свидетельству члена ЦК Бубнова, 3 (16) ноября Ленин, составив «Ультиматум большинства ЦК меньшинству», приглашал к себе в комнату отдельно каждого члена ЦК из находившихся в этот период в Петрограде, ознакомил с текстом документа и предлагал подписать его» (Протоколы ЦК... стр. 275). Вместе с Лениным ультиматум подписали следующие члены ЦК: Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Иоффе, Бубнов, Сокольников, Муранов. В нем говорилось: «Обращаясь к меньшинству ЦК, мы требуем категорического ответа в письменной форме на вопрос, обязуется ли меньшинство подчиниться партийной дисциплине и проводить

ту политику, которая формулирована в принятой ЦК резолюции т. Ленина. В случае отрицательного и неопределенного ответа мы обратимся к ПК, МК, большевицкой фракции ЦИК, к чрезвычайному партийному съезду с альтернативным предложением: либо партия должна поручить нынешней оппозиции сформировать власть... Либо — в чем мы не сомневаемся — партия одобрит единственно возможную революционную линию, выраженную во вчерашней резолюции ЦК, и тогда партия должна решительно предложить представителям оппозиции перенести свою дезорганизаторскую работу за пределы нашей партийной организации» (Протоколы ЦК... стр. 134).

После этого ультиматума давление партийной машины на оппозицию было так велико, что она оказалась вынужденной сделать соответствующие организационные выводы. 4 ноября 1917 г. члены ЦК Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин подали заявление о выходе из состава ЦК. В заявлении говорилось: «Мы не можем нести ответственность за эту гибельную политику ЦК, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии. Мы складываем с себя поэтому звание членов ЦК, чтобы иметь право откровенно сказать свое мнение массе рабочих и солдат и призвать их поддержать наш клич: 'Да здравствует правительство из советских партий'». (там же, стр. 135). Четыре члена Совета народных комиссаров — Рыков, Милютин, Теодорович, Ногин вышли одновременно и из правительства, мотивируя свой выход тем, что вне коалиции советских партий есть только один путь «сохранение чисто большевицкого правительства средствами политического террора» (там же, стр. 136).

Как первое, так и второе заявление были опубликованы в органе ВЦИК — в «Известиях» за 5 ноября 1917 г. Заявление руководящих деятелей партии о выходе из ЦК и из правительства вызвало очень невыгодное эхо для диктаторского крыла ЦК. Как раз данный кризис в ЦК и в правительстве показал, что истинная цель Ленина не вообще Советская власть как таковая, а Советская власть как форма диктатуры одной партии — большевицкой партии. Но Ленин не хочет, да и не может в данных условиях открыто декларировать эту свою цель. Однако то что не хочет и не может делать Ленин, делает

за него и вопреки ему оппозиция. Оппозиция внутри партии устами авторитетнейших лидеров партии разоблачает на всю партию, на всю страну скрытые диктаторские замыслы Ленина. Поэтому для Ленина было важно не только исключить ее из ЦК, но и изгнать ее из пратии.

Надо сказать, что отстаивая необходимость сохранения однородного большевистского правительства, Ленин по своему был прав и последователен. Только теперь впервые за все время революции, заполучив власть, он заговорил о социализме. В той же резолюции ЦК о демократическом крыле партии (группа Каменева) Ленин писал: «ЦК подтверждает, наконец, что вопреки всем трудностям победа социализма и в России и в Европе обеспечивается продолжением политики теперешнего правительства» (Ленин, ПСС, т. 35, стр. 46). А эта победа может быть достигнута, по циничному признанию Сталина, только диктатурой одной партии и ее методами принуждения по отношению к 80% населения страны, т.е. крестьянства.

Вот это признание Сталина в январе 1921 г.: «Крестьяне не пойдут бороться за социализм, но их можно и нужно заставить бороться за социализм, применяя методы принуждения» (Сталин, т. 5, стр. 5-6). Имея коалиционное правительство с меньшевиками и эсерами, противниками диктатуры, нельзя было бы вводить в России этот принудительный социализм. Путем персонального давления на каждого члена ЦК, методом мобилизации «общественного мнения» партии через центральный и местный активы партии, а также через партийную печать столицы и провинций диктаторское крыло Ленина-Троцкого окончательно одержало верх над демократическим крылом Каменева-Рыкова.

К тому же начались разложение и разногласия и среди самих сторонников коалиционного правительства из всех советских партий. Первым капитулировал Зиновьев, который свою капитуляцию в «Письме к товарищам» объяснял тем, что меньшевики и эсеры во время переговоров о коалиции не проявили желания договориться с большевистской партией (Протоколы ЦК..., стр. 144). Зиновьев полагал, что левые эсеры, возложив ответственность за срыв соглашения на меньшевиков, войдут в советское правительство (это потом подтвердилось). Зиновьев потребовал от своих сторонников подчиниться дисциплине и «поступить так же, как поступили левые большевики,

когда они остались в меньшинстве по вопросу об участии в Предпарламенте и обязались при этом проводить политику большинства» (там же, стр. 145).

Как мы видели из предыдущего этими «левыми большевиками» из меньшинства в ЦК были Ленин и Троцкий. Разница между двумя «дисциплинами» — меньшинства Ленина (каждый раз, когда он оказывался в меньшинстве) и большинства ЦК, заключалась всегда в том, что Ленин путем искусной манипуляции в партии и комбинацией партийных сил, стоящих вне ЦК (актив партии) при всех условиях добивался своего, то-есть превращал свое меньшинство в большинство, а бывшее большинство, разложив его на части, объявлял «оппозицией». Конечно, формальная дисциплинированность Ленина во второстепенных вопросах была налицо, но когда речь шла о победе его личной воли в принципиальных вопросах, он ломал любую дисциплину. Коварство Ленина, как партийного стратега, собственно только тогда и видно, когда он в периоды внутрипартийных кризисов, будучи в меньшинстве, соблюдая формальную дисциплину подчинения большинству, умел обходить, а где это невозможно, ломать действительную дисциплину. Дисциплина у него, как и другие категории организации и идеологии, всегда была подчинена интересам власти.

Так Ленин поступил и в данном случае. Он очень ловко разложил большинство ЦК, результатом чего была и капитуляция Зиновьева. На заседании ЦК от 8 ноября был снят с поста председатель ВЦИК Каменев, замененный Свердловым. Через три недели он и еще три члена (Рыков, Милютин, Ногин) подали заявления о своем подчинении «большинству» и о возвращении обратно в ЦК. Заявление это не сохранилось, но из выступления Ленина на заседании ЦК от 29 ноября видно, что авторы заявления считают, что «ЦК пошел на уступки». Ленин это категорически отрицает, предлагая им ответить письменно, «что назад их не принимаем» (Протоколы ЦК..., стр. 154-155). Выступивший по этому вопросу Урицкий предлагал принять их обратно в ЦК только в том случае, если они дадут формальные гарантии, что «они вновь не поступят дезорганизаторски» (там же, стр. 155). Обсуждение кончилось без определенного решения. Комиссия ЦК из трех человек во главе с Лениным должна была решить вопрос. Какое это было решение из партийных документов неизвестно. Судя по прото-

колам ЦК до конца февраля 1918 г., на его заседаниях участвовал из «оппозиционеров» только один Зиновьев (вовремя капитулировал!), а имена других четырех в Протоколах ЦК не встречаются. Отсюда можно заключить, что они обратно в члены ЦК не были приняты. Так кончился первый кризис в ЦК.

Однако более грозным, полным драматического напряжения, был второй кризис в ЦК, связанный с заключением сепаратного мира с Германией. Во время этого кризиса Ленин, оставшись в безнадежном меньшинстве, заявил о своей отставке с поста главы правительства. И если эта отставка не была принята, а тем и советский режим был спасен, то всем этим большевики обязаны только тому, кого они, по завету Сталина, проклинали на всех перекрестках — Л. Троцкому.

Об этом втором кризисе мы поговорим в следующей статье.

А. Авторханов

КПСС ПОСЛЕ СЪЕЗДА

Сразу же после закрытия 24 съезда КПСС всем партийным организациям Советского Союза было предписано положить его материалы и решения в основу всей политико-пропагандистской работы. Разъехавшиеся со съезда лидеры зарубежных компартий заявляли, что съезд этот внес большой вклад в «сокровищницу творческого марксизма-ленинизма». А на происходившем две недели спустя X съезде болгарской компартии первый секретарь ЦК этой партии Тодор Живков заявил, что «все передовое человечество живет под неизгладимым впечатлением 24 съезда КПСС». Но съезд этот едва ли мог произвести «неизгладимое впечатление» даже на привыкших к атмосфере партийных восторгов делегатов: до того он был сер, монотонен и скучен. Однако, для понимания дальнейшей политики КПСС и советского правительства съезд этот достаточно важен.

Каково общее значение этого съезда? 24-й съезд был вторым послехрущевским съездом КПСС (первым был 23-й, происходивший в марте-апреле 1966 г.). Но 23-й съезд собрался всего лишь через полтора года после смещения Хрущева. Он подводил только первые итоги деятельности «режима Брежнева-Косыгина». Основных тем на том съезде было две: во-первых, славилась будущие плоды незадолго до того провозглашенной «экономической реформы», из которой, к слову сказать, так почти ничего и не вышло, а, во-вторых, на том съезде восхвалялись вчерашние соратники Хрущева за то, что они выбросили «Никиту Сергеевича» в мусорный ящик истории и отреклись от его «волюнтаристских завихрений» и «субъективистского самоуправства».

24-й съезд был почти в такой же мере «брежневским», как 22-й (в октябре 1961 г.) был «хрущевским». Брежнев выступил с основным докладом («Отчетный доклад ЦК КПСС») и двумя речами. Он закрыл съезд, он же огласил и состав но-

вых руководящих органов партии. Официальный подхалимаж по адресу Брежнева пронизывал всю работу съезда: «Наш дорогой Леонид Ильич», «глубокий и яркий доклад тов. Брежнева», редакционные примечания в газетах в конце всех выступлений Брежнева: — «Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают. Возгласы «Ура!», «Слава КПСС!» «Слава! Слава!»

Съезд был задуман как панегирик брежневскому руководству и его деятельности. Так он и был проведен. Повестка съезда была очень короткой. Состояла она всего из трех пунктов: Отчетный доклад ЦК (докладчик — Брежнев), доклад о директивах по 9-й пятилетке (докладчик — Косыгин), выборы новых центральных органов партии, т.е. ЦК и ревизионной комиссии. Сразу же после выборов ЦК (и еще до закрытия съезда) был проведен короткий пленум ЦК, на котором был избран новый состав Политбюро, Секретариата и Комитета партийного контроля ЦК.

24-й съезд продолжался десять дней, с 30 марта по 9 апреля. Происходил в кремлевском Дворце спорта, вмещающем свыше шести тысяч человек. Съезд, был очень многолюден: 4,963 делегата и 101 делегация от коммунистических, рабочих и других левых партий из 90 стран мира. Из коммунистических стран не было делегаций от Китая и Албании. Словоговорение было грандиозное: доклад Брежнева продолжался почти шесть часов, доклад Косыгина — более четырех, по докладу Брежнева в «прениях» выступило 46 человек, а записалось — 149! Столь же грандиозной была и реклама, учиненная съезду. Широко использовалось телевидение: передавались отрывки из выступлений многих делегатов, а шестичасовой доклад Брежнева транслировался полностью!

В первых же фразах своего доклада Брежнев заявил, что минувшее пятилетие — «это были годы огромного политического подъема и трудового энтузиазма» и что к своему съезду партия пришла «полная энергии, монолитно сплоченная, уверенная в своих силах и в правильности намеченных перспектив дальнейшего движения вперед». В своем же заключительном слове он объявил, что всем советским людям сейчас «легко дышется, хорошо работается, спокойно живется». И по этой брежневской формуле и был проведен весь съезд. Говорилось только о победах и достижениях, все острые углы были сре-

заны, а если и упоминалось об отдельных недостатках, то лишь как об исключениях, иллюстрирующих общую счастливую и безоблачную советскую действительность. Не все советские люди, согласны с «брежневским благоденствием». Такие несогласные рискнули даже обратиться к съезду в письменной форме с вопросами и протестами, например, Петр Якир. Но делегатам «самого демократического в мире» учреждения не было разрешено даже ознакомиться с содержанием таких протестов. Они просто были переданы в ЦК «для рассмотрения» и, вероятно, для осведомления соответствующих органов, т.е. КГБ и Комитета партконтроля.

Авторов всех таких писем, протестов и обращений волновал, прежде всего, вопрос о Сталине и возможности возрождения сталинских порядков. Ведь вся внутренняя политика после хрущевского режима за последние шесть лет шла в плане постепенной реабилитации самого Сталина и пересмотра того курса, который раньше именовался «преодолением последствий культа личности». Политика зажима и закручивания гаек проводилась с каждым годом все более настойчиво, создавая в стране тягостную, удушливую атмосферу. И многие ожидали, что 24-ий съезд даст дополнительный толчок в этом направлении, т.е. пройдет под знаком восхваления Сталина и даже поведет к массовым репрессиям. Пока что эти мрачные предсказания не оправдались. Вернее, не вполне оправдались. Но это требует особого пояснения.

Имя Сталина на съезде не упоминалось. Не упоминалось и имя Хрущева. Но косвенно вопрос о десталинизации и ресталинизации (хотя и без этих терминов) на съезде был поднят. И сделано это было самим Брежневым в его «Отчетном докладе ЦК». Говоря о состоянии дел на так называемом «идеологическом фронте», Брежнев дал три формулы подхода к вопросу о сталинизме.

Первая общеполитическая. Он сказал: «Опыт истекших лет убедительно подтвердил, что преодоление последствий культа личности, а также субъективистских ошибок благотворно сказалось на общеполитической и прежде всего идеологической обстановке в стране».

Вторая формула историческая: «Партия придавала серьезное значение правильному, объективному освещению истории нашего государства. Острой, справедливой критике были под-

вергнуты отдельные попытки с непартийных, внеклассовых позиций оценивать исторический путь советского народа. В то же время партия показала несостоятельность догматических представлений, игнорирующих те большие положительные перемены, которые произошли в жизни нашего общества за последние годы».

Третья брежневская формула, применительно к литературе и искусству, такова: «В развитии нашего искусства были осложняющие моменты. Кое-кто пытался свести многообразие сегодняшней советской действительности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в прошлое в результате работы, проделанной партией по преодолению последствий культа личности. Другая крайность, также имевшая хождение среди отдельных литераторов, — это попытки обелить явления прошлого, которые партия подвергла решительной и принципиальной критике, законсервировать представления и взгляды, идущие вразрез с тем новым, творческим, что партия внесла в свою практическую и теоретическую деятельность в последние годы».

Если перевести эти эзоповские формулировки на общепонятный язык, то рецепт Брежнева будет таков: Партия «преодолела последствия культа личности» и не желает дальнейшей критики Сталина и его порядков. Но не одобряет партия и слишком уж неумеренного восхваления Сталина и сталинских времен. Хрущев же натворил «субъективистские ошибки», которые партия тоже уже преодолела. Следовательно, не будем вспоминать ни Сталина, ни Хрущева, а пойдем вперед по правильному ленинскому пути, по которому ведет нас Леонид Ильич Брежнев, «Ильич второй». Так просто из истории Советского Союза и КПСС вычеркиваются две эпохи: эпоха Сталина и эпоха Хрущева.

Обтекаемые брежневские формулы не были никем на съезде уточнены или дополнены. На съезде не выступали даже Суслов, Демичев и другие руководители «идеологического фронта». Не выступала и Фурцева, хотя ей, как министру культуры, было бы о чем доложить съезду, если бы съезд всерьез занялся состоянием дел в области культуры и идеологии. Говорил об этом немного лишь Шолохов, и, несколько больше, редактор «Литературной газеты» Чаковский. Но и Чаковский лишь повторил брежневскую формулировку о трак-

товке времен Сталина и Хрущева в литературе, призвав съезд поддержать «очень точную, очень глубокую, товарищи, оценку, данную Леонидом Ильичем Брежневым таким явлениям в литературе».

Попутно Чаковский заверил съезд, что писатели его типа очень довольны нынешним состоянием дел на литературном фронте и намекнул, что все они чувствовали себя крайне неважно «в годы, предшествовавшие 23 съезду», т.е. в годы власти Хрущева. Вот его слова:

«Сегодня особенно ясно вспоминаются чувства, которые владели советскими литераторами, прежде всего коммунистами, в годы, предшествовавшие 23-му съезду нашей партии. Чего хотели писатели и, я думаю, вообще работники идеологического фронта в то время? Мы, писатели-коммунисты, беспартийные литераторы, неразрывно связавшие свою жизнь с партией, с великим делом строительства коммунизма, очень хотели ясности в некоторых важных идеологических вопросах, последовательности, ликвидации тех волюнтаристских завихрений, которых мы достаточно навидались и от которых, честно говоря, порядком в те годы устали».

Чаковский сейчас в моде, он обласкан, и во-всю старался на съезде еще больше выслужиться перед начальством, громя всяческих зарубежных антикоммунистов и своих, отечественных «отщепенцев». Может быть Чаковский и посвящен во все тонкости нынешней партийной линии в вопросах литературы и искусства, но не приходится сомневаться, что всем остальным советским писателям и работникам искусства и науки будет совсем не просто лавировать в пределах брежневских формул «ни так и ни этак». А ничего более ясного и четкого съезд им не дал. Следует, кстати, упомянуть, что в принятой съездом резолюции по докладу Брежнева нет ни одного слова о «культе личности» Сталина или о «волюнтаристских завихрениях» Хрущева. Следовательно, вдумывайтесь, товарищи, в то, что сказал Л. И. Брежнев. Ничего больше партия вам не скажет. Положение создается, по меньшей мере, затруднительное.

Несмотря на все это, недосказанность на съезде в вопросе о Сталине могла подействовать на широкие круги советского населения успокаивающе: опасения нового зажима и репрессий как-будто не оправдались. Но одно место в докладе Брежнева (и этот пункт был отражен в резолюции съезда по докла-

ду) должно все-таки вызвать большое беспокойство. Брежнев объявил, что предстоит обмен партийных документов и что к этому делу «надо будет подойти не формально, а как к важному организационно-политическому мероприятию», с тем, чтобы «обмен партийных билетов содействовал дальнейшему укреплению партии, повышению активности и дисциплины коммунистов». Аргументировал необходимость этого мероприятия Брежнев тем, что с последнего обмена партийных документов прошло 17 лет и «срок действия партбилетов, на который они были рассчитаны, закончился».

В прошлом обмен партийных билетов всегда бывал связан с чисткой. Вернее, являлся составной частью каждой чистки. Поэтому сигнал начать сейчас такую кампанию безусловно должен вызвать тревогу в рядах советских коммунистов. И тревога эта должна была лишь усилиться от того, что в докладе Брежнева говорилось, во-первых, что переподготовка кадров проводится сейчас в таких масштабах, как никогда прежде, и, во-вторых, что «руководящие посты у нас ни за кем не закрепляются навечно». Подобные фразы заставляют многих «руководящих товарищей» дрожать за свои посты и привилегии. А, кроме того, Брежнев подчеркивал усиление деятельности Комитета партийного контроля в Москве и положительно отмечал «активизацию» работы партийных комиссий в республиках, краях, областях и районах. Партийцы же очень хорошо понимают, что означает восхваление «вождем» органов партконтроля. Они воспринимают это примерно с таким же чувством, как рядовые советские граждане — восхваление деятельности органов госбезопасности: как угрозу для себя.

Официальное объяснение, будто срок действия партбилетов закончился, едва-ли может кого-либо удовлетворить. В уставе КПСС нет указаний, что партбилеты выдаются на какой-то срок. Кроме того, состав партии не остается стабильным: в партию все время вливаются сотни тысяч людей и выбывают из нее, по разным причинам, сотни тысяч. И состав партии все время увеличивается: лишь за последние пять лет численность КПСС возросла на три миллиона человек. Примерно такой же рост был и за прошлое пятилетие. Сейчас, — по заявлению Брежнева, — КПСС насчитывает 14.455.321 человек, в том числе 13.810.089 членов и 645.232 кандидата. Почти половина нынешнего состава партии была принята за

последнее десятилетие. Почему же их партийные билеты «устарели?»

Брежнев аргументировал тем, что последний такой обмен был 17 лет тому назад. Но что было 17 лет тому назад, т.е. в конце 1953 и начале 1954 годов? Это был период первой послесталинской чистки партии, последовавшей за расправой с Лаврентием Берия и рядом высших чекистов (Меркулов, Кобулов, Деканозов, Гоглидзе, Мешик, Володзимерский, Рюмин, Абакумов и другие). Чистке тогда подверглись руководящие кадры партии и комсомола во многих республиках, краях и областях, но наиболее жестокая чистка была в Грузии, в Казахстане и в Ленинграде. В Грузии, которая пользовалась особыми милостями Сталина и считалась как-бы удельным княжеством Берия, — было вычищено более трех тысяч руководящих аппаратчиков. В Ленинграде и Казахстане было сменено все партийное руководство. Здесь уместно будет напомнить, что в Казахстане работу эту проводил Брежнев, назначенный в феврале 1954 года вторым секретарем ЦК компартии Казахстана.

Однако, полную параллель проводить было-бы ошибочно. Тогда партийная чистка сопутствовала общему курсу на «либерализацию» и разгрузке тюрем и лагерей от жертв сталинского террора. А нынешняя кампания следует за известными событиями в Чехословакии и Польше и дополняет те операции против всех и всяческих инакомыслящих «отщепенцев», которые ведутся уже более пяти лет. Тогда чистка началась с разгрома органов госбезопасности, а теперь чекисты выступают даже в роли ведущих идеологов партии. Достаточно напомнить, например, что в период перед 24 съездом руководящие статьи по вопросам идеологической борьбы в журналах «Агитатор» и «Политическое самообразование» были написаны... первым заместителем председателя КГБ генерал-полковником ГБ Цвигуном и заместителем генерального прокурора СССР Жогиним. А когда об «идеологической борьбе» начинают писать чекисты и прокуроры, то это обычно ничего хорошего для «масс» не предвещает.

Но возвращаясь к общим итогам 24-го съезда. Вскоре после окончания съезда «Правда» потребовала в передовице, чтобы «материалы и решения» съезда были положены в основу всей работы системы партийно-политического просвещения и

чтобы изучение этих материалов было длительным и глубоким. Что представляют собой эти «материалы и решения»? Собственно говоря, пять документов: доклад Брежнева, резолюция по этому докладу, доклад Косыгина о 9-й пятилетке, директивы съезда о пятилетке, постановление съезда о некоторых изменениях в уставе партии. Выступления всех остальных ораторов (как делегатов съезда, так и зарубежных гостей), хотя их было и очень много, в массе своей никакого интереса не представляют, так как они сводились к восхвалению мудрости нынешнего руководства. Некоторую независимость во взглядах проявили лишь делегат итальянской компартии Берлингуэр и глава компартии Румынии Чаушеску, хотя «независимость» эта была в действительности значительно меньшей, чем это могло казаться по отчетам в иностранной печати. По другим причинам внимания заслуживают речи министра обороны Гречко, министра иностранных дел Громыко, писателей Шолохова и Чаковского.

Изменений в Уставе КПСС было произведено два: первое, созывать съезды КПСС и республиканских компартий раз в 5 лет (раньше было — раз в 4 года), а партконференции в краях, областях, городах и районах — два раза в пятилетие, т.е. через два-три года; второе, дополнительно повысить ответственность и активность первичных парторганизаций в различных учреждениях, ведомствах и учебных заведениях. Это изменение в уставе видимо просто отражает положение, которое и без того фактически существовало.

Доклад Косыгина сводился к сухому изложению важнейших пунктов «проекта директив съезда» о 9-й пятилетке. Проект этот (за подписью Брежнева) был опубликован еще в феврале «для всенародного обсуждения». «Обсуждение» это было превращено в грандиозную пропагандную кампанию, продолжавшуюся полтора месяца, но результаты его были типичны для советских кампаний такого рода: окончательные «директивы» съезда почти ничем не отличались от «проекта». В заключительной части своего доклада Косыгин кое-что сказал о внешних экономических связях СССР. Но о больших вопросах государственной политики Косыгин не говорил, выступал он, так сказать, как главный экономист, а не как глава правительства.

Таким образом, из всех «материалов и решений» съезда

политическое значение имеет лишь один документ: доклад Брежнева, именуемый «Отчетным докладом ЦК». (Резолюция съезда по этому докладу ни в одном пункте от доклада не отходила и представляет собой мозаику «раскавыченных цитат» из брежневского доклада). Брежнев выступал в этом докладе и как глава партии, и как глава правительства. Говорил он обо всем: о внешней и внутренней политике, о новой пятилетке и вообще о хозяйственных вопросах, об обороне страны и органах госбезопасности, о борьбе против «сил империализма» и о положении дел в мировом коммунистическом стане, о партии, об идеологии и т.д. Доклад был чрезвычайно длинен (он занимал в «Правде» полных девять страниц битого текста) и, надо правду сказать, составлен он был очень тщательно. Видимо, готовился он месяцами и над составлением его работали многие десятки или даже сотни человек. Брежнев его лишь «зачитал».

Поэтому доклад Брежнева лишен всякой индивидуальности, читать его трудно и скучно. Но он дает достаточно ясное представление о всех аспектах внешней и внутренней политики нынешнего руководства КПСС и Советского Союза. Впечатление от доклада такое: никаких радикальных изменений в этой политике нет и не предвидится. После 24-го съезда курс советской политики остается, в общих чертах, тем же, каким был за все шесть лет после смещения Хрущева. Во внутренней политике дается обещание «еще лучше удовлетворить растущие потребности советского народа», но тяжелая промышленность сохраняет свое ведущее значение. Во внешней политике подтверждается верность «ленинскому принципу мирного сосуществования», но основной упор, как и раньше, делается на поддержку революционных движений во всех концах земного шара и на укрепление позиций «мировой системы социализма». Противоборство этой системы и «сил империализма» ставится в центр всего, что происходит в современном мире.

Итак, съезд ничего не изменил, не дал ничего нового. Для чего же он созывался? Просто, чтобы выполнить требование устава? Нет, устроители съезда преследовали определенные цели. Прежде всего, надо было продемонстрировать «монолитную сплоченность» партии и всего народа. Это надо было потому, что не только «монолитной», но и вообще «спло-

ченности» в советском обществе нет и в помине. Кроме того надо было показать, что КПСС взяла верх в политической и идеологической борьбе против Пекина. Достигнуты ли были эти цели? Внутри страны — трудно сказать, покажет будущее. Но применительно к международному коммунистическому движению 24-й съезд был определенным успехом для руководства КПСС. Как-никак, на съезд прибыли делегации от ста с лишним зарубежных коммунистических и левых партий. И почти все они, в один голос, славили советское руководство и лично Брежнева. Пекин оказался почти в полной изоляции. Открыто и безоговорочно поддержала его только Албания, значение которой равно почти нулю.

Как же отразился съезд на руководстве компартии Советского Союза? Я уже отмечал, что весь съезд прошел под знаком «культа личности» Брежнева. Культ этот продолжался и после съезда. Например, когда Брежнев 17 апреля выехал в Болгарию на съезд БКП, то провожать его на вокзал явились все находившиеся в тот день в Москве члены и кандидаты Политбюро, все секретари ЦК и руководящий состав всех центральных партийных и правительственных учреждений. Столь же торжественно встречали Брежнева при его возвращении из Болгарии. Такие проводы и встречи были в обычае в годы власти Хрущева, но до 24-го съезда брежневские поездки обставлялись более скромно.

Означает ли 24-й съезд конец эпохи «коллективного руководства» и начало единоличной диктатуры Брежнева? Проводы Брежнева в Болгарию были также использованы в советской печати для того, чтобы дать на этот вопрос отрицательный ответ. На первых страницах «Правды» и «Известий» была помещена групповая фотография Брежнева с провожающими. В первом ряду, рядом с Брежневым, стояли Подгорный, Косыгин, Суслов и еще двое «вождей». Это были, скорее всего, Кириленко и Шелепин (фамилии под снимком не указывались). Во всех остальных московских газетах был дан снимок лишь первых четырех, но с перечислением их фамилий. Это был как-бы сигнал всем тем, кому следовало понять, что на самом верху ничто не изменилось и как и раньше правит «четверка»: Брежнев, Косыгин, Подгорный и Суслов. Конечно, этот пропагандный маневр может и не отражать действительного положения вещей и мог быть применен для обмана своего

и зарубежного общественного мнения, — подобные вещи в прошлом делались не раз, — но официально было продемонстрировано, что так называемое «руководство партии и правительства» осталось прежним.

Каковы изменения в ЦК и в Политбюро? Состав ЦК расширен. В прежнем составе было 360 человек (195 членов и 165 кандидатов), в новом — 396 (241 член и 155 кандидатов). Персональные изменения среди членов ЦК невелики: из старого состава перешло 150 человек, 41 переведен из кандидатов в члены и 4 переведены из второго формально высшего органа партии — из Ревизионной комиссии. Новых людей среди членов ЦК оказалось 46, главным образом из числа первых секретарей различных обкомов партии. Состав кандидатов в члены ЦК обновлен больше: из 155 человек вновь избрано 67. Еще больше обновилась Ревизионная комиссия: из 81 члена этого партийного органа старых осталось только 34. Но при анализе этих изменений необходимо иметь в виду, что функции Ревизионной комиссии довольно ограничены, а кандидатство в ЦК — скорее почетное партийное звание, чем реальная принадлежность к руководству. Кандидаты участвуют в работе пленумов ЦК, но не имеют права голоса. А среди полных членов ЦК изменения очень невелики. Костяк этого органа власти остался старым, а новые люди введены просто путем расширения состава ЦК: состав расширен на 46 мест и новых людей оказалось 46. Кто же эти люди, кого они поддерживают? Будет ли новый ЦК более «брежневским», чем старый? Все это относится к сфере гаданий.

Политбюро и Секретариат ЦК. В этих двух органах сосредоточена вся власть: как партийная, так и государственная, власть исполнительная, законодательная, судебная, военная и карательная. Чисто формально, — по Уставу партии, — Политбюро и Секретариат — рабочие органы Центрального Комитета, являющегося в перерывах между съездами высшим органом партии. В действительности же, ЦК — не больше, как совещательный орган при Политбюро, которое через Секретариат управляет всеми делами ЦК и партии в целом. Но даже и это еще не объясняет всей сути дела. Абсолютная власть Политбюро определяется тем, что в этот формально чисто нов государственной власти: Верховного Совета, Совета ми-

партийный орган входят руководители всех важнейших органов, органов госбезопасности, профсоюзов и т.д. Все члены Политбюро формально между собою равны. Официального председателя в Политбюро нет, но председательствует там Генеральный секретарь ЦК, т.е. Брежнев. Секретариат формально подчинен Политбюро, но в этом отношении картина осложняется тем, что половина или даже больше Секретарей ЦК входят также и в Политбюро: либо членами, либо кандидатами. Формально, кандидаты стоят, так сказать, на второй ступеньке лестницы власти (на заседаниях Политбюро кандидаты участвуют в обсуждении всех вопросов, но не имеют права голоса), в действительности же часто случалось так, что тот или иной кандидат имел больше власти и влияния, чем некоторые полные члены Политбюро.

Группа Политбюро-Секретариат в последние годы насчитывала 25 человек. Столько же осталось в этой группе и после съезда: никто не был выведен, никто не был введен. Но были сделаны некоторые перестановки. Полными членами Политбюро стали три кандидата (Гришин, Кунаев и Щербицкий), а секретарь ЦК Кулаков, — ведающий вопросами сельского хозяйства, — стал членом Политбюро (сохраняя пост секретаря ЦК), минуя обычную стадию пребывания среди кандидатов, т.е. прыгнул сразу с третьей на первую ступеньку лестницы власти. Последний раз подобный случай произошел сразу же после смещения Хрущева, когда Шелепин был введен в Политбюро, минуя стадию кандидата. Но предыдущая карьера Шелепина давала основания для такого выдвижения: он был первым секретарем ЦК комсомола, потом — председателем КГБ, а в последние два года власти Хрущева возглавлял наделенный чрезвычайно широкими полномочиями Комитет партийно-государственного контроля. Кулаков же был введен в секретариат ЦК в 1965 г., а до того был зам. министра и министром с.х. РСФСР и 1-м секретарем Ставропольского крайкома партии, т.е. занимал значительно меньшие посты, чем Шелепин. Поэтому нынешнее выдвижение Кулакова имеет мало precedентов в советской истории, во всяком случае в постсталинский период.

До съезда в Политбюро было 11 членов и 9 кандидатов; секретарей ЦК было 10. После съезда членов Политбюро стало

15, кандидатов 6, секретарей ЦК осталось 10. Следует иметь в виду, что 6 секретарей ЦК (в том числе генеральный секретарь Брежнев) входят в Политбюро: 4 членами и 2 кандидатами. Многие обозреватели на Западе объясняли увеличение численности членов Политбюро с 11 до 15 стремлением Брежнева дополнительно укрепить свои позиции, насадив в Политбюро верных ему людей. Может быть это и так, хотя «верность» того или иного партаппаратчика кому бы то ни было — понятие весьма относительное, чему в прошлом было немало примеров и что шесть лет тому назад блестяще продемонстрировал сам Брежнев. Моральные свойства всех этих товарищей позволяют им с большой легкостью пересаживаться с одной лошадки на другую и переключать свою «верность» и «преданность» так, как более выгодно. С одной оговоркой, конечно: если они успевают сделать это вовремя. Однако, расширение состава Политбюро может означать дополнительное усиление позиций Брежнева: просто по тому правилу, что чем больше людей входит в этот верховный орган власти, тем меньше сила и влияние каждого его члена и тем больше — его председателя, т.е., в данном случае, Брежнева.

Расширение состава Политбюро могло диктоваться и деловыми соображениями: возникновением каких-то новых задач. Могло это быть сделано и в предвидении того, что кое-кто из членов Политбюро может скоро выйти на пенсию по возрасту или по состоянию здоровья: — Подгорному сейчас 67 лет, Косыгину — 66, Суслову — 68, а председателю Комитета партийного контроля Арвиду Пельше — 71 или 72. О проблеме необходимости «омоложения» Политбюро много писалось за-рубежом еще до съезда. Теперь кое-что сделано для разрешения этой проблемы. Кроме того, могло быть еще одно соображение: В прошлом в Политбюро (между 19-м и 23-м парт-съездами, т.е. между 1952 и 1966 гг. этот орган именовался Президиумом ЦК) обычно бывало 10-11 членов и 4, 5 или 6 кандидатов. В последние годы это соотношение было нарушено и число кандидатов почти сравнялось с числом членов: 9 и 11. «Кандидатов» оказывалось слишком много и некоторые из них (например, Гришин) слишком уж долго «засиделись» на этом посту. Пришло время их выдвинуть. Таким образом, можно найти много причин недавних перестановок

на партийных верхах даже без всяких «кремлинологических выкладок».

Выше указывалось, что в Политбюро (или Президиум) ЦК входят возглавители всех высших органов партийной и государственной власти. Орган этот партийный и в число его членов и кандидатов люди попадают в итоге своей партийной карьеры и своих партийных «заслуг». Это надо иметь в виду. Но, в зависимости от разных обстоятельств и от задач момента, соотношение между представителями партийного и государственного аппарата власти в Политбюро может меняться.

С начала войны и до осени 1952 года, например, Политбюро олицетворяло собой полное сращивание партийного и государственного аппарата власти: почти все члены его занимали также высшие правительственные посты. На 19-м съезде, когда Сталин, — как это было вскрыто на 20-м съезде, — готовил чистку среди своих долголетних соратников, он переименовал Политбюро в Президиум и расширил его состав до 25 членов и 11 кандидатов, наводнив этот орган партаппаратчиками разных рангов. Сразу же после смерти Сталина его наследники выбросили все «наслоения 19-го съезда» и сократили состав Президиума ЦК до 10 членов и 4 кандидатов. Из них 9 членов и 2 кандидата были поставлены на высшие посты в органах государственной власти, и только Хрущев, да еще два кандидата в члены Президиума ЦК «сосредоточились» (как тогда говорилось) на делах чисто партийных.

Следующие четыре года, как известно, были заполнены ожесточенной борьбой за власть на партийных верхах. Но президиум ЦК оставался по своему составу почти идентичен Совету министров СССР. И только на том пленуме ЦК в июне 1957 года, на котором Хрущев дал свой известный бой «антипартийной группе», Президиум был изменен драматически: состав его был расширен до 15 членов и 9 кандидатов (почти как сейчас), 10 мест среди членов Президиума получили секретари ЦК, а от аппарата государственной власти осталось лишь четыре человека: Булганин, Ворошилов, Жуков и Микоян. Но от Жукова Хрущев скоро избавился, а Булганин и Ворошилов были сами замешаны в делах «антипартийной группы» и Хрущев оставил их, до поры до времени, на постах председателя Совета министров и председателя Президиума

Верховного Совета лишь для того, чтобы не таким уж скандальным казался произведенный им тогда дворцовый переворот. Совершил тот переворот Хрущев, опираясь на Секретариат ЦК (при решающей поддержке Жукова и армии), одержал победу над подавляющим большинством Президиума: против него было 8 из 11 членов Президиума. Секретариат был в руках Хрущева и чтобы обезопасить себя от всяких неприятностей он ввел весь Секретариат в состав Президиума, практически стер всякое различие между Президиумом ЦК и Секретариатом. Мера эта была чрезвычайная, но она дала Хрущеву возможность стать «хозяином» и партии, и государства.

Меньше года спустя, — в конце марта 1958 года, — Хрущев спихнул ставшего ему больше ненужным Булганина и взял себе пост председателя Совета министров, оставаясь первым секретарем ЦК партии. Сохранять засилье Секретариата в Президиуме ЦК больше уже не было нужды, надо было усилить, так сказать, «государственный сектор». И именно в этом направлении начинает постепенно меняться облик хрущевского Президиума ЦК. Наконец, на 22 съезде, в октябре 1961 года, Хрущев окончательно «сбалансировал» соотношение сил в Президиуме, опять сократив число его членов до 11-ти. Кроме него самого в Президиуме ЦК того времени было пять человек от партийных и пять от государственных органов власти.

После смещения Хрущева облик Президиума (теперь — Политбюро) опять стал меняться, с постепенным приближением к картине 1957 года. И этот процесс был продолжен и дополнен на 24 съезде. Из избранных на этом съезде 15 членов Политбюро 5 представляют центральные органы партийной власти (секретари ЦК Брежнев, Суслов, Кириленко и Кулаков, председатель КПК Пельше), трое — местные парторганы (1-й секретарь ЦК КП Украины Шелест, 1-й секретарь ЦК КП Казахстана Кунаев, 1-й секретарь Московского горкома партии Гришин). От центральных органов государственной власти в нынешнем Политбюро 4 человека (председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный, председатель Совета министров СССР Косыгин, и два его первых заместителя — Мазуров и Полянский). Два человека представляют местные органы государственной власти: председатели Советов министров

РСФСР и Украины Воронов и Щербицкий. 15-й член Политбюро, — председатель ВЦСПС Шелепин, — стоит как-бы на грани между работниками партийного и государственного аппарата.

Кандидатов в нынешнем Политбюро 6. Они занимают такие посты: 2 секретаря ЦК КПСС (Демичев и Устинов), трое — первые секретари ЦК компартий Белоруссии, Грузии и Узбекистана (Машеров, Мжаванадзе и Рашидов), 1 — председатель КГБ Андропов. Формально Андропова полагается отнести к «государственному сектору», поскольку КГБ числится при Совете министров СССР. Но... именно «числится», т.к. во все времена своего существования чекистское ведомство было органом партии, а не государства. Да и сам Андропов — работник чисто партийный и до перевода в КГБ был одним из секретарей ЦК и ведал отношениями с правящими компартиями. Таким образом, все посты кандидатов в члены Политбюро заняты партийными аппаратчиками.

При таком положении делами партии занимается подавляющее большинство нынешних членов и кандидатов Политбюро, а делами правительственными (в масштабах всего Советского Союза) — всего лишь трое: Косыгин, Мазуров и Полянский. Конечно, к аппарату государственной власти принадлежит и Подгорный, но, как известно, роль Верховного Совета весьма ограничена, а потому действительное влияние Подгорного может скорее объясняться его деятельностью по партийной линии (как члена Политбюро), чем его должностью советского «президента».

Какие из всего этого могут быть выводы? Политбюро в Советском Союзе ведает всеми делами и решает всё. Подлежащие его компетенции многочисленные дела можно, условно, разбить на такие четыре категории: 1) все аспекты внутренней государственной политики; 2) дела самой партии; 3) внешняя политика СССР, т.е. отношения с некоммунистическими странами; 4) внешняя политика партии, т.е. отношения с коммунистическими странами и с зарубежными компартиями. Какие же из этих четырех категорий должны стоять сейчас в центре внимания Политбюро, если судить по его нынешнему составу? Какими делами и вопросами повседневно занимается подавляющее большинство членов и кандидатов Политбюро

сейчас? Ответ довольно очевиден: внутренними делами Советского Союза (в первую очередь советской экономикой) и делами самой КПСС. Следовательно, именно этот «фронт» считается сейчас важнейшим. Едва ли случайно все четыре новых члена Политбюро занимаются как раз этими вопросами. Что же касается всех аспектов внешней партийной и государственной политики, то редко когда в прошлом этот верховный орган власти бывал так насыщен людьми мало компетентными в этих вопросах, как теперь.

На этом фоне очень странное впечатление производит выступление одного из делегатов 24 съезда Громыко. В своей речи он мало говорил о советской внешней политике, но много... о роли Политбюро в формировании этой политики. Вот что он говорил:

«Политбюро повседневно и глубоко занимается вопросами внешней политики, обеспечивая своевременность и дальновидность принимаемых решений... Советское правительство — Совет министров СССР изо дня в день занимается внешними делами в соответствии с линией Центрального Комитета и Политбюро. Можно сказать, непрерывно представители правительства имеют дело с более чем 100 государствами мира, преломляя на практике и повседневно нашу политику, и, как принято говорить, — директивы Центра».

В этой речи Громыко отмечал и роль Верховного Совета во внешней политике Советского Союза. Но как? Он говорил об обращениях и заявлениях Верховного Совета, о делегациях, парламентском обмене, о визитах и суммировал так: «все это намного обогащает внешнюю деятельность нашего государства». В целом, по речи Громыко выходило так, что совет министров «претворяет и осуществляет» директивы «Центра», а Верховный совет тоже что-то делает. Но творится советская внешняя политика исключительно в Политбюро.

Почему и с какой целью было поручено Громыко так умалить роль двух высших органов государственной власти, и сделать это с трибуны партийного съезда? Ответа на этот вопрос пока нет, хотя вопрос и важен. Ведь и Подгорный, и вся «руководящая тройка» Совета министров (Косыгин, Мазиуров и Полянский) входят в Политбюро. Почему же они должны лишь слепо выполнять директивы этого же органа?

И кто вырабатывает эти директивы? Ведь не Шелест, Кунаев, Машеров, Гришин и им подобные, составляющие сейчас в Политбюро большинство. Все они бывают в Москве лишь эпизодически, повседневно занимаясь делами своих республик или местных партийных органов, а общие вопросы советской внешней политики, — многие из которых чрезвычайно сложны, — могут быть им мало знакомы. Кто же остается? Суслов, Кириленко или сам Брежнев. Политическими предсказаниями заниматься опасно, но если предположить, что Брежнев может повторить то, что сделал в свое время Хрущев т.е. взять себе пост главы правительства, то речь Громыко приобретает особый смысл.

Н. Градобоев

24-Й СЪЕЗД КПСС

РАЗДУМЬЯ НАД НОВОЙ ПЯТИЛЕТКОЙ

Лозунги и главная задача девятой пятилетки (1971-75 гг.)

Разрешу начать с цитаты, которой открывается второй раздел директив 24-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-75 годы:

«Девятый пятилетний план будет важным этапом в дальнейшем продвижении советского общества по пути к коммунизму, строительстве его материально-технической базы, укреплении экономической и оборонной мощи страны. Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда».

Заметим, что решение «главной задачи» поставлено в зависимость от целого ряда факторов. Ну, а если, скажем, производительность труда не достигнет заданного ей уровня? В прошлом это было не раз. Ну, а если споткнутся темпы? Бывало и это. Научно-технический прогресс можно лишь предвидеть, но на нем реальные планы не строятся. И если хоть одно из звеньев ослабнет, то вся цепь потеряет заданную прочность.

Мне могут возразить, что все предусмотрено и точно рассчитано. Над директивами работали тысячи и тысячи всевозможных специалистов. Ведь, по словам Н. Лебединского из Госплана СССР, «на разработку проекта директив ушло около трех лет. В этой работе принимали участие научные организации, министерства и ведомства, партийные, профессиональные организации, республиканские хозяйственные и плановые органы», а Госплан все рассмотрел и «смонтировал» в директивы. Но директивы все же не план, нынешний оперативный годовой план, по сути дела, ведется без утвержденного пяти-

летнего плана. Окончательный развернутый проект девятой пятилетки Госплан СССР должен будет представить в Совет Министров СССР до 20 июля 1971 г.

Трудно ждать, что директивы будут подвергнуты ревизии и что Госплан даст совершенно новый вариант пятилетки. Главные показатели размера промышленного производства, развития сельского хозяйства, капиталовложений останутся неизбылемы. Генсека партии не принято поправлять, а его подпись стоит и под проектом директив и под самими директивами. К тому же, о чем будет сказано дальше, план достаточно реалистичен, ибо проектировали его от достигнутого уровня. Метод осужденный теоретически, а практически единственно возможный при стремлении охвата «всего и вся» твердыми безвариантными цифрами.

Нет ни одного органа советской печати, где в той или иной форме, с тем или иным заказанным или добровольным пафосом не превозносилась бы новая пятилетка. Особенно подчеркивается, что она внесла нечто новое в плановую роспись развития народного хозяйства.

А. Ларионов, заведующий отделом пропаганды «Комсомольской Правды», в пятом номере «Журналиста» пишет о том, что «советские люди работали на этот поворотный момент нашей экономики все предшествовавшие пятилетки... Наша экономика ...теперь в равной степени может обеспечить самое широкое удовлетворение потребностей человека».

Итак, девятая пятилетка — поворотный пункт. Другой работник газеты «Правда Украины» пишет: — «предстоящие годы должны внести в нашу жизнь не только огромные количественные, но и кардинальные качественные изменения».

В чем же можно узреть этот поворот? От чего к чему? Ведь и полный социализм осуществили, и по дороге к коммунизму двигаются? Значит, дело не в политических задачах, а в социальных, практических. Если мы вчитаемся в доклады Брежнева и Косыгина на 24-м съезде КПСС, то без труда увидим, что руководство партии заверяет всех, в том, что сейчас можно значительно поднять стандарт жизни и благополучие советских людей, предоставив больше средств на развитие производства предметов потребления. В этом и заключается поворотный пункт, который количественно выражается в том, что по промышленной группе «Б», то-есть производства пред-

метов потребления, будут приняты более высокие темпы роста, чем по группе «А» — производство средств производства.

В ударной фразе Брежнева, сочиненной умельцами из аппарата ЦК КПСС, есть кое-что, о чем стоит поговорить. Вот она: — «Обеспечивая *задел* для будущего роста нашей экономики, осуществляя техническое перевооружение производства, вкладывая огромные средства в науку и образование, мы вместе с тем должны сосредоточивать всё больше сил и средств на решение задач, связанных с повышением благосостояния советских людей. Мы уже не можем, вырываясь вперед на тех или иных участках, — пусть даже весьма важных, — допускать решительное отставание на других».

50 лет экономического задела под будущее

Итак, удовлетворение нужд народа — отстающий участок. Выходит, что 50 с лишним лет делали только *задел* под будущее. Но не много ли времени на него потратили? Как никак, а оборудование промышленных предприятий, основа задела, служит 10 от силы 15 лет. После этого надо устанавливать новое оборудование, то-есть, начинать новый *задел*. Что же, выходит, что впустую работали 15 лет, раз из задела не получили основы для преодоления отставания на фронте удовлетворения нужд населения? Выходит, что машины работали сами на себя, делали задел для будущих машин, а те для следующих: нечто вроде индустриальной сказки про белого бычка?

Есть еще одна ключевая мысль в докладе Брежнева, оспаривать которую нельзя и удивляет только то, почему же это ясное положение, никогда не лежало в основе экономического мышления власти. Брежнев уверяет, что «партия исходит также из того, что повышение благосостояния трудящихся становится все более настоятельной потребностью самого нашего хозяйственного развития, одной из важных экономических предпосылок быстрого роста производства».

Почему же так поздно пришли к мысли, что в первую очередь надо повышать благосостояние населения, что естественно поведет и к росту производства. Ведь только в годы Нэпа на короткий срок правильно решали проблему пропорционального роста экономики при первоочередном удовлетворении нужд народа.

Итак, поворотный пункт указан! — лицом к населению, к его нуждам. Но как же это выразится в материальном виде, в колонках цифр и прочей статистической премудрости?

Нет никакой необходимости прибегать к особому анализу и кропотливо изучать материалы директив съезда, чтобы установить отсутствие серьезного, да и вообще какого-нибудь поворота к нуждам советского населения в нынешней, девятой пятилетке. По заданиям директив предполагается повысить реальные доходы в расчете на душу населения примерно на 30 процентов. Конечно, при этом имеется в виду, что этот рост доходов произойдет не только за счет роста индивидуальной зарплаты, но и за счет поступления в семью средств из общественного фонда в виде бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования и т.п.

Что же касается средней заработной платы рабочих и служащих, то ее планируют поднять всего навсего на 20-22 процента, а оплату труда колхозников — на 30-35 процентов.

Следует отметить, что при осуществлении намеченного объема механизации труда, уменьшится доля низкооплачиваемых работников. Повысится, следовательно, средний тарифный разряд, иными словами увеличится удельный вес рабочих с более высокой оплатой труда. В силу этого, при том низком уровне возрастания средней оплаты, который намечен директивами, относительно не малая часть рабочих и служащих не сможет вообще надеяться на повышение зарплаток на протяжении всей пятилетки.

Нужно еще подчеркнуть, что ничего необычного, экстраординарного в области повышения заработной платы и доходов населения новая пятилетка не представляет. Больше того: рост заработной платы проектируется на более низком уровне, чем достигнутый в закончившейся восьмой пятилетке. По данным ЦСУ СССР реальные доходы населения за 1966-70 гг. выросли на 33 проц., средняя зарплата на 26 проц. и оплата труда колхозников, также выше, чем запланированная на текущую пятилетку, а именно — 42 процента.

Не побоимся наскутить читателю, ему могли и не попасть на глаза директивы девятой пятилетки, и приведем дополнительно другие показатели плана: национальный доход за 5 лет вырастет на 37-40 проц. до 365-372 млрд. руб.; фонд потребления (это и населения и государства) на 40 проц. — до

272-278 млрд. руб.; фонд накопления на 37 проц. — до 93-95 млрд. руб.; производство промышленной продукции составит 528-544 млрд руб. (рост на 42-46 проц.). Предполагается, что в среднем сельскохозяйственной продукции будет производиться на 96-98 млрд. руб., что составит рост на 20-22 проц. по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Надо сказать, что темпы экономического роста приняты очень умеренные: либо на уровне прошлой пятилетки, либо, даже ниже. Это говорит о реалистическом подходе и о не очень высоких надеждах на то, что научно-техническая революция сможет решительно подхлестнуть темпы экономического роста. Во всяком случае, тенденция затухания темпов роста налицо. Особенно это заметно по ключевой базе народного хозяйства, по промышленности. Среднегодовые темпы прироста валовой продукции в первой пятилетке составляли более 19 проц., во второй пятилетке все еще около 17 проц., в первых двух послевоенных пятилетках опустились до 13 проц. В семилетке 1959-65 гг. прирост все еще превышал 9 проц. А позже и 8 проц. казались верхом благополучия роста. На нынешнюю пятилетку партия ориентируется на 7-8 проц. ежегодного прироста промышленной продукции.

Такой уровень прироста ничего особенного для современной мировой практики и для не социалистических стран не представляет. Более высокими темпами за последние годы развивалась промышленность Японии, Испании, Ирана, Тайваня и некоторых других стран. Нет былого отрыва СССР от индустриальных стран мира в темпах роста. Миф о том, что социалистическая система вызывает к жизни темпы экономического роста, которые недостижимы для демократических стран, уже давно сдан в архив.

Миф о преимущественном развитии потребительского сектора

Вопрос об ускоренных темпах роста если не оказался похороненным, то оставлен в тени. Сейчас игра идет вокруг другого вопроса, связанного с теми же темпами экономического роста — это вопрос об опережающем развитии тяжелой промышленности, или более ускоренном развитии промышленного производства предметов потребления. До сих пор был незыблем, как основной закон социалистического производства: — опережающие темпы развития промышленности сектора «А»

(производства средств производства) по сравнению с группой «Б» (производством предметов потребления). И вот, вопреки этому закону, со всякими оговорками, впервые в пятилетнем плане принимаются более высокие темпы развития сектора «Б». Может быть в этом и видеть свидетельство поворота партии лицом к нуждам населения?

Если впервые целая пятилетка должна идти под знаком опережающих темпов роста предметов потребления, то партия и в прошлом, в отдельные периоды, не скупилась на подобные обещания. Вскоре после смерти Сталина была провозглашена программа «крутого подъема производства предметов широкого потребления». Заявлялось, как и теперь, что советская экономика достигла такой зрелости, что отныне можно в опережающих тяжелую промышленность темпах развивать легкую и пищевую промышленность. Обещание просуществовало на бумаге, да и то не больше года.

Правда, теперь времена другие, да и предпосылки более солидные. Уже три года подряд, хоть и микроскопически, но всетаки более высокими темпами росло производство товаров народного потребления. Но надо отметить ловкость жонглирования цифрами роста. Вот, например, допустим, все будет благополучно, и производство средств производства вырастет по максимальному пределу — на 45 проц. за пять лет. Ну, а если производство предметов потребления вырастет за пять лет на 44 проц.? План будет выполнен? Да, но опережающие темпы перейдут к сектору «А» без нарушения статистики директив.

Хотелось бы отметить еще одно. Средний читатель не берется за карандаш, когда читает высокую материю цифрового пафоса пятилеток. Но давайте разберемся — подсчитаем, например, как изменится доля производства предметов потребления к концу пятилетки, если производство их вырастет на 46 проц., и в то же время средств производства на 43 проц., — это средние показатели роста для обоих секторов. Сейчас доля потребительского сектора «Б» составляет всего 25,8 проц. всей промышленной продукции. К концу 1975 г. она поднимется не более, чем до 27 проц. Какой же это поворотный пункт? Все равно ведь подавляющая часть — три четверти промышленной продукции — будет направляться на непотребительские цели. За пять лет прирост на два процента сильно

заниженной доли населения в суммарном промышленном производстве никак нельзя назвать достижением. К тому же за восьмую пятилетку производство по группе «Б» выросло на 49 проц., а на нынешнюю запланирован более низкий прирост, — это еще одно доказательство того, что главная цель нового плана отнюдь не прокламированное партией решительное улучшение материального положения населения.

Дефицит трудовых ресурсов пятилетки

Очень мало внимания и места в проекте девятой пятилетки было уделено вопросу о трудовых ресурсах. А он должен был стать самым главным. Дело в том, что государство не может рассчитывать на значительный приток свежего пополнения работников в народное хозяйство. И обеспеченность плана развития народного хозяйства трудовыми ресурсами будет самым узким местом в экономике страны, которое расширить будет не так легко. И главные трудности в осуществлении всех заданий намеченного роста производства и обслуживания населения должны возникнуть именно на этом участке хозяйственного строительства.

О растущих затруднениях с рабочим пополнением говорит уже тот факт, что государство предполагает за счет повышения производительности труда получить в девятой пятилетке 80-85 проц. всего прироста национального дохода. Поэтому задание по производительности труда, как отметил в своем докладе Косыгин, «имеет решающее значение для всей нашей программы развития народного хозяйства». Он признался, что при высоком уровне занятости населения, государство не может рассчитывать на большой рост производства за счет увеличения численности рабочих. Тем более, что государство в новой пятилетке вынуждено будет в значительно большем количестве, чем раньше, направить работников в сферу бытового и культурного обслуживания населения, то-есть в непроемкую сферу.

В связи с вопросом воспроизводства рабочей силы небезинтересно заглянуть в итоги переписи населения. Вот, что они показывают: сейчас в СССР в возрасте 16-19 лет насчитывается 17,3 млн. человек, или 7,1 проц. всего населения страны. По сравнению с 1959 г. удельный вес этой группы вырос всего на одну десятую процента. А относительное число

выходящих на пенсию (12,0 млн. чел.) возрастает на восемь десятых процента. Из общей численности населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 г.) насчитывается 130,5 млн. человек, или 54 процента. Предыдущая перепись одиннадцать лет назад показывала в возрастной группе трудоспособных несколько меньшее количество людей, но их доля в численности всего населения была выше — составляла 57,4 проц. И что более всего тревожит демографов, это то, что демографический «задел» для будущего сильно сужается. Перепись 1970 г. показала, что в возрасте 10-15 лет насчитывается 29,7 млн. человек, а в возрасте от 5 до 9 лет на 5,2 млн. человек меньше. В самой младшей возрастной группе (до 5 лет) еще меньше детей чем в предыдущей, почти на 4 млн. (20,5 млн.). Возрастная пирамида, которой графически изображается возрастная структура населения, превращается в гриб с утоньчившейся ножкой. Не может не броситься в глаза и еще один факт. В возрасте 30-34 лет, то-есть лиц, родившихся в годы накануне войны (переживших детьми бомбежки, голод, холод, инфекционные болезни) все же на 8 миллионов больше, чем детей родившихся после окончания войны в годы относительного благополучия и улучшения материального положения.

Можно, не впадая в особенную ошибку, утверждать, что принятый в девятом пятилетнем плане относительно невысокий подъем экономики вызван ни чем иным, как невозможностью значительно расширить воспроизводство рабочей силы. Если бы не нехватка рабочих резервов, то государство могло наметить более высокие темпы развития народного хозяйства. Материально-сырьевые и энергетические ресурсы страны это позволяют.

В связи с ограниченными возможностями расширить численность людей, занятых в народном хозяйстве, в директивах даны очень узкие пределы расширения трудовых кадров. В промышленности некоторые отрасли должны даже «высвободить» часть рабочей силы, несмотря на расширение объема производства. Такое требование предъявляется угольной промышленности, металлургии и железно-дорожному транспорту. Энергетика и строительство должны обойтись с наличной численностью работников.

Относительно больше новых кадров получит производ-

ственная сфера. Торговая сеть и общественное питание, предприятия бытового обслуживания будут расширяться, а они и сейчас испытывают трудность в наборе работников. Нуждается в пополнении работниками здравоохранение, просвещение, наука и научное обслуживание, банковская система, жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь занято и сейчас не так уж мало народа — 22-25 млн. человек. Пополнение должно составить не менее 2-2,5 млн. человек.

Наиболее напряженное положение предвидится в сельском хозяйстве. Партия и правительство продолжают рассчитывать на возможность безболезненного выкачивания из деревни значительного количества трудоспособных. Обосновывается подобная возможность тем, что считается реальным повышение производительности труда в колхозах и совхозах на 37-40 проц. при запланированном росте среднегодового объема продукции на 20-22 проц. Можно сомневаться, что сельскохозяйственное машиностроение справится с механизацией сельского хозяйства в заданном размере. Но, главный вопрос не в том, как будет осуществляться план механизации, а в том, что в настоящее время основные работники в деревне — не молодежь, а пожилые люди, старики, которым уже давно пора идти на пенсию. В деревне на протяжении ближайших лет должна произойти значительная смена кадров и она, как естественно предполагать, будет тормозить рост производительности труда.

Поход за зарубежной техникой

Одна из особенностей плана девятой пятилетки, о которой ничего не говорится в директивах и которая не освещается в широкой печати, это ориентация в технической политике на капиталистические страны. Несмотря на громкие крики о преимуществах социализма в освоении достижений научно-технической революции, об особых путях развития материально-технической базы Советского Союза и ошибочности конвергенционного сближения между капитализмом и социализмом, сейчас идет в крупнейших масштабах заимствование технических новинок западных стран.

Мы можем согласиться с тем, что СССР в некоторых областях нагнал капиталистический мир в научно-техническом прогрессе. Но в СССР нередко — о чем пишут и советские специалисты, — демонстрируется вчерашний день мировой

техники. Дело не в том, что в стране нет талантливых конструкторов, их много. Но та система, в которой они работают, никак не благоприятствует ускоренному техническому прогрессу, а содействует консерватизму и замедленному продвижению вперед.

Сейчас отставания особенно недопустимы, это уже осознается и наверху. Поэтому СССР стал на путь приглашения иностранных фирм для сооружения целых предприятий и не «гнушается», даже долгосрочными кредитами, предоставляемыми ему капиталистическими государствами.

Сейчас закончился пуск первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти, самого крупного предприятия по капиталовложениям в СССР. Сооружается он с помощью итальянских специалистов фирмы Фиат. Оборудование поставляется для завода многими странами. Косвенно участвуют и американские фирмы в поставке оборудования этому заводу. СССР обратился за иностранной помощью к французским и немецким фирмам для сооружения крупнейшего в стране завода грузовых автомобилей в Прибрежных Челнах. В Могилеве строится завод при участии английских специалистов и рабочих. По сообщению иностранных источников в СССР работает больше, чем полторы тысячи иностранных консультантов, техников всевозможных специальностей, мастеров и рабочих. В СССР работают кроме итальянцев, англичан и французов — шведы, финны, голландцы, австрийцы, занятые в сооружении и пуске предприятий, возводимых фирмами их стран. Словом, капиталисты всех стран объединяйтесь в создании материально-технической базы коммунизма.

Когда же будет опережена Америка?

Последний вопрос, который я хочу затронуть, это о том, что в директивах ни слова не говорится о главной экономической задаче СССР, которая выдвигалась еще в тридцатых годах и фигурирует и сейчас в политической экономии социализма, — это о задаче обогнать США по объему производства промышленной продукции на душу населения. Согласно новой программе КПСС, принятой на 22-м съезде партии в 1961 г., — в 1970 г. полагалось эту историческую задачу разрешить. Вот те слова, которые стоит напомнить тем, кто сейчас «выдает на гора» новую пятилетку, и которые тогда

программу единогласно принимали. Отсутствует только Хрущев, остальные же, как говорится, — все налицо.

Так вот что намечали строители научного коммунизма, возглавители КПСС: «В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, создавая материально техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США...»

Остальные хлестаковские обещания, которые перечислялись в этом, не законченном нами абзаце, можно и не повторять.

По данным, приведенным в статистическом сборнике ЦСУ СССР «Народное хозяйство СССР в 1969 году», национальный доход СССР в том году составлял около 65 проц. нац. дохода США, промышленная продукция — примерно 70 проц., выработка электроэнергии — 42 проц., выплавка стали 84 проц., производство минеральных удобрений — 78 проц., продукция сельского хозяйства — 85 проц., объем капитальных вложений — примерно 95 проц., производительность труда в промышленности — примерно 50 проц., а в сельском хозяйстве 20-25 проц.

Как видим всё еще далеко до того, чтобы нагнать, а о «перегнать» нет и речи. Надо особо подчеркнуть, что американцы возводят и сейчас больше предприятий и электростанций, чем СССР. Это значит, что в абсолютных возможностях дальнейшего расширения производства США уходят вперед от уже достигнутого уровня, так что СССР не нагоняет, а отстает от США. Каков бы не был перелом в экономическом росте обеих стран, все равно девятая пятилетка по заданным масштабам дальнейшего развития сможет может-быть только приблизиться и не на очень близкую дистанцию к своему сопернику по экономическому соревнованию. Таков внешнеэкономический прогноз девятой пятилетки. Что же касается внутриэкономического развития, то обещание создать поворотный пункт в обеспечении повышения материального уровня жизни населения, по сути, остается только пустой фразой. Согласно советской методике расчета, по национальному доходу на душу населения СССР стоял в 1969 году на 13-м а по международной методологии подсчета — на 19 месте среди промышленных стран мира.

Если, как отмечено в директивах, весь национальный доход СССР вырастет на 40 проц., а на душу населения на 34-37 проц., и при этом еще прочие страны ни на йоту не увеличат своего национального дохода, то и в этом случае СССР передвинется бы на 5-е место, а по международной методологии — всего на 14-е место. Но фактически такого положения не может быть, ибо Западные страны не будут стагнировать в экономическом положении. Судя по советским же источникам, за последние 10 лет СССР не поднимался выше 13 места, ни одной из стран демократического мира СССР не обогнал. Чуда, вероятно, не предвидится и в девятой пятилетке.

А. Иванов

ПИСЬМО К МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ

ОБ ОТНОШЕНИИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЦЕНЗУРЫ К ПРОБЛЕМЕ ЕВРЕЙСТВА В СССР

1

В начале августа 1969 г. член Кнессет г-жа Шуламит Алони (партия Труда) обратилась к Министру Иностранных Дел Израиля со следующей интерpellацией (цитируем из газеты «Маарив»):

«Мне было сказано четырьмя видными журналистами, работающими в четырех ежедневных газетах Израиля, что Ваше Министерство запрещает, через посредство цензуры, всякую публикацию о проявлениях национального и сионистского пробуждения в среде еврейской молодежи в Советском Союзе как частных лиц, так и групп и таким образом препятствует передаче информации, которая важна и имеет жизненное значение для советского еврейства и для евреев Израиля одинаково.

Я спрашиваю: 1. Существует ли такое запрещение? 2. Если существует, то на основании какого закона происходит в данном случае ограничение свободы печати? 3. Какой смысл, какая логика и моральное основание для навязывания молчания еврейству, которое кричит и хочет, чтобы его крик был услышан?»

2

6-го августа мы прочитали в «Маариве» ответ представителя Министерства Иностранных Дел:

«Член Кнессет г-жа Ш. Алони обратилась в Мин. Ин. Дел

Эту, одну из последних статей покойного Юлия Марголина нам прислала его вдова Ева Ефимовна. Статья печатается впервые. РЕД.

с интерpellацией, в которой она утверждает (следует текст ее обращения). Мин. Ин. Дел разъясняет:

1. Нет никакой цензуры на публикации этого рода и нет никакой причины, чтобы ее ввести.

2. Израильская пресса приводила и приводит сообщения на эту тему и не было никаких попыток со стороны Мин. Ин. Дел помешать в этом. Наоборот: Мин. Ин. Дел заинтересовано в публикации каждого точного известия на эту тему и согласно с этим, Мин. Ин. Дел предложило совещание в Кнессет 17 июля.

Жаль, что член Кнессет Ш. Алони не следила за этими публикациями в Израильской прессе, тем более, что об этом говорилось на Пленуме Кнессет не раз, и фракция, членом которой она является, была среди инициаторов резолюции, принятой 17 июля с.г., солидаризирующей с проявлениями национального пробуждения в Сов. Союзе и борьбой евреев там за их национальное существование. Положения, существующие о цензуре были и остаются к услугам г-жи Ш. Алони, и ей следовало заглянуть в них прежде чем выступить с лишенным основания известием, что цензура действует там, где она не действует».

3

Представитель Мин. Ин. Дел одернул г-жу Алони, как девчонку, но не наше дело вступаться за эту даму, она сама за себя постоит.

Ясно, однако, что тут что-то не сходится в тексте интерpellации и в ответе на нее. Четыре ведущих журналиста неужели ввели в заблуждение г-жу Алони? В чем дело? Есть тема, на которую нельзя нам писать. Также и автору этого «письма» нельзя писать. Он это знает и потому, по мере сил, воздерживается от писания на негодную тему. Это не тема о положении еврейства в Сов. Союзе, о чем в последние годы (особенно после смерти Сталина и разоблачений Хрущева), наконец, стало возможным писать. Это тема, тесно связанная с положением евреев в Сов. Союзе, настолько тесно, что фактически невозможно правильно осветить одно без другого. Это факт, что не только журналистов со стажем, но и многих молодых, говорящих по-русски, не удовлетворяет та ограниченная возможность публичного выступления, которая им пре-

доставляется в Государстве Израиль. Об этом именно, и о мотивах этого стеснения спросила г-жа Алони, а ответили ей на что-то другое: цензура-де не мешает писать о положении евреев в Сов. Союзе. Ну, еще бы! Но вопрос в том, *что* при этом признается нежелательным и вредным, — и в печать не попадет по причинам от пишущих независимым.

Оставим в покое журналистов, которые якобы «оболгали» г-жу Алони. Я к ним не принадлежал и г-жу Алони в глаза не видел. Я хочу сказать несколько слов моим молодым друзьям, еще не освоившим в достаточной степени иврит и новым в стране.

Нет, вы не можете жаловаться, что вас не выслушало начальство. Вас выслушали в тиши кабинетов. Вас поблагодарили за информацию. Но вам также объяснили, что не ваше дело вмешиваться в принятый израильским правительством курс по отношению к Сов. Союзу. Что надо и можно делать, и так делается. И ничего вы не измените. А если что и изменится, то, опять-таки, — не ваше дело. Не вам менять. На улицу, в печать вас не пустят, и бесконтрольно в Израиле вы действовать не будете. Если, вырвавшись из-за Железного Занавеса, вы думали, что вот тут то и сможете свободно высказаться, поднять тревогу, передать голос лишенных голоса, то теперь вы убедились, что здесь тоже есть кому вас придержать. Итак, не горячитесь, молодые люди, и не лезьте на стенку. Пред вами, действительно, стена, которую вы никакими усилиями с места не сдвинете.

Мне случилось недавно быть на одном студенческом собрании, где произошла «конфронтация» представителя Министерства Ин. Дел с молодежью израильской и приезжей. Тяжелое впечатление произвел на меня обмен взаимными грубостями. «Приезжие» были далеко не подготовлены к словесному поединку. Нужна была немалая доля понимания, чтобы отнестись серьезно и вдумчиво к их «живому свидетельству». Не надо во всем соглашаться с ними, — но надо понять, откуда они и что хотят выразить своим протестом и нескладным ивритом. Но еще более тяжелое впечатление оставил самоуверенный тон и непроницаемое самодовольство представителя «эстаблишмента», как теперь называют на Западе статический ансамбль правящей бюрократии и «установленного» общества.

4

Есть причина, по которой, это письмо не может появиться в Тель-авивской газете, по-русски или на иврите, в органах израильского «эстаблишмента». Мы с вами имеем свое мнение, которое расходится с принятой линией «эстаблишмента». Никто не запрещает нам иметь свое мнение... Но никто не обязан вас печатать и кое-кто не может вас печатать, даже если хочет. «Эстаблишмент» имеет свою линию не со вчера. Это тянется уже 50 лет. Как это ни странно, удивительно и невероятно, но сионистское движение, руководимое этими людьми, и в свою очередь воспитавшее их, «не ведет холодной войны» с Советским Союзом, и поэтому не может допустить никакого выступления, никакой даже правильной информации, даже... тона (ибо тон делает музыку), которые бы могли быть оценены органами Сов. Союза, как «акт холодной войны, ведущейся против него на всем свете».

Они, действительно, не хотят вести холодную войну. Как честные люди, не хотят дать повод, чтобы их обвинили в холодной войне. Они не воюют с советским правительством, они «просят» его. Они, в крайнем случае, обращаются к нему с укором, с жалобой. Они не ведут — или думают, что не ведут — никакой войны с советским коммунизмом, хотя Советский Союз ведет с ними лютую войну, холодную и горячую, уже 50 лет. Велика эта сила и воля самообольщения, или безумная надежда, что КПСС в один прекрасный день смягчится и изменит свою политику, — хотя не больше политического смысла в этой надежде, чем, в свое время, в надеждах на смену гитлеровской практики и теории.

Поэтому не дадут вам, молодые люди, права входа в учреждения «эстаблишмента», из опасения, что советская власть обидится и еще заострит свою антиизраильскую, анти-еврейскую политику.

Вы прочтете текст резолюции, принятой Кнессет по вопросу о русском еврействе 17 июля и скажете: «лучше поздно, чем никогда». Даже Ури Авнери, антисионист (как он наивно о себе думает) присоединился к этой резолюции. Даже коммунист Моше Сне говорит о праве алии русских евреев на историческую родину еврейского народа. Кнессет напоминает советскому правительству, что оно «признало» еврейский на-

род и еврейское государство. В 1946 году диалектика Мировой Революции требовала убрать англичан и мандатную власть из Палестины. А в 1967 году та же диалектика продиктовала порвать дипломатические отношения и связаться с нео-наци Среднего Востока. Кнессет вольна упрекать правительство Сов. Союза в непоследовательности, если это ей нравится, но это жалкое утешение. Пусть Кнессет не заблуждается: Вильнер, верный голос Сов. Союза в Израиле, уже объяснил, что резолюция, это — «часть холодной войны против Советского Союза». От этого обвинения не отвертится «эстаблишмент», какие бы меры осторожности не принимал.

Резолюция израильского Парламента, как и любая иная резолюция, газетная статья или выступление в Израиле, советскому правительству совершенно безразличны. Это надо понять, чтобы не впасть в грех *мегаломании*, свойственной людям, воображающим, что от их израильской дипломатичности, осторожности или не-осторожности зависит политика советского правительства. Политическая линия Политбюро устанавливается в мировом масштабе независимо от того, скажем ли мы здесь «ШАЛАХ ЭТ АМИ» или не скажем. Если все-таки определенные вещи должны быть сказаны, и притом во весь голос, то потому, что это важно для морали советского еврейства, это его поддержка в борьбе против удушения, которая против него ведется.

Поэтому, читая текст резолюции Кнессет или какого-нибудь иного протеста, вы должны спросить: какая огласка дана этому протесту или воззванию, — было ли оно распространено по всему свету, всеми средствами и способами, во всех странах, легально и нелегально? Или здесь — опять голос, прозвучавший в тишине и смолкнувший, только чтоб отделаться, чтоб можно было потом сослаться: «мы свое сказали, мы свое сделали». Ничего не сделано, если принята резолюция и потом похоронена в архивах, без ее использования по всем каналам массового сообщения.

5

Правительство Израйля не обязано отчитываться перед вами. Вы обязаны ему всем уважением и лояльностью законопослушных траждан. Оно не обязано представлять вам отчет

в своих действиях, сложных, многосторонних, частью не подлежащих огласке и не требующих рекламы.

И вы не на положении детей, которые теребят за руку взрослых, чтобы их выслушали и занялись ими.

Правительство Израиля и мировое сионистское движение делают много для еврейства в России. И оно заведомо делает меньше, чем может, меньше чем должно, и само знает об этом и не рассчитывает на ваше восхищение. Поймите это, учтите это и делайте сами, что можете, не вступая с ним в полемику дурного тона, как тогда, когда обе стороны обзывали друг друга, через стол, в моем присутствии, — лжецами.

В демократической стране вы имеете право бороться, чтобы «запрещенная тема» перестала быть запрещенной. Вы имеете право требовать, чтобы вам не мешали, чтобы вас не дискредитировали, не ставили вас в положение «нарушителей национальной дисциплины», когда вы повышаете голос там, где другие пугливо молчат или перешептываются еле слышно. В нашей стране говорит без стеснения Вильнер — можно и вам говорить.

Они совершенно правы, говоря, что это опасно. Но — есть коренная разница в вашей и их оценке положения, молодые люди «оттуда». Вы не можете их заставить принять вашу оценку положения еврейства в России. Вы не можете их переубедить и передать им ваш сердечный трепет. Вы говорите: «гибнет три миллиона евреев в Сов. Союзе, они скоро будут потеряны для еврейского народа, как отпиленная ветвь дерева или как ампутированная нога живого организма. Мы все в Израиле будем окалечены, мы не устоим, если эту ногу потеряем». — Вам отвечают: «Мы дело делаем, мы дрожим над тем, чего достигли, и что каждый день может прекратиться, вы вашим криком можете погубить наши достижения».

Да, все опасно в положении еврейского народа и государства Израиль. И не со вчера. Это старая история. Сионизм — вещь опасная. Опасно быть евреем в наши дни, всегда было опасно. Нас губит не только антисемитизм с одной стороны и принудительная ассимиляция с другой. Нас губит близорукость, непонимание исторической ситуации, самодовольный оптимизм людей, отрешенных от действительности и потерявших историческую перспективу, — в силу бюрократического подхода, имеющего видимость «делового».

Так было в 30-е годы, когда решалась судьба миллионов евреев Восточной Европы. Тогда покойный Жаботинский призывал к «эвакуации». Смысл был тот, что надо уходить из зоны смерти. Но люди, которые ничего не понимали в том, что творится, были довольны масштабами своих достижений и дел, они полагали, что судьба этих миллионов не на их ответственности. Они полагались: одни — на Западную демократию, другие — на батюшку Сталина и Мировую Революцию. Ошельмовали тогда людей, которые оценивали еврейскую ситуацию, как трагическую, оценивали правильно, как мы знаем, — и вину тогдашнего официального руководства мы видим не в том, что они не были в состоянии думать и поступать иначе, чем поступали, — а в том, что они так хорошо умели помешать своим политическим конкурентам. Ибо для них — это была борьба за власть и личные позиции.

Теперь — положение иное. Иное в том смысле, что нет борьбы за власть. Мы, слава Богу, в государстве Израиль, купленном кровью всех партий и организаций, всех беспартийных. Но есть разница в оценке положения — опять как в те годы — положения трехмиллионного еврейства в России. Это не вопрос одной или двух тысяч «олим». Нельзя сказать приезжему: «Молчи, а то пострадает твоя семья в Сов. Союзе». Кто опасается за близких, сам будет молчать, и осуждать его нельзя, хотя и хвалить не за что. Но никому нельзя навязывать этой системы «попечения о заложниках», частных лицах-родственников, ибо заложники там — весь еврейский народ. Судьба заложников в этой зверски-беспощадной системе предreshена. Замалчиванием делу не поможешь.

Скажут — это пессимизм. Если это «пессимизм», то он основан не только на 50-летнем опыте советско-израильских отношений, и не только на знании советской системы и действительности, но и на понимании сущности ленинско-сталинской идеологии, которая несет смерть еврейскому народу всеми прямыми и обходными путями.

6

Как ни страшно, но в руководящих кругах израильского общества в силу исторических причин существует неискоренимое уважение к советскому строю. У одних — сознательно. У других — бессознательно, в глубине душевной.

У одних это традиция «социалистического идеализма», когда искренне верили, что там начинается мессианское время человечества. У других — это страх буржуазии и мелкоземства пред огромной силой, с которой нельзя «задираться». Лучше каждая надежда, — на чудо, на китайцев, на пришествие Мессии, чем простое и трезвое констатирование факта, что с этой стороны ждать нам нечего. Пока этот режим и эта доктрина существуют, — мы осуждены. Если мы верим, что они основаны на лжи, которая так или иначе изживет себя со временем, то имеет смысл нам бороться за правду и за право еврейского народа на жизнь. Ложь нас не одолеет. И в этой борьбе, смертельной борьбе Израиля и всех евреев, считающих Израиль своей родиной, за жизнь, — наш друг и союзник каждый, кто протянет нам руку помощи.

И пусть не пугают вас словом «антикоммунизм». Те, кто вас так клеймит, сами признаны «антикоммунистами», и «антисоветскими агрессорами», мировыми преступниками и, в общем, унтерменшами человечества. Вот чего они боятся: что вы дадите повод своими выступлениями обвинить их в антикоммунизме и оскорблении советского величества. Они еще боятся признать, что они сами осуждены на уничтожение и гибель — бесповоротно, а то, в чем они обвиняют вас советская пропаганда давно уже написала на их собственных лбах.

По существу же, тут только игра слов, означающих разные вещи. Есть такой род «антикоммунизма», с которым нам, евреям, не по дороге: «антикоммунизм» черного международного антисемитизма, фашизма. Геббельс тоже назывался Иосиф, но это не повод отбрасывать хорошее еврейское имя. Русская пословица говорит: хрен редьки не слаще. Есть и такой коммунизм, с которым мы были бы готовы «сосуществовать», если бы он хотел «сосуществовать» с нами. Мы не «антикоммунисты» при всех условиях и с кем попало. Мы просто — сионисты. Наша антисоветскость не относится к их идеологии — мало ли есть идеологий, учений, вер на свете, с которыми мы не согласны? Мы не буддисты и не католики, это не делает нас антибуддистами и антикатоликами. Наша «антисоветскость» не относится к благонамеренной утопии, которой утешаются люди и она помогает им жить. Мало ли «чем люди живы», говоря словами Толстого? Наша антисоветскость есть акт обороны против беспощадного врага, который напал на

нас со звериной ненавистью, и в котором мы узнаем черты, делающие его близнецом Гитлера и союзником антисемитов мира. Он бросил нам, еврейскому народу, вызов и незачем прятать голову в песок.

7

Служба израильской информации и пропаганды вообще хромает. Но на отрезке советском она до того плоха, некомпетентна и наивна, что это уже граничит с неморальностью. В нашей стране круг людей старшего поколения, выросших в иных условиях, давно в России не бывавших и мало ее знающих, не умеет понять, что антиеврейский и антиизраильский курс советской компартии не есть случайность, а органическая часть общего курса и мировоззрения советской диктатуры. Евреи не единственный народ, который обижен в Советском Союзе. Они не исключение. Наша беда — часть общей беды там, хотя по отношению к нам ленинско-сталинско-брежневская машина угнетений и репрессий действует особенно радикально. Советский антисемитизм — функция всей системы. Понять это — значит перестать просить у них сделать для нас исключение. Не полагается нам никакой награды у них за наше хорошее поведение и благородство. У них мы всегда будем виноваты, поскольку мы евреи, настаивающие на своем еврействе. Это факт, что требование «Шалах эт ами» «Отпусти народ мой» идет против всей советской системы. Поведение наше очень мешает советской глобальной и внутренней политике, и никакого исключения они для нас не сделают. Надеяться на это могут люди, не понимающие с кем они имеют дело. И есть в этом глубокая неморальность, когда говорят во всеуслышание: «нам все равно, что вы делаете с другими народами, партиями, государствами, не наше дело, мы с ними не товарищи, а вот только для нас, пожалуйста, сделайте особое исключение». Может быть мы и вправду народ особый, но в глазах Политбюро мы не народ особый и даже вообще не народ. И если наша беда не есть часть общей беды, и если надежда наша не есть часть общей надежды на преодоление фашизма в любой его форме — черной, красной или черно-красной, то мало у нас шансов устоять против тех, кто поставил целью — стереть с лица земли еврейский народ.

Никто не может обещать победу и мир многострадальному еврейскому народу. Его будущее, как говорят, «в руке Божей». Но сказано: «не бойся раб мой, Иаков». Мы стоим на своей земле, в своем гсударстве, и единственный наш шанс на спасение от желающих истребить нас — это смотреть зрячими глазами, видеть правду, как она есть, без иллюзий, и не бояться говорить правду.

Ю. Марголин

МОИ ВСТРЕЧИ С Н. В. КРЫЛЕНКО

Впервые я встретился с Николаем Васильевичем Крыленко в Ленинграде: это было более сорока лет тому назад. В огромном, почти не освещенном зале Таврического дворца, в здании бывшей Государственной Думы, собралась небольшая группа любителей альпинизма, съехавшаяся из различных уголков Советского Союза. Исторический зал, где в дни великого смещения разыгрались трагические события, повлекшие за собой падение трехсотлетней монархии, — сохранился в полной неприкосновенности. Только над трибуной вместо золотого двухглавого орла — символа императорской России — красовался аляповато сделанный герб новой коммунистической державы — Союза Советских Социалистических Республик.

На трибуне, около простыни, служившей экраном, стоял человек невысокого роста и плотного телосложения. Что-то отталкивающее было в его облике: в широкие плечи выросла шарообразно-квадратная голова, лысый череп, на мертвом, бескровном лице сохранили жизнь только глаза: всевидящие и чуждые милосердия.

Это и был Николай Васильевич Крыленко, генеральный прокурор республики, сыгравший постыдную роль в недавно тогда закончившемся шахтинском процессе. Он был создателем нового юридического термина — «вредительство» — погубившего сотни и сотни тысяч человеческих жизней.

Крыленко делал доклад о первой Памирской экспедиции, в результате которой было совершено первое советское восхождение на пик Ленина (бывший пик Кауфмана), высочайшую вершину Заалайского хребта. Аудитория внимательно следила за интересным докладом, сопровождавшимся прекрасными диапозитивами.

Реакция альпинистов была вялая. Чувствовалось, что что-то было скрыто, недоговорено в этом прекрасно оформленном сообщении. «Тайна» экспедиции стала известна только не-

большому кругу альпинистов, в число которых входил и я. Но об этом — дальше.

Когда вопросы собрания были исчерпаны, генеральный прокурор захотел познакомиться с альпинистами. Нас представляли по очереди.

— Ваш район, — сказал мне Крыленко, — один из важных. Сейчас надо обратить внимание на Кавказ. Памир и Тянь-Шань не скоро будут нами освоены.

Я заметил, что для развития альпинизма нужны материальные возможности. И добавил:

— Мы бедны как церковные крысы.

— В случае нужды, я разрешаю вам обращаться непосредственно ко мне, — ответил Крыленко, переходя к следующему альпинисту.

Мне не раз пришлось потом воспользоваться этим разрешением, но по вопросам, не имевшим ничего общего с финансами.



Я участвовал во многих высокогорных экспедициях и знал довольно прилично «области вечного оледенения» Кавказа, на которые в то время устраивались массовые восхождения. На вершине Эльбруса мне пришлось побывать четыре раза, на вершине Казбека тринадцать раз, при чем один раз в зимнее время.

Я возглавлял одну из секций альпинизма. В мою обязанность входило чрезвычайно опасное дело: утверждать маршруты через высокогорные перевалы и пути восхождения на вершины. Всякая авария, всякий несчастный случай лежали на моей ответственности. Я был беспартийным: в то время партийных альпинистов почти не было. В практике моей бывали случаи, когда альпинисты гибли в горах. Меня таскали бесконечное число раз в прокуратуру и в НКВД. Но мне везло: альпинисты гибли, когда уклонялись от утвержденного мною маршрута.

В начале тридцатых годов наша экспедиция побывала в Сванетии, перешла через Цаннеровский («Поднебесный») перевал и спустилась в Безенгийское ущелье. Мы разбили лагерь, развели костер, начали готовить скромный ужин. Не успела закипеть вода в котелках, как зашло солнце: и мгновенно наступила полная темнота.

Мы не заметили, как небольшая группа приблизилась к нам. Впереди шел небольшой, грузный человек, за ним — девушка-гигант, краснощекая, здоровая, как бык. Сзади шли четверо юношей, груженных не в меру тяжелыми рюкзаками.

— Здорово, альпинисты! — крикнул, шедший первым, видимо, начальник, — Приятного аппетита! Меня вы должны знать. Я — Крыленко!

Это было наше начальство: почетный председатель все-союзной секции альпинизма и генеральный прокурор республики! Девушка-великан носила однозную фамилию — Железняк. Была ли она дочерью или родственницей матроса, разогнавшего Учредительное Собрание, — не знаю. Среди альпинистов ходили слухи, что «великан» был последней любовью генерального прокурора, а затем и наркома юстиции.

Через полчаса обе группы соединились вместе. Закусывали отличными заграничными консервами и деликатессами, которых не видели, не пробовали на протяжении долгих лет советской власти. Запивали настоящим французским коньяком, мечтой всякого порядочного человека. Когда покончено было с коньяком, перешли на спирт, на наш «неприкосновенный запас». Пили его «по-гусарски», запивая ледяной водой.

Крыленко ораторствовал о своих экспедициях, доказывая необходимость расшифровки «белых пятен» на картах Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. Неожиданно начал (совершенно нецензурно) ругать каких-то «волосатиков».

— Николай Васильевич, — робко спросила девушка-великан, — а кто такие «волосатики»?

— «Волосатики», — полушутя-полусерьезно ответил Крыленко, — это топтатели земли, ходящие в альпийском снаряжении и в расстегнутых рубашках, из под которых видна волосатая грудь. Едва они вступят на ледник, как в страхе ретируются. А вернувшись домой, гордо заявляют: «Мы альпинисты!»

Слово «волосатик» мгновенно распространилось среди альпинистов и сыграло трагическую роль в городе, где я жил. В условиях любой демократической страны, вряд ли оно могло послужить причиной массовых арестов, главным образом, студентов, брошенных, как тягчайших политических преступников, в подвалы НКВД.

Дело было пустым, мальчишеским. На вечеринке, где бы-

ла должным образом почтена память Бахуса, кто-то предложил выпустить журнал — «Смерть волосатикам!». Хозяин, художник и альпинист, быстро набросал обложку: на ней изображен был молодой человек во фраке и, приятная во всех отношениях, дама, одетая в роскошное бальное платье. На маленьком столике стояли цветы, бутылка «Абрау-Дюрсо» и цилиндр. В руках у них было по бокалу шампанского. Молодой человек почтительно целовал даме руку. На второй странице, под пьяные голоса, были записаны члены нового клуба и его правления. На первом месте стояла фамилия лорд-канцлера клуба, затем следовали фамилии лорда-хранителя бутылок, лорда-хранителя пробочника и т.д.

На следующее утро город был взволнован массовыми арестами студентов. Приведу сценку, характерную для той трагической ночи. Молодую, энергичную девушку, студентку одного из ВУЗ'ов, запихивали в воронку три здоровенные энкаведиста. Девушка отчаянно сопротивлялась и кричала на всю спящую улицу: «Сволочи! Да это почище Варфоломеевской ночи!..»

Толпы матерей, отцов, родственников обивали пороги милиции, прокуратуры, тюрем и НКВД. Везде был стереотипный ответ: «Мы ничего не знаем. У нас нет арестованных студентов».

Прошло месяцев семь-восемь. Жизнь шла обычным чередом, но студентов, как во времена библейского потопа, как бы смыло с лица земли.

Как-то вечером, зашел ко мне профессор А., заслуженный деятель науки, известный ученый.

— Я узнал, — сказал он тихо и конфиденциально, — что мой сын арестован по делу каких-то «волосатиков»?

Лицо его выражало полнейшую растерянность и недоумение. Неожиданная догадка мелькнула у меня. Я рассказал профессору об авторе слова «волосатик», и рекомендовал ехать в Москву, к самому генеральному прокурору.

Прокурор, конечно, был перегружен работой и принял заслуженного ученого стоя, с портфелем в руках.

— Что вам нужно? — грубо спросил он.

— Дело в том, — начал академическим тоном профессор, — что моего сына, мальчика очень тихого, прекрасно учившегося, неожиданно, совсем уж под утро, арестовали...

— Какое мне до этого дело, — сердито остановил его Крыленко. — У вас есть власть на местах, пусть она и разбивается. Не могу же я, — повысив голос и теряя терпение закричал Крыленко, — копаться в ваших делах!

И не удостоив взглядом профессора, быстрыми шагами направился к двери. Профессор растерялся и, в отчаянии, закричал:

— Сын арестован по делу ваших «волосатиков»! Понимаете, — «волосатиков»!

Крыленко вздрогнул от неожиданности, остановился, опустился на стул и истерически захохотал. Пароксизм длился довольно долго. Успокоившись, он встал, подошел к столу и записал фамилию профессора.

— С вашим сыном ничего не случится. Поезжайте домой, я затребую это дело в Москву.

Через две недели все арестованные были на свободе. Их обвиняли в «буржуазном разложении и совращении комсомола с ленинского пути».

Жестокая расправа со студентом-provокатором, бывшем на вечеринке, произошла среди бела дня на центральной площади города перед памятником Ленина.



Ежегодно, по окончании летнего сезона, устраивались съезды альпинистов. Они происходили в Москве, в здании ВЦСПС. Центральными докладами бывали обычно отчеты Крыленко об очередных памирских экспедициях.

Несмотря на «тяжелую» комплекцию, противопоказанную альпинизму, Крыленко был страстным поклонником его. Подниматься на вершины было ему трудно, а на пике Ленина он потерпел жестокое фиаско: не добрался до вершины. Спустившись с заоблачных высот, он устроил небольшую «пресс-конференцию». О позоре наркома решено было умолчать. Крыленко оповестил мир о блестящей победе советского альпинизма, но альпинисты, знавшие подноготную всей этой истории, зло и жестоко высмеивали неудачливого почетного горовосходителя. Говорить же об этом было опасно: Крыленко все же был уже наркомом юстиции СССР и шутки с ним были плохи.

Крыленко терпеть не мог неаккуратности, особенно, если дело касалось его выступлений. Он считал, что каждый альпи-

нист обязан был проникнуться уважением к его мудрости, пунктуально знакомиться с каждым его шагом, служащим великому делу ликвидации «белых пятен» на картах Советского Союза.

Случилось так, что мне не удалось приехать во время в Москву: я опоздал на доклад наркома. В зал, несмотря на мои протесты, меня не пропустили. Дежурный, работник НКВД, одетый в штатское, тщательно просмотрев мои документы, отвел меня в отдельную комнату и запер дверь на ключ. Положение было не из веселых. Просидев около двух часов, я думал, что нахожусь под арестом. Однако, вскоре дверь отворилась и меня провели в кабинет, расположенный рядом.

Никогда мне не приходилось видеть Крыленко таким взбешенным. Лицо его побагровело, глаза налились.

— Уволю! — кричал он, — в тюрьму засажу! Будете помнить как игнорировать доклад Народного Комиссара!

— Товарищ Крыленко, — старался я оправдаться, — причем здесь я, если поезд опоздал...

— Что значит, — вскипел Крыленко, подходя ко мне и тряся кулаками, — поезд опоздал!? Все это отговорки, чушь, ерунда! Вредительство это, понимаете, вредительство!?

Я чувствовал, как кровь прилиwała к моему мозгу.

— Расстреливать надо за такие фокусы! — надрывался он. — Подумаешь, железная дорога виновата! Хотели бы, — могли бы, понимаете МОГЛИ БЫ приехать!?

У меня очевидно нарушились сдерживающие центры. Не отдавая себе отчета, я в таком же повышенном тоне, перебивая его, громко закричал:

— А вы? Почему вы не взяли пик Ленина? Хорош тоже альпинист! Если бы хотели, то МОГЛИ БЫ подняться на него!

Это было болезненное место наркома. Я уколол его очень чувствительно, и понимал, что рискую многим. Но слово не воробей!

Наступило молчание. Казалось наркома оглушило чем-то. Он долго смотрел в окно. Когда столбняк прошел, Крыленко медленно подошел к столу и устало опустился в кресло. Я стоял, как истукан: все мысли как ветром выдуло. Наконец, у наркома появились признаки жизни.

— Вот пропуск, — проговорил он не глядя на меня, — можете идти.

Вспыльчивость Крыленко была пропорциональна его отходчивости.

Нередко злоупотреблял он своим высоким положением, интересуясь больше альпинизмом, чем своими прямыми обязанностями..

Как сейчас помню одну из своих командировок в Москву. В приемной наркома толпилось много народа. Ожидали своей очереди высокопоставленные работники наркоматов, партийных и военных организаций. Я робко подошел к секретарю наркома и просил записать меня на очередь.

— Разве вы не видите сколько ответственных работников ждет приема?

Командировка в Москву была у меня только на двое суток. Я стал нервничать.

— Войдите в мое положение, — говорил я секретарю. — Нарком лично меня вызвал, завтра я должен возвращаться домой. Вопрос касается высокогорных экспедиций...

Секретарь знал слабости своего наркома.

— Ну, ладно. Пойду доложу. Но предупреждаю — бесполезно.

Время шло медленно, дверь в кабинет наркома не отворялась. Казалось, что и сам секретарь пропал там. Ожидавшие чинно сидели, тихо переговариваясь между собою. Рабочий день подходил к концу: было около пяти часов.

Внезапно дверь растворилась и нарком, собственной персоной, выйдя из кабинета, сказал тоном не терпящим противоречий:

— Сегодня никого не смогу принять. Только, пожалуй, одного... — и он указал на меня.



В моей альпинистической практике бывали случаи, кончавшиеся трагедией. Расскажу только об одном. Группа комсомольцев, никогда не бывавшая в горах, просила утвердить маршрут, ведущий через Ушбинский перевал — один из труднейших на Кавказе. Я, конечно, отказал им в этом. Обиженные студенты направились в крайком Комсомола.

Меня потребовали к первому секретарю крайкома.

— Почему вы не утверждаете этот маршрут? Вы что, хотите комсомолу предоставлять только второстепенные роли?

— Я не могу утвердить этот маршрут, группа совершенно неквалифицирована.

— А я приказываю вам утвердить!

— Товарищ секретарь, я не член партии и не член комсомола. — Я вынул незаполненную маршрутную книжку, протянул ее секретарю: — Вот здесь должна стоять подпись утверждающего маршрут. Пожалуйста, распишитесь сами. Вы можете снять меня с работы, но подписывать смертные приговоры в мою компетенцию не входит.

Трудно описать, какой грандиозный скандал разразился в нашем учреждении. Но группа вышла в горы все же по моему маршруту. Но отойдя от последней туристской базы, она переменяла направление и двинулась к Ушбинскому перевалу, вырвав из маршрутной книжки страничку, где значился ее путь следования.

Недели через три, в большом актовом зале ВУЗ'а, где учились неудачливые альпинисты, стояли четыре открытых гроба: белые, восковые лица погибших были залиты будто ярким румянцем: так обычно выглядят замерзшие люди.

Для меня началась тяжелая полоса жизни. Каждый день вызывали меня то в прокуратуру, то в НКВД. Тысячи раз заставляли отвечать на один и тот же вопрос, угрожая арестом и расстрелом. Допросы тянулись до самого утра и я не знал, уйду я домой или меня отправят в тюрьму. Это была в общем обычная советская система: брать измором, довести человека до такого состояния, при котором у него наступало «помрачение мозга» и ему становилось всё безразличным. Вскоре я превратился в тень: у меня не было времени ни отдыхать, ни спать.

В один из вечеров, измученный и усталый, я пошел на телеграф и отправил телеграмму наркому юстиции. Я не надеялся ни на что и сделал это совершенно машинально. Через два-три дня мои допросы кончились. Наше управление получило копию телеграммы из Москвы: «Дело прекратить и переслать в наркомат. Крыленко».



Мне приходилось руководить альпинистской частью в массовых восхождениях на вершины Эльбруса и Казбека. Поднявшемуся на одну из этих вершин выдавался значек «Альпи-

нист СССР». Нездоровая погоня за количеством значкистов, обурежала каждый профсоюз, особенно комсомольские организации, начиная от заводского комитета и кончая ЦК ВЛКСМ.

Наш казбекский лагерь, где проводилась альпиниада, был живописен. Палатки ровными рядами стояли на поросшей травой площадке. Со всех сторон теснились горы. К югу проходила Военно-Грузинская дорога, вьющаяся по долине Терека, сжатая скалами Дарьяльского ущелья. На север открывалась широкая панорама на старинный монастырь Цминда Самеба, за которым поднималась величественная, вечно-снежная вершина Казбека.

Наша группа, состоящая из комбайнеров-стахановцев, только что спустилась в долину, закончив благополучно восхождение на Казбек. Около нашего лагеря стояли две новенькие автомашины. На одной приехал из Ростова директор завода Ростсельмаш, Глебов-Авилов, один из соратников Ленина, занимавший место народного комиссара в первом составе советского правительства. На другой — Крыленко.

Я должен был сделать высокому начальству доклад о комбайнерах, выполнивших с успехом тяжелую задачу восхождения на один из кавказских гигантов.

«Соратники Ленина» были в восторге от благополучного восхождения, от палаточного лагеря, от первобытной природы.

— Не плохо было бы угостить братву винцом? — проговорил Глебов-Авилов, вопросительно посмотрев на Крыленко.

— Ну, что ж, — ответил нарком, — я плачу за все!

В ресторанчике, который вероятно существовал еще во времена Пушкина и Лермонтова, на обширной, застекленной веранде с видом на Казбек, расставлены были небольшие квадратные столики.

Глебов-Авилов интересовался качеством комбайнов, выпускаемых Ростсельмашем, расспрашивал о достоинствах и недостатках их. Крыленко занимали планы высокогорных экспедиций, подготавливаемых на будущий год, качество отечественного снаряжения.

Стало совсем темно, когда гости и высокое начальство расположились в уютном ресторанчике. Меня усадили за один стол с Крыленко и Глебовым-Авиловым.

В помещении стало душно, дымно и шумно. Несколько

керосиновых ламп, подвешенных к потолку, едва освещали зал.

— Разрешите установить тишину, — сказал руководитель группы комбайнеров, — чтобы можно было произносить речи?

Крыленко досадливо махнул рукой.

— Какие там речи! Никакой официальщины не надо! — проговорил он тоном приказа, — пусть себе люди пьют и отдыхают!

Настроение у комбайнеров было боевое: что ж зря они страдали на Казбеке? Почти все они переболели горной болезнью, некоторых из них тащили инструкторы на веревках.

Здоровый, краснощекий парень, с орденом Ленина на груди, неожиданно вскочил и заорал:

— Да здравствует наш любимый вождь и учитель товарищ Сталин!

Комбайнеры дружно прокричали:

— Ура товарищу Сталину!

Я смотрел на Крыленко и Глебова-Авилова. Мне казалось, что в моих глазах все начало двоиться. «Соратники Ленина», при первом возгласе, демонстративно поставили на стол наполненные вином стаканы. На лицах их промелькнула ироническая улыбка, говорившая будто: «ну нет, за эту... мы пить не будем!»

Я не мог ошибиться, сидя с ними за одним столом. Каждый жест, каждое движение или выражение их лиц, не ускользало от меня.

Несомненно, кое-кто из присутствовавших был свидетелем «недостойного поведения» ленинских соратников, но высказывать свои наблюдения грозило большими неприятностями.

Впоследствии, когда я был арестован и сидел в НКВД, мне припомнили это «казбекское рандеву», ставшее одним из пунктов моего обвинительного заключения.

Вскоре после нашей альпиниады, Глебов-Авилов был арестован, его дети были отправлены в исправительный дом НКВД, а жена, оставшись одна, покончила с собой, повесившись на бельевой веревке: так рассказывали мне альпинисты, знавшие эту семью.



В 1937-ом году был арестован и Крыленко. После него пошли аресты альпинистов в Москве. От них цепочкой распространились аресты по периферии. Одно звено этой цепочки зацепило и меня. За несколько месяцев до войны, когда Ежова сменил Берия, я был вызван к военному прокурору.

После трехчасового допроса, прокурор напоследок спросил меня:

— Есть ли у вас какие-либо просьбы?

— Разрешите мне ознакомиться с моим делом, — ответил я.

Прокурор с досадой махнул рукою.

— Да зачем вам это? Ведь все это... — он остановился и замолчал.

— Гражданин прокурор, — сказал я, — имею ли я право ознакомиться с делом, по которому я арестован? — Затем, обратившись к секретарю: — Я прошу занести мой вопрос в протокол.

Прокурор зло посмотрел на меня.

— Конечно, это ваше право, гарантированное законом.

На следующий день я сидел в кабинете следователя. Перед мною лежал увесистый грессбук. На первой странице была выдержка из допроса бывшего наркома юстиции СССР, Крыленко. Она гласила: «Я завербовал одного из своих заместителей по вопросам альпинизма». Дальше следовала фамилия, должность и адрес его. Затем, шел уже обычный трафарет. Арестованный альпинист «чистосердечно сознался» в своих преступлениях, написав обо мне всего лишь несколько слов: «Хотите ли вы вступить в нашу контрреволюционную организацию? На что последовал ответ: Да, конечно!»

На этом «вполне секретном» документе стояла размашистая резолюция прокурора: «Немедленно произвести арест!»

И это все! Просто стать «преступником» в стране победившего социализма.

Это была последняя, заключительная страничка из моего знакомства с генеральным прокурором республики и наркомом юстиции СССР.

Еще один маленький штрих. Когда, перед началом войны, я был уже на воле, кто-то бросил в мой почтовый ящик что-то,

похожее на письмо. Это был клочок бумаги, сложенный трех-угольником. На нем были написаны карандашом фамилия и мой адрес. Марка и почтовый штамп отсутствовали.

Я понял сразу: чья-то сердобольная душа, бережно, как драгоценность, пронесла этот жалкий клочок через далекую сибирскую тайгу и доставила его мне.

С волнением я развернул истлевший листок. В нем было всего несколько слов: «Не осуждайте. Не выдержал пыток». Я сразу узнал знакомую подпись одного из моих друзей-альпинистов.

Николай Туров

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО

Товарищу Молотову
для членов Политбюро

СТРОГО СЕКРЕТНО

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинин тоже) делать свои заметки на самом документе.
Ленин.

По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому изложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно Роста переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений и применений этого общего плана.

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля

на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией не останавливаться перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализацию этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может казаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших зарубежных противников среди русских эмигрантов, т.е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими то ни было мероприятиями должен выступать только тов. Калинин, — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро дает детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.

Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное

решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т.е. на секретном его совещании специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всех операций было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквях.

Ленин

10.II.22

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основой каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.

От редакции «Вестника РСХД»:

«Этот потрясающий документ нуждается в нескольких словах комментария. Подлинность его вне сомнения: на него есть прямая ссылка в «Полном собрании сочинений Ленина», т. 45, М. 1964 г., стр. 666-667: «Март 19. Ленин в письме членам Политбюро ЦКРКП(б) пишет о необходимости решительно подавить сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 об изъятии церковных ценностей в целях получения средств для борьбы с голодом». (В «Архиве» имеет шифр ЦПА ИМЛ. ф. 2, од. хр. 22954). Но бдительные цензоры Ленинских писаний не посмели включить это письмо в так наз. «Полное собрание сочинений», насчитывающее 55 томов».

От редакции «Нового Журнала»:

Мы перепечатаваем из «Вестника РСХД», № 98, это неизданное письмо Ленина, считая, что этому документу надо дать возможно более широкое распространение, как среди русских читателей, так и среди иностранцев. Что напоминает нам этот исключительный по своей нечеловеческой жестокости и политическому цинизму «тайный» документ? Он напоминает «тайные» инструкции Гитлера по уничтожению евреев. Только политические лицемеры и люди с притуп-

ленным нравственным чувством могут еще говорить, что Ленин это «все-таки» не Гитлер. С точки зрения человеческой между Лениным и Гитлером давно должен был стоять знак равенства. Р. Г.

Е. Д. СТАСОВА

«А теперь позвольте познакомить вас с нашим старейшим, опытейшим борцом...», — с этими словами обратился к нам, группе молодых делегатов-коммунистов из зарубежных стран, руководитель Восточного Отдела Исполкома Коминтерна незадолго до открытия заседания расширенного пленума исполкома, происходившего в одном из кремлевских дворцов. Заседание это происходило 45 лет назад, в феврале 1925 года, и представители зарубежных компартий прибыли в Москву по приглашению руководства РКП(б).

Что касается меня, то я был на этом пленуме представителем только что принятой в Коминтерн, в качестве одной из его «секций», коммунистической партии Палестины (я был одним из основателей и первых руководителей этой партии). Оказалось, что по возрасту я один из самых молодых членов Исполкома и делегатов Пленума. Руководителем Восточного Отдела Коминтерна был тогда Федор Раскольников.

На повестке дня в то время не было вопросов, прямо касавшихся политики на Ближнем Востоке и в Палестине. Главными вопросами, обсуждавшимися на Пленуме, были вопросы о положении коммунистических партий в Германии, Чехословакии и т.д. Поэтому Раскольников (и другие члены руководства Восточного отдела) объяснили мне, что мое присутствие считается желательным, чтобы придать пленуму более «интернациональную» окраску. Им хотелось подчеркнуть тот факт, что коммунизм — это не только дело европейских рабочих, но и трудящихся Азии и Африки, к которым уже в то время в значительной мере была обращена коммунистическая пропаганда.

Автор этого сообщения о Е. Д. Стасовой — И. М. Бергер-Барзилай, бывший видный коммунист, пробыл при Сталине в тюрьмах и лагерях с 1935 г. по 1956 г. При Хрущеве был реабилитирован и выехал в Израиль, где выпустил книгу на иврит о советских концлагерях. В ближайшее время в Лондоне в изд-ве «Харвилл» выходят по-английски его воспоминания «Крушение одного поколения». О Е. Д. Стасовой автор пишет с явной симпатией, которая у автора понятна, но которую мы не разделяем. Стасова (как и Дзержинский, и Ленин) была духовно-тупой, фанатичной большевичкой, «верной соратницей» и Ленина и Сталина. Сообщение о ней И. М. Бергера-Барзилая ценно, как исторический документ. РЕД.

И еще об одном соображении упомянул тогда Раскольников: по его мнению, было бы полезно наладить больше **личных** контактов между коммунистическими руководителями из самых разных стран и частей света. В моем случае, например, была возможность представить меня руководителям немецкой, французской, итальянской компартий и узнать их мнение по различным вопросам. В то же время это был прекрасный случай познакомить меня с наиболее выдающимися русскими коммунистами. «Вы многому сможете от них научиться — нашим методам мышления и принятия решений, нашему большевицкому стилю работы», — говорил Раскольников.

Раскольников предложил мне быть моим Вергилием во всем, что касалось русского большевизма. Для этого он не только сам занимался мною, но и привлек своих ближайших сотрудников. Раскольников и его сотрудники искренне старались помочь мне как можно лучше понять действительные цели и методы большевизма в России и его международные связи.

Правда, в моем случае была, в первую очередь, самоочевидная трудность: я не знал ни слова по-русски, я не мог прочесть ни одной русской газеты, смысл многих наиболее распространенных русских терминов, даже ставших международными, был для меня темен.

«Ну что же, — говорил Раскольников, — это не беда, этому можно помочь. Русские интеллигенты знают иностранные языки — французский, немецкий, английский. Нетрудно будет организовать беседы с Бухариным, Зиновьевым, Чичериным. У нас даже есть свои специалисты в этой области. Возьмите, например, товарища Стасову...»

Прошло несколько дней после этого разговора. И вот меня представили Стасовой. Помню, она произвела на меня тогда очень сильное впечатление. Высокая, серьезная, с виду лет пятидесяти, она говорила по-немецки и по-французски, тщательно выбирая слова и выражения, следя за правильностью произношения, как это было, вероятно, принято «в хороших домах», где обучение языкам было едва ли не главным в воспитании и образовании молодых людей.

Уже во время нашей первой беседы Елена Дмитриевна Стасова рассказала мне основные факты ее биографии. Она принадлежала к «старшему» поколению партийцев-большевиков. Уже в начале девяностых годов прошлого века она приняла участие в революционных выступлениях молодежи. Тогда она не уточнила, к какой именно группе она принадлежала, но позднее я узнал, что вместе с другими молодыми людьми, главным образом из дворянских семей, она была участницей движения «Освобождение Труда», возглавлявшегося Плехановым, «отцом русской социал-демократии».

Особенно примечательным в нашей первой беседе с Е. Д. Ста-

совой кажется мне теперь то, что Стасова ни на мгновение не упускала из виду «дидактической», назидательной стороны этой беседы. Она видела перед собою молодого (мне тогда было немногим больше 20 лет), «начинающего», так сказать, «революционера» и поэтому, быстро кончив воспоминания о своем раннем революционном периоде, подробно задержалась на периоде 1898-го года, особенно, с ее точки зрения, поучительном для молодого революционера. Это был год, когда она вступила в только что организованную тогда РСДРП. И хотя в то время она была тоже молодой, но была уже революционеркой с некоторым боевым опытом. Следующая дата, на которой она задержалась, был «незабываемый» 1904 год. В этом году, на втором съезде партии, произошел знаменитый «раскол».

«Нелегко было нам тогда, — говорила Стасова, — 20 лет назад разобраться и найти правильный путь в лабиринте разнообразных точек зрения и взглядов на революцию, на развитие социал-демократического русского движения. Ведущие партийные авторитеты в то время, Плеханов, Аксельрод, Засулич, — все оказались в группе меньшинства. Они поддержали меньшевицкую резолюцию, но я оказалась не с ними». И с нескрываемой гордостью Е. Д. Стасова говорила, что с самого начала встала на точку зрения большевиков, и с тех пор стала одной из наиболее верных и преданных последовательниц Ленина. «Так было до октябрьской революции. Так осталось и после нее!».

Наружность Стасовой и ее первый разговор, произвели на меня такое впечатление, что я старался узнать о ней побольше. «Старые товарищи» сообщали мне дополнительные сведения о ее жизни, о ее замечательных личных качествах как революционера, о ее готовности всем пожертвовать для дела партии. О ее работе по выполнению решений центрального комитета партии.

Помню, что во время моего первого пребывания в Москве, в 1924 году, мне хотелось вообще как можно больше узнать о «старых большевиках», о «профессиональных», полупрофессиональных революционерах, хотелось как можно ближе ощутить «образ» русского революционера, образ живых носителей и продолжателей идей Маркса.

Я думал, что было бы упрощением принять точку зрения, разделявшуюся многими на Западе, по которой большевизм это движение, притягивавшее к себе наиболее бесчестные, криминальные и кровавые элементы русского общества. И что в такой же мере было бы упрощением подписаться под теми хвалебно-гипертрофированными определениями, которыми награждали многие официальные публицисты «старую гвардию» русских большевиков, провозглашая их цветом социалистического мирового движения, иде-

алистами, призванными на месте «прогнившей» России построить новое и никогда прежде невиданное общество.

Один из таких партийных ветеранов однажды сказал мне: «Чего вам еще, посмотрите хотя бы на Стасову. В ней вы увидите пример того, как в наших рядах большевиков, человек из старого мира перевоплощается в нового человека, активного и талантливого творца новой эпохи». Е. Д. Стасова была аристократка, прекрасно воспитанная. Даже близкие ее друзья не спорили, что иногда она ведет себя и в партии как старая помещица. И в то же время Стасова была одной из лучших представительниц революционного движения, «профессиональной революционеркой», по выражению Ленина. Противоречие между идеями Стасовой с одной стороны, и ее поведением, в ряде случаев, отмечали многие говорившие со мной о Стасовой. Тем не менее это не мешало продвижению Стасовой в рядах партийной иерархии.

О процессе зарождения коммунистической бюрократии, начавшемся вскоре же после революции, следует сказать несколько слов. Ленин, уже в самом начале советского периода, увидел эту опасность и пытался предупредить о ней. Пришедшие к управлению государством люди зачастую были носителями тех же пороков, против которых они в теории восставали. Поэтому статьи и речи Ленина между 1917 и 1923 годами наполнены возмущением против недостаточно образованных и недостаточно сознательных партактивистов, управлявших массами народа от имени пролетариата.

Отсюда и лозунг, выдвинутый Лениным, о «культурной революции». Отсюда и страх Ленина перед той опасностью, которую он называл «комчванством». Недостаток культуры был серьезной опасностью в первый период советской власти. Знакомясь с ведущими руководителями той эпохи, вы сразу же чувствовали то почитание и даже почти какой-то «страх», которым были окружены члены «старой гвардии» — люди с солидным культурным фундаментом. Такие люди как Луначарский, Красин, Чичерин пользовались в первые годы революции исключительной репутацией. К этой же категории принадлежала и Стасова.

Стасова пользовалась неограниченным доверием Ленина, огромным уважением со стороны его окружения и всего Центрального комитета. Ленин и его ближайшие сотрудники безоговорочно признали правильность решения о назначении ее секретарем ЦК. Пост «секретаря» в те годы не был еще настолько политически важным как впоследствии. Но все же он отражал авторитет Стасовой в рядах партии.

В то же время на верхах партийного аппарата происходили сложные перемены. Новые элементы вышли наружу с приходом на должность «секретаря» И. В. Сталина. Прежнему «секретарю» Ста-

совой поручили тогда другие участки работы, но она продолжала считаться одним из наиболее известных членов партруководства. Тем не менее в период, предшествовавший 1924 году, Стасова была несколько в тени. Затем, в 1924 году, она снова заняла место в ведущей партийной головке. Но характер ее работы стал совершенно иной.

В начале 1925 года Е. Д. Стасову по решению Политбюро перевели на новую работу. Дело в том, что при Коминтерне образовалась новая международная организация, возглавлять которую поручили Стасовой.

Политическая обстановка к этому времени, в том что касается международного коммунистического движения, значительно меняется. По внутренней оценке самих руководителей Коминтерна, начался спад этого движения, сопровождавшийся в то же время усилением преследования коммунистов во всем мире.

В связи с этим и был выдвинут план создания специальной международной организации для облегчения участи отдельных коммунистов и групп, подвергавшихся преследованиям и арестам. Такого рода организация должна была вести и организационно-пропагандистскую работу, в особенности среди сочувствующих и попутчиков коммунистического движения.

Выбор Е. Д. Стасовой в качестве руководителя новой международной организации помощи революционерам (МОПРа) представлялся вполне логичным. Прежде всего Стасова была старой и опытной профессиональной революционеркой, хорошо знакомой с перипетиями подпольной борьбы и преследований со стороны властей. Стасова подходила и в силу своего широкого авторитета и образования к руководству организацией формально **БЕСПАРТИЙНОГО** характера, открытой для широких кругов сочувствующих, но в то же время контролируемой на основе **партийных** решений.

Тут пригодился Стасовой и ее долгий опыт контактов с международным революционным движением. Мне лично в течение ряда лет приходилось работать в контакте с Е. Д. Стасовой в качестве сначала представителя компартии Палестины, а потом, с 1932 в качестве работника аппарата ИККИ, в котором я возглавлял ближневосточный Секретариат. И как раз на почве деловых встреч мне не раз приходилось наблюдать разные стороны характера Елены Дмитриевны, выражавшие на мой взгляд в значительной мере мысли и настроения целого слоя старых русских большевиков, к которым она принадлежала.

С одной стороны Е. Д. Стасова была типичной представительницей той части коммунистического аппарата, которая считала целесообразность высшим законом для практических решений, а ди-

дисциплину (в смысле строгого подчинения партрешениям) — основным качеством в оценке работы каждого члена партии.

Я знал о ее работе не только из личного опыта, но также и со слов многих партийцев, работавших с ней в разные периоды ее деятельности. Е. Д. Стасова считала своим главным личным достоинством то, что она освоила директивы партии, партийные принципы, и старалась как можно лучше осуществлять проведение их в жизнь. При таком подходе все ее окружение считало Елену Дмитриевну прототипом безгранично преданного партии (и ее руководству) ограниченного человека.

Ведь для старой гвардии большевиков-партийцев, одним из которых была Стасова, не было ничего выше и священной партийного решения. Партийное решение было не только окончательной истиной и руководством к действию, но и всякое его толкование было строго ограничено партдисциплиной. Поэтому-то те эпизоды, которые я приведу в дальнейшем из жизни и работы Стасовой показывают ее с неожиданной стороны.

Двойственность в отношениях Е. Д. Стасовой к отдельным вопросам, возникавшим в ходе ее работы в качестве руководителя МОПРа сыграла важную, а порой и решающую роль в судьбе ряда коммунистов. Ведь от ее слова, от ее решения могла зависеть судьба людей и целых организаций в самых разных уголках земного шара.

В каждый мой приезд в Москву, в качестве представителя компартии Палестины, мне приходилось попутно решать вопросы возникавшие и в Палестинской секции МОПРа; по поводу этих вопросов я встречался с Е. Д. Стасовой на заседаниях Президиума МОПРа. С течением времени, на почве политических бесед между нами сложились и личные товарищеские отношения. Мне пришлось иметь дело и с другими руководящими сотрудниками МОПРа, но каждый раз как только вопрос выходил за рамки чисто ведомственных решений, он выносился на заседание секретариата МОПРа и требовал решения со стороны Елены Дмитриевны.

Мне навсегда запомнился один случай, когда личное вмешательство Стасовой носило не только исключительный характер, но когда она не побоялась прямо выступить против мнения ее собственного аппарата и даже против точки зрения руководящих работников Исполкома Коминтерна. Вопрос стоял об облегчении участи одного из видных коммунистов, как впоследствии оказалось, — о спасении его жизни.

Для того, чтобы лучше понять этот эпизод необходимо вкратце осветить политическую обстановку того времени — конца 20-х, начала 30-х годов. Тогда в СССР внутривнутрипартийная фракционная борьба закончилась полной победой Сталина и поражением всех его поли-

тических противников. Это был период, когда всякое, даже малейшее отклонение от партлинии, подводилось под обвинение в «троцкизме», а борьба против «троцкизма» считалась одной из важнейших задач всех партийцев. В этот период Е. Д. Стасова как старый партиец и крупный работник партаппарата считалась бесспорной и несомненной опорой генеральной линии партии, чуть ли не одной из самых приближенных фигур в окружении самого Сталина.

Борьба за линию Сталина против «троцкизма» переносилась и на форум международного рабочего движения. Зачастую, как мне хорошо памятно, единственной аргументацией в дебатах «за» или «против» того или иного решения был аргумент, что это решение пойдет на пользу «троцкистской агитации» и совпадает таким образом с интересами «троцкизма». Если такой довод приводился позиция Стасовой была вполне определенной — вопрос решался в пользу линии Сталина и против «троцкистов».

Как я указал выше, с 1932 года я возглавлял Ближне-восточную секцию Исполкома Коминтерна (следовательно был переведен в члены ВКП(б), и на мое рассмотрение поступали дела, касающиеся всех партий Ближнего Востока, включая партии арабских стран, Персии и Турции. Вопросы МОПРа часто возникали на основе обращения в ИККИ отдельных членов или групп упомянутых партий. Так, в конце 1932 года из отчетов компартии Турции мы узнали, что в крупнейших городах Турции имели место многочисленные аресты по обвинению в коммунистической деятельности, в том числе поступило сообщение об аресте Назыма Хикмета. Уже тогда, в начале 30-х годов, он был известным поэтом. Лично я встречался с ним еще в 1924 году, когда он совсем молодым человеком поступил в КУТВ (Коммунистический Университет Трудящихся Востока).

Вернувшись в Турцию, Хикмет стал заниматься активной коммунистической агитацией. В частности, пользуясь авторитетом среди турецкой интеллигенции, он писал многочисленные памфлеты и стихи, направленные против находившейся у власти Народной партии и лично против Мустафы Кемаля Паши. Он много раз арестовывался, но ни аресты, ни посулы правительства на него не влияли. В начале 30-х годов он снова был арестован и на сей раз осужден на весьма длительный срок тюремного заключения.

Конечно, поддержка крупного турецкого поэта представлялась на первый взгляд естественной и весьма важной задачей для коммунистов всего мира, и такая поддержка должна была осуществляться в первую очередь через МОПР. Но с другой стороны, в это время «партийный подход» к этой проблеме вдруг осложнился неожиданным вмешательством в это дело турецких коммунистов в Москве. Как мне стало известно в качестве зав. Ближне-восточным отделом, уже с 1921 года большую остроту приобрела внутривнутрипартийная борь-

ба в турецкой компартии. Турецкие товарищи в Москве, связанные с Коминтерном, считали, что «троцкизм» пустил корни и в турецкой партии и, в частности, обвиняли в «троцкизме», и в проведении «антипартийной линии» Назыма Хикмета. По тогдашним критериям это считалось наивысшим партпреступлением, и всякая поддержка его была таким образом поддержкой «троцкизма». Вопрос был передан Е. Д. Стасовой.

В 1957 году, после 20-летнего пребывания в сталинских лагерях, тюрьмах и ссылках, я снова встретил Назыма Хикмета в Варшаве. Хикмет тоже провел 18 лет в заключении — в Турции. Хикмет рассказал мне о страшных условиях пребывания в турецкой тюрьме в первые годы заключения — в начале 30-х годов, где он дошел почти до полного истощения. Но вот к нему начали приходить деньги и посылки от «друзей». Это была помощь, организованная МОПРом по указанию и прямой директиве Е. Д. Стасовой, решившей вопрос о помощи Хикмету по-своему. Стасова выступила таким образом против инструкции партийного порядка, против «линии».

Хикмет ничего не знал о том, кому он был обязан поддержкой в то тяжелое время; мой рассказ для него был совершенной новостью и произвел на него большое впечатление.

В заключение мне хочется привести еще один пример подхода Стасовой к сложным проблемам политического характера. Дело касается отношения ее к еврейскому вопросу и к антисюнистской пропаганде. Нужно отметить, что в непосредственном окружении Стасовой было очень много евреев, которых она в частности весьма ценила за знание языков и вопросов международного революционного движения и за разносторонние международные связи.

Начало 30-х годов совпало с усилением антисюнистской кампании, отчасти в связи с событиями в Палестине. В этот период, с одобрения палестинской компартии и Ближне-восточного отдела Коминтерна, на утверждение к Стасовой была послана книга антисюнистского характера «ГАДАЛ», в которой шла речь о некоторых эпизодах еврейско-арабского конфликта в Палестине. Выдержка из этой книги появилась на немецком языке в Берлине, и предполагалось издать эту книгу на четырех языках: немецком, английском, французском и русском.

Подготовка к изданию была уже почти окончена, когда вдруг в письме на мое имя Стасова выступила с протестом против публикации этой книги на русском языке. Мотивировка Стасовой, данная ею в этом письме, весьма меня удивила и произвела на меня большое впечатление. Стасова писала, что книга отлично написана и что в ней верно отражаются факты политического положения. Стасова даже не возражала против публикации этой книги по-английски и по-французски. Что же касается русского издания, то Стасова

была категорически **против**. И вот по какой причине. Стасова считала, что нельзя не принимать в расчет настроение широких масс русского народа, «десятками лет бывшего под влиянием антисемитской пропаганды». А книга, подобная этой, по мысли Стасовой, была бы воспринята широкими массами именно, как направленная против евреев в целом и всколыхнула бы укоренившиеся предубеждения. Стасова, бывшая русская дворянка, конечно, лучше знала русский народ, чем многие из иностранных работников Коминтерна. Как мне стало известно, по этому вопросу она советовалась и с бывшим участником группы «рабочих сионистов» Гамбургом, ее советником в подобном рода «чувствительных» вопросах. И кончилось дело тем, что в дальнейшем отказались от выпуска книги и на английском и на французском языках.

В период «культа личности» Стасова была уже не у дел, но когда начались массовые реабилитации жертв сталинизма, в частности бывших партийцев, она горячо включилась в это дело. В частных разговорах она резко и критически относилась к периоду «культа» и к антисемитизму последнего периода сталинизма.

Е. Д. Стасова умерла в 1966 году, в глубокой старости. Посещавшие ее отмечают, что почти до самой смерти она сохраняла интерес к событиям общественной жизни.

И. М. Бергер-Барзилай

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт,
с примечаниями О. Дешарт

1-й том выходит в июне 1971 г. Он содержит: неизданную «Повесть о Светомире» (258 стр.), поэму «Младенчество», лирические сборники: «Кормчие Звезды» и «Прозрачность», статьи: «Поэт и Чернь», «Нищие и Дионис», «Копье Афины», «Символика эстетических Начал» и «Кризис Индивидуализма». Том этот предваряется биографическим и критическим очерком О. Дешарт (220 стр.). Цена тома — (ок. 900 страниц) с богатым иллюстративным материалом, в холщевом переплете — 20 долларов. Заказы и денежные переводы направлять по адресу: Foyer Oriental Chrétien, Av. de la Couronne 206 — 1050 Bruxelles — Belgique.

2-й том (того же размера) выйдет в 1972 г. В него войдут: две трагедии «Тантал» и «Прометей», Лирический сборник “Cor Ardens”, все статьи о Символизме и о Театре, неизданные материалы и многочисленные иллюстрации. В 3-й том войдут: «Автобиографическое Письмо», поэма «Человек», лирические сборники: «Нежная тайна» и «Свет Вечерний», статьи, речи, письма характера философского и

религиозного. В следующие тома войдут этюды, посвященные западной и русской литературам, исследования о религии Диониса: «Эллинская религия страдающего бога», «Дионис и Прадионисийство»; переводы Алкея и Саффо, Петрарки, Новалиса, всех трагедий Эсхила (неизданные); филологические статьи и неизданные материалы.

То же изд-во только что выпустило издание сочинений Влад. Соловьева в 12 томах, из которых последние два содержат 1180 стр. неизданного новонайденного материала.

БИБЛИОГРАФИЯ

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА В США. «ЗАПИСКИ», т. 4. Нью Йорк. 1970 (248 стр.).

Вот уже четвертый год, как Русская Академическая Группа в США, в состав которой входят русские научные деятели занимающиеся преподавательской и научно-исследовательской работой, выпускает свой ежегодный журнал «Записки РАГ».

Как и предыдущие номера, 4-ый том «Записок» содержит статьи и очерки на русском и английском языках из разных областей науки. К отделу истории можно отнести статьи профессоров С. Г. Пушкирева «Внешняя политика Ленина (1914-1923 гг.)», И. А. Курганова «Иностранные участники коммунистической революции в России» и А. П. Щербатова «Неопубликованные два письма: кн. А. Барятинского к Александру II и ответ царя».

В своем очерке проф. Пушкирев излагает, на основании сочинений Ленина и документов периода 1914-1923 гг., ценные данные по истории «ленинизма» в эпоху мировой войны, брестского мира, отношений ленинского правительства с Западом в 1920-1923 гг. и Коминтерна.

Ценный материал содержит и статья проф. Курганова. Основываясь на данных, опубликованных в советских изданиях, автор рассматривает роль иностранных военнопленных в революции 1917 года, тему, которой до сих пор не было уделено достаточно внимания, и роль этих военнопленных в организации восстаний у себя на родине, по возвращении из России.

Следующий очерк — перевод на английский язык проф. Щербатовым двух писем из переписки князя А. Барятинского с императором Александром II, которые до сих пор не были опубликованы — говорит еще раз об Александре II, как о царе-реформаторе, внимательно прислушивавшемся к советам передовых людей своего времени.

В области литературы «Записки» предлагают статьи профессоров А. С. Шиляевой «Борис Константинович Зайцев», И. И. Балужева «Записки Охотника» Тургенева и Н. С. Арсеньева «Образы романтической Италии».

Посвященная девяностолетию Б. К. Зайцева, статья проф. Шиляевой знакомит читателей с творчеством этого большого русского писателя и дает изобилие библиографического материала. Статья проф. Балужева интересна по своему подходу к «Запискам Охотника», автор показывает, что рассказы эти «обладают художественным единством и ясной идейной устремленностью».

Очерк проф. Арсеньева об «Образам романтической Италии, от Гете до Гоголя и до наших дней» дает литературно-исторический обзор картин итальянского ландшафта, замечательных вилл и «романтики Италии» в произведениях западно-европейских и русских писателей. Н. С. Арсеньев не только знаток литературы но и художник слова.

Следующие четыре статьи посвящены памяти проф. Е. В. Спекторского (1875-1951), первого председателя РАГ. Их авторы, проф. К. Г. Белоусов, А. Д. Билимович и Н. С. Тимашев, тепло вспоминая покойного, приводят его биографию и дают достойную оценку его научной деятельности. Особого внимания заслуживает статья самого проф. Спекторского «Эпохи русской культуры». В этом небольшом очерке автор сумел найти в жизни России, на протяжении всей ее истории, от кн. Владимира до наших дней, те глубоко христианские начала, которые помогали русским людям находить путь к истине и к миру внешнему и внутреннему.

Столетие со дня рождения выдающегося русского философа Н. О. Лосского отмечается биографическим очерком о нем, написанным проф. Г. В. Вернадским, и статьей Лосского «Псевдонаучность безрелигиозного гуманизма». В ней Н. О. Лосский опровергает систему безрелигиозного гуманизма, проповедуемого Ламонтом, противопоставляя ему религиозное миропонимание.

Очерк на английском языке Б. Йонга и И. Шейера о «Социологических теориях Н. С. Тимашева» дает краткий обзор трудов по социологии ныне покойного профессора, внесшего большой вклад в развитие социальной теории в областях методологии социологии, социальных систем и социологии права.

В интересной и полезной статье известного офтальмолога проф. Е. Т. Федукевич «Болезни глаз, связанные с косметикой» автор приводит клинические наблюдения, которые доказывают вред косметики для глаз. Е. Т. Федукевич — автор известной книги (на англ. языке) об инфекционных болезнях глаз, ставшей настольной у офтальмологов.

Последняя работа, опубликованная в «Записках», статья проф.

П. Г. Никишина «К определению лесосеки главного пользования в равновозрастном лесу» написана для специалистов, она актуальна в наше время, когда так много внимания уделяется экологии и сохранению богатств природы.

Сборник оканчивается разделом «Из жизни РАГ», дающим сведения о деятельности членов Академической Группы. В заключение нужно сказать, что материалы опубликованные в «Записках РАГ» можно рекомендовать, как серьезное пособие в различных отраслях науки студентам, учителям и профессорам. Библиотеки колледжей и университетов, где есть русские отделы, должны предоставить «Запискам» достойное место на своих полках.

Татьяна Сорокина

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ. Почерком поэта. Мюнхен. 1971.

В книге «Почерком поэта» перед глазами читателя происходит процесс поэтического осмысления, поэтического преображения опыта жизни автора. Переживание и художественное преображение для Кленовского, как и для всякого поэта есть единый акт, акт творчества. Художественно-философское осмысление явлений для Кленовского естественно, как дыхание. Стихи сборника можно условно подразделить на две группы — религиозно-философскую, где поэт как бы оглядывается на прожитую жизнь с высоты религиозного постижения, единой религиозной интуиции; эта интуиция уничтожает для него грань между жизнью земной и вечной, так что сама земная жизнь уже предвосхищает то состояние духа, когда времени больше не будет, и то, в основе чего лежит память земной жизни, во всей ее красочной яркости. Эти две темы в творчестве Кленовского гармонично переплетены, художественный образ, сложно одухотворенный религиозным мироощущением поэта, будучи средствами искусства изъят из времени, приобретает черты вечности, вечность же входит в художественное сознание поэта неотъемлемой частью, вечность является предметом постоянного художественного переживания, по отношению к чему располагаются все остальные ценности. Поэт как бы наделен двойным зрением, это двойное зрение помогает ему одновременно воспринимать явления по обе стороны границы, отделяющей время от вечности. Ангел для него столь же (если не более) реален, чем васильки в ржаном поле. И человек (поэт) и ангел одинаково скорбят о том, что из мира уходит красота:

И может быть, иной прохожий
Из ангельских дозорных сил
Вздохнет и пожелеет тоже,
Что ты, колосья преумножа,
Меж ними маки погасил.

В этой концовке одного из наиболее значительных стихотворений сборника образно закреплена основная интуиция поэта — о непосредственном соседстве двух миров. Та же тема с большой художественной убедительностью закреплена в стихотворении «Песнь моя часовней будет длиться», эта тема вообще — занимает центральное место в книге.

Стихотворение «Будь благодарен новому цветку» необходимо привести полностью, не только в связи с тем, что оно исключительно по мастерству, но и потому, что чувство благодарности ко всему сущему, к самому факту бытия чрезвычайно характерно для Кленовского:

Будь благодарен новому цветку,
Что распустился заночь на балконе,
Будь благодарен морю и песку,
Девической груди в твоей ладони!

Будь благодарен... — нет, не перечать
Всего, за что быть благодарным надо!
Вплоть до креста за низкою оградой —
Его могло не быть, а вот он есть!

Наряду с этим, поэт постоянно подчеркивает метафизический, символический в конечном счете — религиозный смысл бытия (стихотворение «О том, как плотью мы легки» и др.) Но в то же время, видимый, земной мир имеет для поэта и самодовлеющее значение:

На полотнах Треченто,
Что в музеях хранимы,
Краски светят, как ленты
В волосах у любимой.

.

Словно мастер, томимый
Красотой безотчетно,
Все сиянье любимой
Перенес на полотна.

В том же смысле очень удачно стихотворение «Я здесь узнал мельчайшие цветы».

Творческое сознание поэта, раскрывающееся в художественном образе, неразрывно связано с миром земных, близких своей обыденностью, вещей. Закрепляя это ощущение, поэт пишет:

Поступлю, как предок мой когда-то,
Что заветы древние храня,
В смертный путь свой, убежав утраты,
Брал жену с собою и коня.

Есть у Кленовского еще один круг образов, его следует выделить, хотя он тоже, конечно, связан с общим мирозерцанием поэта. Для этого круга характерно закрепление в пластическом образе гармонического слияния элементов памяти, природы и изобразительных искусств. Поэт постоянно рисует тот мир

Откуда Афродита сквозь прибой
На мраморные поднялась ступени.

Нет возможности перечислить все художественные удачи, щедро рассыпанные в книге; такие, например, великолепные строфы как:

На кладбище живым занятий много,
Здесь можно целоваться, красть цветы,
Грустить о том, что вот, умрешь и ты,
Писать стихи и объясняться с Богом,

ведь именно в них с законченным мастерством проявляется тот удивительный почерк поэта, который составляет основную прелесть сборника. помимо значительности и глубины художественного замысла и воплощения. Умение соединить в образе прелесть художественной детали с глубиной и цельностью мирозерцания, — это основная черта мастерства поэзии. Последняя книга стихов Кленовского — великолепный образец творческого постижения и образного раскрытия мира во всей его прелести, трудности, сложности и одухотворенности.

Олег Ильинский.

Г. К. ВАГНЕР. СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ. XII век. Владимир. Боголюбово. Издательство «Искусство», Москва 1969 г.

Давно уже внимание русских историков искусства привлекали барельефы на стенах храмов XII в. во Владимире. Давались различные объяснения смысла изображенных на стенах грифонов, львов, женских масок и тематически весьма важной фигуры царя Давида, повторяющейся на стенах церкви. Вставал вопрос — кто были авторы этих скульптур? Что веяния романского стиля были заметны в отдельных случаях, этого никто не отрицал, но всякие были здесь — и сербские, и кавказские, и из Галицкой Руси. Все вместе сплывало с местными вкусами и княжескими пожеланиями. Должна была быть почва, способная воспринять и вырастить пришедшие извне формы и согласовать их со своей традицией.

Монументальный труд Г. К. Вагнера о скульптурах владимирских храмов не только подводит итог (в «Введении») предыдущим изысканиям в этой области, но также дает свое объяснение по ряду спорных вопросов. Но надо сразу указать, что большинство объясне-

ний Г. Вагнера носит в своей основе материалистическую подкладку, когда из фактов исторических выводятся идейные побуждения, т.е. когда «бытие определяет сознание». Г. Вагнер прямо говорит, что «Владимирская скульптура середины XII в. была рождена вполне определенными историческими условиями того времени». Что надо еще предварительно иметь в виду при разборе труда Г. Вагнера, — это некоторую его тенденцию уменьшить значение иноземных влияний в создании Владимирских барельефов. Такая тенденция теперь иногда свойственна советским авторам в их работах по истории русского искусства.

Владимирские князья продолжали великодержавную традицию Киева, считая себя наследниками эпохи св. кн. Владимира и Ярослава Мудрого. Ни одно из сооруженных Юрием Долгоруким каменных зданий не украшено скульптурой ни внутри, ни снаружи. С княжением Андрея Боголюбского связаны постройки в Боголюбове, Успенского собора во Владимире и церкви Покрова Богородицы на реке Нерли. При Всеволоде III был построен во Владимире Дмитриевский собор. Все перечисленные храмы были украшены барельефами, и о них ведется исследование в труде Г. Вагнера, где ставятся вопросы об идейном содержании барельефов, о характере их стиля, и намечаются решения о мастерах, исполнявших эти барельефы.

Храм Рождества Богородицы построен в Боголюбове при бл. в 1156-57 годах. Идея постройки во Владимирском крае храмов в честь Божией Матери была как бы ответом на киевский Успенский собор в Киево-Печерском монастыре, который, по преданию, так же был построен по указаниям Богородицы. На фасадах церкви в Боголюбове было около шести рельефных женских голов. Кого они изображали? По всей вероятности, Деву Марию. Князь Андрей исходил в своих мечтах, как думает Г. Вагнер, из общей картины ветхозаветного строительства храма Соломона, в котором Дева Мария была служительницей. «Но сейчас трудно сказать, — говорит Г. Вагнер, — обращение ли к Соломонову строительству заставило кн. Андрея поднять на щит связанный с иерусалимским храмом культ Божией Матери, или, наоборот, возвеличение последнего натолкнуло его на мысль подражать Соломону». В женских головах боголюбовской церкви видна работа мастеров из «иных земель», по свидетельству летописи. Точно назвать место, откуда пришли мастера, нельзя. Есть предположение, что они прибыли от Фридриха Барбароссы. В исполнении этих голов можно заметить, что романская экспрессивность сочеталась в них с византийской утонченностью. На стене храма в Боголюбове сохранилось изображение головы льва, что считалось символом силы и власти. В Библии говорилось, что трон Соломона был украшен изображениями львов.

Князь Андрей в своем строительстве исходил из библейского первообраза — храма Соломона. Г. Вагнер предполагает, что уже в это время часть боголюбовских скульптур создавалась местными мастерами.

Следующая постройка тех же лет — величественный **Успенский собор во Владимире (1158-1160)**. Значительно большее количество сохранившихся барельефов позволяет расширить представление о декоративных замыслах авторов; но, к сожалению, уже в конце XII в. собор был расширен и обнесен высокими галереями, и часть рельефов была потеряна. Посвящение собора в честь Успения Божией Матери говорило о желании иметь одноименный собор с Киево-Печерским монастырем, ибо именно в Киево-Печерском монастыре началась оппозиция византийскому засилию, и напоминание об Успенском соборе, а не Софийском, могло поднять престиж Владимира. Принцип покровительства Божией Матери Владимирской земле был и в посвящении церкви на реке Нерли в честь Покрова Божией Матери.

Т.к. Успенский собор был епископским, то львиные маски на его стенах понимались не как эмблема княжеской власти, а в смысле стражей храма. Любопытно, что они помещались по сторонам окон, т.е. тех мест, через которые злые силы могли проникать в собор. Привлекают внимание сюжеты трех барельефов на темы «Полет на небо Александра Македонского», «Сорок мучеников севастиийских» и «Три отрока в печи огненной». Первый барельеф прославляет княжескую власть и говорит о божественном покровительстве сильному властителю. Смысл барельефа «Три отрока в печи огненной» — примерно такой же, какой был в словах константинопольского патриарха, обращенных к княгине Ольге: «Христос имать охранити тя... яко же сохранил... Давида от Саула, три отроци от печи, Даниила от зверей, так и тя избавить от неприяни и от сетей его». Говорить о третьем барельефе трудно, ибо он сбит почти совершенно. Выбор места барельефов не был случайным. «Сорок мучеников севастиийских» были на западной стене и обращались к входящим в храм, а «Полет на небо Александра Македонского» помещался на южной стене и, прославляя силу власти, обращался к землям, которые открывались на юг от Владимира.

Надо думать, что артель, работавшая во Владимире, состояла уже больше из местных мастеров. Но как архитектура Владимира не была чисто романской, так и скульптура претворяла западные влияния. Все же ни Успенский собор, ни Боголюбовская церковь не дают целостного представления о скульптурной декорации храма.

Почти полностью сохранились скульптуры в замечательной церкви **Покрова Богородицы на реке Нерли (1165 г.)**, чудом уцелев-

шей до наших дней. Три фасада покрыты тождественными барельефами с центральной фигурой царя Давида, который восседает на троне и господствует над изображенными около него птицами и львами. В боковых плоскостях каждой стены помещены крылатые грифоны, держащие в лапах ланей. Грифоны не клюют их, но крепко держат, смотря в упор на царя Давида. Под грифонами помещены женские маски.

Какой смысл всех этих изображений? Что означает образ царя Давида? Почему он изображен юным, но уже в короне; что означают львы, грифоны, женские головы?

Г. Вагнер дает исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Вызывает удивление, что церковь, построенная в честь праздника Покрова Богородицы, не имеет этого изображения на стенах храма. Тут надо иметь в виду, что иконография праздника Покрова не была еще к тому времени разработана, а в византийской церкви этот праздник вообще отсутствовал.

Что касается царя Давида, то он был помазан на царство как «избранник Божий» и из борьбы с Саулом вышел победителем. В молодом Давиде князь Андрей Боголюбский мог видеть свой идеал мудрого правителя, власть которого предначертана свыше.

Львы у ног Давида — это те львы, символы зла, которые нападали на стада Давида и которых он победил. Над львами изображены царственные орлы, чтобы еще более возвысить образ Давида. Вся эта группа находится в верхней средней части северной, южной и западной стен, которые завершаются полукружием закомар и в общем силуэте прекрасно подчиняются ритму полукружия. Под фигурами львов расположены три женских головы, а еще ниже, по бокам окна, видны два, как стражи, лежащих льва. Надо признать удивительный вкус и художественный такт в размещении этих барельефов на плоскости стены.

В боковых плоскостях стен (т. наз. «пряслах») показаны мощные крылатые грифоны с ланью в лапах, которые символизируют мысль Псалтири — «в тени крыл Твоих укрой меня», т. е. показывают покровительство Бога, осеняющего своим крылом верных ему людей.

Вся скульптура фасадов выражает идею божественного покровительства праведному человеку, в данном случае — царю Давиду, пророчествующему о Божией Матери.

В женских ликах (их всего 21), по мнению Г. Вагнера, подразумевались те невесты, к которым праздник Покрова имел отношение, ибо большинство браков совершалось осенью, после окончания всех полевых работ. Такое объяснение представляется несколько искусственным.

Мысли же Г. Вагнера о том, как возводился храм, весьма обобщены. Барельефы связаны с основной кладкой из белого камня,

а постройка велась, конечно, снизу вверх. Значит, заранее имелся проект всей кладки, и скульптурные композиции вставлялись в стены храма по мере его роста. Удивительна целостность стиля всех фигур, если принять во внимание, что работа велась артелью мастеров. Скульптура легко «читается», образуя с архитектурой полное единство. Здесь трудилась смешанная артель, в которой преобладали русские мастера.

«Суммируя сказанное о фасадной скульптуре храма Покрова, — говорит Г. Вагнер, — мы видим органическую слитность невысокого в общем рельефа со стеной, ясность и прозрачность централизованной композиции, фольклорную поэтичность и цельность образов, отсутствие в них элементов схематической экспрессивности, большой лиризм и возвышенность содержания, — мы должны признать, что к романскому стилю все это имеет очень отдаленное отношение».

Сопоставление скульптур церкви Покрова с литературными памятниками также заслуживает внимания. «Слово Данила Заточника» начинается с образа певца-гуслира: «Восстань, слава моя; восстань в псалтири и в гуслих... Гусли ведь настраиваются перстами... тако и град наш твоим управлением». Эти слова обращают нас прямо к фигуре царя Давида с гуслими в руках на стенах церкви Покрова. Заключительные строки «Слова» напоминают опять скульптуры Покрова: «Господи! Дай же князю нашему силу Самсона, искусность Давида и умножь, Господи, всех людей под пятою его». Силе Самсона отвечают львы, мудрости Соломона — весь замысел строительства, искусности Давида — образ Давида, играющего на псалтири; теме умножения людей отвечают многочисленные женские лики.

Кончая обзор скульптуры церкви Покрова, Г. Вагнер приводит поэтическое обращение современного исследователя древнерусского искусства Н. Н. Воронина к автору постройки всего храма:

«Ты верить заставил в незримый Покров,
Простертый над Русью Марии руками.
Ты вместе с Андреем учил мастеров,
Как мыслью и песней осмысливать камень...».

Скульптуры **Дмитриевского собора во Владимире** относятся к самому концу XII в. Насчитывается более чем 500 рельефов; вся резьба содержит около 1000 резных камней. Но среди них в украшении храма много рельефов, исполненных уже в 18 и 19 веках, взамен старых. В отличие от церкви Покрова, скульптуры Дмитриевского собора дошли до нас в сильно измененном виде.

Главный вопрос, который поднимает Г. Вагнер: чье изображение помещено на центральных пряслах стен храма? Раньше пред-

полагали, что тут, как и в церкви Покрова, изображен царь Давид. Г. Вагнер указывает, что в Дмитриевском рельефе нет надписи «Царь Давид», и приходит к заключению, что тут изображен сын Давида — Соломон, держащий в руках развернутый свиток. Первым к этой мысли пришел акад. Н. П. Кондаков.

Здесь имеются также рельефы на тему «Полет Александра Македонского на небо», изображение мифов о Геракле, кентавры, волки или барсы, львы (125 рельефов), грифоны, олени, рогатые бараны-туры, орлы, фазаны, павлины и проч. Много изображений деревьев и скачущих всадников.

После образов Давида, Соломона и Александра Македонского, сильную и мудрую власть можно было видеть воплощенной в образе князя Всеволода III, что и было сделано на одной стене храма, где князь изображен в окружении своих сыновей.

Трудность определения замысла всей скульптуры Дмитриевского собора заключается не только в том, что появилось много новых рельефов, но и в том, что старые нередко переставлены с места на место во время перестроек и реставраций.

Дмитриевский собор был построен как дворцовая церковь князя Всеволода III, поэтому в скульптурах собора нашли отклик государственные задачи, а рельефов на христианские темы встречается мало.

Надо предполагать, что в скульптурах фриза был исполнен грандиозный Деисус, охватывавший весь храм. Центр Деисуса с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Крестителя находился на западной стене. Скульптура фриза явно указывала на идею Божьего заступничества за Владимирское княжество. В ряду создателей и просветителей края видны св. Борис и Глеб, первые русские святые. Их присутствие говорит о русских мастерах в среде артели скульпторов-каменщиков.

На барабане купола, между окнами, помещались плоские рельефы, связанные тематически с царствием Божиим. Таким образом, в скульптурах Дмитриевского собора почти полностью проявлялась тема мироздания, в которой многое было основано на апокрифах.

По предположению Г. Вагнера, в артели мастеров, работавших над скульптурами Дмитриевского собора, было не меньше 45-50 человек, одни из которых придерживались романской манеры, другие были более самостоятельны, третьи исходили из опыта работы по дереву. Возможно, что руководил работами выходец из Галицкой Руси. Все скульптуры Дмитриевского собора звучат как гимн гармонии жизни.

Говоря в целом о владимирской скульптуре надо сказать, что образы демонических львов, которые имелись в романском искусстве, превратились на русской почве в образы сказочные, декора-

тивные. Картина утверждения Соломоновой премудрости, которой подчиняется все на земле, была близка народным взглядам. Г. Вагнер заключает свою книгу мыслью, что пришедшие во Владимир мастера не привили на владимирской почве ни планов, ни конструкций романской архитектуры; они не ввели круглую статуарную скульптуру; они не насадили того, что получило название «романского стиля». И, в подтверждение своей мысли, Г. Вагнер приводит слова Ф. И. Буслаева:

«Национальность каждого народа, которому предназначена великая будущность (а таков и народ русский), обладает особенною силою претворять в свою собственность всё, что ни входит в него извне. Следовательно, указывая на чужеземные влияния на русскую старину, исследователь говорит не столько во вред, сколько в пользу нашей народности, которая вышла самостоятельно из-под всех чуждых наростов, усвоив себе из чужого только то, что согласно с ее существом».

Я остановился на главных вопросах, не упоминая о всех деталях. Обстоятельный труд Г. К. Вагнера «Скульптура Древней Руси» является одним из самых полных в этой области. В книге, прекрасно напечатанной на меловой бумаге в Будапеште, много отличных reproductions.

Е. Климов

Bolesław J. Gawęcki. "Filozofia rozwoju". Pań, Warszawa, 1967. 200 стр.

Автор рецензируемой книги называет свою «систему» *панпсихосоматизмом* (*пан* — все; *психи* — душа; *сома* — тело). Беру слово «система» в кавычки, не только следуя примеру самого автора, но и по существу. В предисловии к своему труду автор пишет, что с молодых лет мечтал о создании собственного, оригинального мировоззрения. Удалось-ли ему это? Во всяком случае называть это мировоззрение системой вряд-ли оправдано. И хотя автор высказывается против эклектизма, труд его имеет несомненно эклектический характер.

Книга называется «философией развития». Если бы она представляла собой только пробу осмысления эволюции и вскрытия законов, управляющих эволюцией, то она, как одна из философских дисциплин, оправдала бы себя. Однако автор считает ее законченной системой, представляющей собой целое философии, и поэтому его притязания не оправданы, несмотря на большое количество ссылок и цитат, и длиннейшую библиографию трудов самого автора.

Панпсихосоматизм есть сплав *гилозоизма* (т.е. древне-греческого учения о том, что всякая материя есть нечто живое, руководящееся

в своих проявлениях чувствами и стремлениями), джордано-бруновского *пантеизма* и бергсоновского творческого *эволюционизма*. Все это хорошо размещается на канве гердеровской историософской панорамы Вселенной. Это — основные тенденции. В частности, автор ссылается на многообразные учения не только всех известных западно-европейских философских школ, но также и на индусскую и буддистскую религиозную философию. Единственное исключение — это русская философия. Но это и не удивительно: пафос русской философской мысли совершенно чужд ему.

Вот главные тезисы панпсихосоматизма.

Б. Гавецкий ограничивает философию областью тварного мира и делает это не только тактически, а принципиально. Он отрицает понятие Абсолюта, обходится без него, не верит в возможность его открытия (стр. 7) и таким образом уподобляется, мутатис мутандис, известному страусу, прячущему свою голову в песок. Его исходная позиция: Бог есть Вселенная, Вселенная есть Бог, и нет ничего вне и кроме этого.

В философии, как известно, следует различать: гносеологию (науку о познании), онтологию (науку о бытии) и аксиологию (науку о ценностях). Метафизику Гавецкий считает «наивной мечтой». Онтологические тезисы не могут быть обоснованы научно: это суть мнения, истинность которых проверяется согласованностью личного мнения с общечеловеческим мнением, проистекающим из достижений точных наук. Чисто спекулятивные построения не имеют никакой реальной ценности (прости, о, Платон!).

Наше познание есть *человеческое*, антропоморфическое познание. Это не значит, что оно субъективно-иллюзорное, нет, это значит, что *качественная* картина мира, строяемая человеком, хотя и укоренена в объективном мире, тем не менее имеет только относительно-объективную ценность; она вскрывает только некоторые аспекты интер-субъектной реальности. Возможны столько картин мира, сколько существует существ с различными органами восприятия. Реальные человеческие истины о мире — относительны, абсолютная Истина — мираж.

Весь мир состоит из средоточий сил разного уровня, различной степени организации. Каждый энергетический центр имеет психосоматический характер. Реальность вселенной (и каждой ее части) есть результат двух противодействующих сил: рассеивающей (диссипирующей) и организующей. Наряду с законом физики: «энтропия стремится к максимуму» «организация мира стремится к оптимуму» (119).

Вселенная развивается, имея в виду оптимальное состояние. Перфекционизм присущ сознательным и несознательным частицам вселенной. В этой связи интересно было бы задать вопрос автору:

это оптимальное состояние актуально достижимо, по его мнению, или является вечно ускользающей линией горизонта? Если оно актуально достижимо, то что станет с научным законом энтропии в момент достижения этого оптимума? А если это оптимальное состояние недостижимо, то тогда следует, что вселенная эволюционирует к тому... чего нет? И кто определил вселенной эволюционировать к этой несуществующей цели: ибо вне вселенной ничего ведь, по мнению автора, нет и быть не может!

Вселенная есть высочайшее бытие: она есть органическое целое, вмещающее в себя свою собственную цель, которая, в свою очередь вмещает в себя все частные и индивидуальные цели. В панпсихосоматизме исчезает противопоставление Бога и мира (135). Мир есть организм, о котором можно сказать, что для него симптоматичны: 1) периодические расширения и сжатия (осцилляции) — аналогичные дыханию или биению сердца; 2) отмирание одних частиц и возрождение других. Физический мир есть тело Бога-личности.

Гавецкий утверждает, что его система не пантеистична, а панэнтеистична, но не дает четкого определения ни одному, ни другому понятию. Если принять понятие панэнтеизма, как оно выражено, между прочим, у о. С. Булгакова (вселенная объемлется Богом, но сам Бог есть категория иная, отличная, гетерогенная по отношению ко вселенной), то под это понятие нельзя подтянуть панпсихосоматизм, который ставит знак равенства между Богом и вселенной.

Так как Гавецкий отрицает область «потустороннего», то и в религии для него нет ничего «откровенного»: религия в своем догматическом аспекте является философией, приспособленной к нуждам человечества на известном этапе его развития (139). Внешние формы религиозного культа со временем отпадут, а религиозные верования будут заменены верой в метафизические истины.

Отвергая чисто позитивистический подход к вопросу религии, Гавецкий определяет ее как «интуитивное чувство связи с целым (или по крайней мере, как веру в возможность существования такой связи) и связанное с этим нравственное поведение (интуиция гармонии между частью и целым).

Утверждая, что существуют лишь конкретные одушевленные тела (не может быть тела без соответственной души и наоборот) автор исследуемой системы попадает в те самые трудности, в какие в свое время попала схоластика, которая слепо последовала за аристотелевским учением на эту же тему. И совсем без связи с основным тоном к психосоматизму автор неожиданно «приклеивает» такую, напр. фразу: «В несметную громадность мира, называемого физическим, воплощен Дух, перед которым преклоняется и которого обожает сердце человека, хотя его и не может постигнуть человеческий ум» (140). Откуда же сие!?

«Иерархия бытий состоит из неисчислимого количества видов сложных энергетических центров, отличающихся друг от друга качеством организации. Жизнь этих энергетических центров проявляется в меру преобладания психической тенденции над физической. Энергетический центр становится организмом, когда в нем образуется группа солидарных элементарных центров, в которых организующая тенденция проявляется подобным образом, так что согласная тенденции группа преобладает над взаимооборющимися индивидуальными тенденциями остальных элементов. Дальнейшее их развитие совершается целесообразно» (147).

Энергетические центры становятся индивидуально-устойчивыми (бессмертными) если из них образуется руководящая группа в достаточной мере крепко спаянная, чтобы сохраниться и пребыть во внезапно изменившихся условиях существования (смерть): с этого времени постоянно совершенствующаяся группа (личность) изменяет лишь внешние формы своего существования (150).

В отнесении к человеку это похоже на следующее: либо индивидуальные психосоматические центры распадаются совершенно и становятся материалом для новых образований (полная смерть личности), либо они разлагаются лишь частично, причем наиболее спаянная группа центров (душа) находит возможность организовать вокруг себя новые энергетические центры и начать существование в новом виде. Из этого следует, что люди могут быть либо смертны, либо бессмертны: последними становятся только те, кто лично и активно участвует в творческой эволюции вселенной.

Естественной целью человеческих устремлений является физическое и духовное благосостояние, т.е. счастье. «Счастье, в идеальном аспекте, это обладание целокупностью условий, внутренних и внешних, необходимых и достаточных для образования в человеке убеждения о положительной ценности осуществляемого им типа бытования и связанное с этим убеждением чувство устойчивого удовлетворения своей жизнью в ее целом» (162).

Задача человека — творить и совершенствоваться. Подлинный прогресс — это порыв к добру, истине и красоте. Призвание человека — «приумножение положительных ценностей в мире». В синтезе гениальности и святости Гавецкий видит предельную цель человеческого совершенствования. Индивидуальные стремления должны быть гармонизированы с общей положительной деятельностью общественной группы, в которой данный индивид находится.

Человеческая свобода осуществляется в меру перевеса (в области мотивов действия) мотива устремления в сознательно избранном направлении над случайными мотивами и обстоятельствами, могущими отклонить человека от этого направления (179).

Мерой развития человеческого я служит отношение действенного,

творческого участия в эволюции психической энергии к пассивному участию в эволюции физической энергии во Вселенной (181).

Такова в самых общих чертах суть панпсихосоматизма. Следует отметить, что автор этой «системы» проходит мимо философии труда и творчества, выраженного в польском направлении креационизма и нигде не ссылается на учение Н. О. Лосского о субстанциальных деятелях и о познании предмета «в подлиннике» в результате гносеологической координации познающего субъекта и познаваемого объекта (см. «Мир, как органическое целое» и учение об интуитивизме). Из некоторых цитат видно, что Б. Гавецкий знает русский язык и, при его эрудиции, следовало бы от него ожидать более четких аналогий между его учением и учением нашего русского философа.

Выкинув из своего философского кругозора Абсолют и метафизику и отождествив Бога со вселенной, Б. Гавецкий в высшей степени обеднил охват философии, сведя ее, по крайней мере в области пафоса, к гуманистическо-пантеистическим воззрениям прошлого столетия. То, что в его труде показалось нам новым, это наукообразная формулировка определений (дефиниций) и психофизических законов восприятия. Его философия представляет собой одну из версий англо-саксонской, прагматической и наукообразной философии, ограничивающей себя пределами тварного мира.

Игумен Геннадий (Эйкалович).

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- О. Д. Дурново. *Такъ говорилъ Христосъ*. Изд. автора. Москва, 1915. (362 стр.).
- Юрий Герцог. *Земля обетованная*. Вторая книга эпопеи. Изд. Вольной Мысли. 1971. (116с.).
- Н. Валентинов. *Два года с символистами*. Под ред. и с предисл. Проф. Г. П. Струве. Hoover Institution, Stanford University. Stanford, California 1969. (241 p.)
- Анатолий (Кузнецов). *Бабий Яр*. Роман-документ. Изд. «Посев». Франкфурт. 1970. (488 стр.).
- Николай Бердяев. *Философия неравенства*. Письма к недругам по социальной философии. 2-е исправл. издание. ИМКА-пресс. Париж. 1970 (244 ст.).
- М. Гершензон. *Мечта и мысль И. С. Тургенева. Л. Н. Толстой в 1855-62 г.г.* Москва. 1919. Перепечатано Изд. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1970 (172 стр.).
- Федор Горб-Кубанский. 1999-й год. Роман. Патерсон. Нью Джерси. 1971 (209 стр.).
- Модест Гофман. *Поэты символизма*. Изд. Товарищества М. О. Вольф. СПб и Москва. 1908. Перепечатано Изд. Вильгельм Финк Ферляг. 1970 (410 стр.).
- Alayne P. Reilly. *America in Contemporary Soviet Literature*. New York University Press. New York. 1971. (217 p.)
- Dmitrij Čiževskij. *Comparative History of Slavic Literatures*. Translated by Richard Noel Porter and Martin P. Rice. Edited with a Foreword by Serge A. Zenkovsky. Vanderbilt University Press. Nashville, Tennessee. (xi+225 p.)
- George F. Kennan. *The Marquis de Custine and His Russia in 1839*. Princeton University Press. Princeton 1971. (145 p.)
- Ukraine. *A Concise Encyclopedia*. Vol. I.-II. Univ. of Toronto Press. Prepared by Shevchenko Scientific Society. 1963-1971. (1185-1394 pages)
- Sovietica. Anno VI № 22-23. Ottobre. 1970. Edizione Scientifiche Italiane. Napoli, 1970 (79 p.)
- Dmitri von Mohrenschildt. *The Russian Revolution of 1917*. Contemporary accounts. Oxford University Press. New York-London. 1971 (320 p.).
- Gleb Struve. *Russian Literature under Lenin and Stalin 1917-1953*. University of Oklahoma Press. Norman. 1971 (454 p.).
- Peter Kenéz. *Civil War in South Russia*, 1918. (The First Year of the Volunteer Army). University of California Press. Berkeley. 1971 (351 p.).
- В. И. Криворотов. *Контрреволюционеры*. Роман в 3-х частях. ч. I и II. Мадрид. 1969 (474-511 стр.).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1971 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1971 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
